

УРАЛЬСКИЙ

Следопыт

11 '90





Фото Олега Капореико



Ю. СЕНТЯБРЬ
Читайте стр. 8

село, ПОЖИВШЕЕ СТОЛИЦЕЙ



Памятник купцу В. С. Черных,
основателю баржестроения в Покче.



УРАЛЬСКИЙ

Следопыт



11 '90

В НОМЕРЕ:

Л. Фомин	ВОЗРОЖДЕНИЕ	2
В. Балашов	ЕСЕНИН. КОНСТАНТИНОВО	4
Ю. Нисковских	ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС	6
Ю. Сентябрьев	СЕЛО, ПОЖИВШЕЕ СТОЛИЦЕЙ	8
Н. Никонов	ОРНИТОПТЕРА РОТШИЛЬДА. Продолжение	9
ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «АЭЛИТА»		
Г. Гуревич	БХАГА. Повесть	29
	ЗАОЧНЫЙ КЛФ	53
* * *		
В. Денисов	НАШИ ДУШИ ЕЩЕ НЕ ИСТЛЕЛИ...	57
	«...ДЛЯ ЧЕГО СТОЛЬКИМ ПРОСТРЕЛИВАТЬ ГРУДЬ!»	58
В. Копылов	КТО ВЫ, ИНЖЕНЕР ЗОРГЕ?	60
В. Киеня	ИЗ АФГАНСКОГО ДНЕВНИКА	62
Н. Щекутова	ЛИХИЕ ТРАВЫ. Окончание	64
Э. Берроуз	ТАРЗАН — ПРИЕМЫШ ОБЕЗЬЯНЫ. Продолжение	65
Т. Буруковская	ЭСТАФЕТА ИДЕИ	73
Э. Емлин	ЗНАКИ НА КАМНЕ	75
М. Яблоков	ЗА УРОКАМИ К ТЮМЕНЦУ АФРОМЕЕВУ	76
М. Калинин	ЧАСОВНЯ ПАВЛА СЮЗЕВА	77
В. Хохлачев	И ВИНОГРАДНАЯ КОСТОЧКА, И ЛУННЫЙ ГЛОБУС...	78
Л. Евграфова	ЭМАЛЬ, СТАВШАЯ ИСКУССТВОМ	80

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
СВЕРДЛОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО
ОБКОМА ВЛКСМ

ИЗДАЕТСЯ
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

К сведению подписчиков
Индекс «Уральского следопыта» в каталоге
газет и журналов РСФСР — 73413. Подписная
цена на год 9 руб. 60 коп.
Подписка без ограничений.

Редакционная коллегия:

Станислав МЕШАВКИН
(главный редактор),
Евгений АНАНЬЕВ,
Виктор АСТАФЬЕВ,
Виталий БУГРОВ,
Муса ГАЛИ,
Юний ГОРБУНОВ,
Герман ИВАНОВ
(заместитель
главного редактора),
Сергей КАЗАНЦЕВ
(ответственный секретарь),
Владислав КРАПИВИН,
Юрий КУРОЧКИН,
Давид ЛИВШИЦ,
Николай НИКОНОВ,
Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,
Анатолий СЕМЕРУН,
Константин СКВОРЦОВ,
Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Юрий ШИНКАРЕНКО

Художественный редактор
Дмитрий ЛИТВИНОВ
Технический редактор
Людмила БУДРИНА
Корректор
Ольга НАГИБИНА

Адрес редакции:
620219, г. Свердловск,
ул. Декабристов, 67
Телефоны отделов:
22-38-82 (фантастики),
22-45-01 (краеведения,
секретариат),
22-10-74 (писем,
науки и техники),
22-04-81 (прозы и поэзии,
публицистики,
молодежных проблем).

Рукописи принимаются перепечатанными на машинке через 2 интервала, 60 знаков в строке, 28—30 строк на странице.

По вопросам подписки и доставки обращаться в районные отделения «Союзпечати». Бракованные экземпляры отправлять в типографию издательства «Уральский рабочий».

Сдано в набор 09.08.90.
Подписано к печати 25.09.90.
Формат бумаги 84×108^{1/16}.
Бумага типографская № 2.
Высокая печать.
Усл. печ.-л. 8,82.
Уч.-изд. л. 14,10.
Усл. кр.-отт. 11,76.
Тираж 500 000.
(1-й завод: 1—250 000).
Заказ 536.
Цена 40 коп.
Типография издательства
«Уральский рабочий»
620219, г. Свердловск,
пр. Ленина, 49.

На 1-й стр. обложки фото
Николая Маркова к очерку
«Эстафета идеи».

Леонид
Фомин

Письмо-приглашение начиналось так: «Дорогие коллеги! 24 мая 1990 года в Мурманске будет открыт первый в нашей стране памятник создателям славянского письма, великим первоучителям Кириллу и Мефодию. Памятник преподносится в дар Мурманску Фондом «13 веков Болгарии» в связи с тем, что Мурманск в 1986 году выступил зачинателем в нашей стране празднования Дня славянской письменности».

Мурманск — это сказано широко и по-настоящему патристично, фактическими же зачинателями движения были областное отделение Фонда культуры, возглавляемое писателем Виталием Масловым, и Мурманская писательская организация с ее ответственным секретарем Виктором Тимофеевым. Но как бы там ни было, в подготовку этого не рядового, прямо скажем, российского праздника активно включились и местная Советская власть, и партийное руководство области, духовенство, школы, библиотеки — вся общественность Мурманска. Да и то надо сказать, только сообща, только всем миром возможно поднять те немалые материальные затраты, связанные с проведением культурно-массового мероприятия такого масштаба.

Но прежде, чем опустить покрывало с шестиметровой композиции скульптуры, установленной на площади перед зданием областной научной библиотеки, памятник Кириллу и Мефодию проделал долгий 5000-километровый путь — от стен древней солнечной Софии до молодого заполярного Мурманска. И где бы ни останавливалась процессия — в Одессе ли, в Киеве, Минске, Новгороде — везде крытый брезентом грузовик и сопровождающий его «график» окружали многочисленные толпы людей, произносились приветственные речи, звонили колокола, звучала музыка.

Вот как вспоминает начало этого пути мурманский поэт И. Козлов: «Когда наш КамАЗ с памятником въехал на паром «Герои Шипки», капитан приказал поднять флаги расцветивания в честь Кирилла и Мефодия».

И так везде, и так всю дорогу.

...Покрывало сброшено. И предстали перед тысячами мурманчан воплощенные в бронзе, на редкость одухотворенные фигуры двух великих славян, братьев Кирилла и Мефодия, открывших одиннадцать веков назад славянским народам путь к просветительству, культуре и братству.



В послании гражданам Мурманска генерального директора Фонда «13 веков Болгарии» Недялко Петкова есть такие слова:

«Братья!

Великие наши первоучители Св. Св. Кирилл и Мефодий вновь отправляются в путь — от крайнего болгарского юга славянского океана до крайнего приполярного севера Мурманска. Они поедут через всю Россию по тому нетленному мосту, возведенному сотворенными ими А, Б, В, что вот уже одиннадцать столетий связывают сердца болгар и русских, всех славян».

Но почему удостоился чести получить в дар памятник первоучителям славянской письменности далекий заполярный Мурманск, а не иной город с давними духовно-просветительскими традициями? Дело в том, что именно здесь, на северном пределе России, пять лет назад мур-

ВОЗРОЖДЕНИЕ

манчане выступили зачинателями Кирилло-Мефодьевских праздников в нашей стране. Первое, пусть и робкое слово, сказанное на кольской земле в защиту национального самосознания, истоков своей многовековой культуры, было чутко услышано во многих уголках России. В следующем году в соседней Вологде на праздновании дней Кирилла и Мефодия собрались сотни писателей, музыкантов, ученых. Слово славянских просветителей зазвучало в школах, в студенческих аудиториях, на научных конференциях и семинарах. На площадях и улицах города прошли массовые народные гуляния.

В 1988 году праздник Кирилла и Мефодия подхватил Новгород, и он получил уже республиканское признание. Он совпал с другой великой датой — 1000-летием крещения Руси. Сюда съехались представители многих стран, деятели культуры, просвещения, религий, политики.

На четвертый год существования праздник славянской письменности получил статус всесоюзного и достиг прародца городов славянских — великого Киева. Письменность и культура Руси вернулись туда, откуда начали распространяться тысячелетие назад.

И вот снова Мурманск. И теперь уже не только очередное поминовение начала начал славянской культуры, а открытие памятника ее великим первоучителям.

Здесь следует сказать, что оригинал монумента был открыт в Болгарии перед софийской Народной библиотекой «Святые Кирилл и Мефодий» в 1975 году по случаю 1100-летней годовщины создания братьями славянской письменности. На берег Кольского залива приехала уже третья копия (вторая установлена в Риме). Присутствующий на торжествах в Мурманске автор памятника, известный болгарский скульптор Владимир Гиновски сказал о своем творении: «Это один из моих памятников, которым, мне кажется, я мог бы гордиться. Ему я отдал 9 лет своей зрелой жизни. Надеюсь, что мне удалось обобщить представление болгар о непреходящей ценности дела славянских первоучителей — личностей, которых средневековая церковь возвела в святые».

Я не буду пересказывать всех тех многочисленных речей, выступлений, не буду перечислять имена знатных людей, съехавшихся на мурманскую землю почти из пятидесяти городов страны — от Южно-Сахалинска до Киева, не стану описывать красочность праздника. Скажу только, что среди присутствующих, начиная от академика и кончая рабочим, не было ни одного равнодушного. Событие одинаково захватило всех, одинаково расстрожило души, заставило задуматься о крайней неотложности вернуться к культурно-историческому наследию нашего Отечества, необходимости всеми возможными силами сохранить и возродить то, что осталось от некогда богатой самобытными традициями древней Руси. Предшествующие политические катаклизмы низвергли с небес Бога, не дав взамен равновеликого идеала; взорвали храмы, не сумев завлечь молодежь в клубы; посулили райскую жизнь в ближайшие времена, оглушив от земли-кормилицы. За последнее неполное столетие христиане утратили самую суть духовности как высшего критерия нравственного здоровья человека. А что дальше? А дальше, если мы не хотим скатиться до звероподобной первобытности, путь один — возрождение национальной культуры, национального самосознания. И в первую очередь славянское братство, скрепленное Азбукой Кирилла и Мефодия.

Еще перед открытием митинга внимание и взрослых, и детей привлекла большая группа священнослужителей, стоявших в своих строгих церковных ризах и мантиях за импровизированной сценой. И вот настал их черед, черед богослужения и освящения памятника. Мощный хорал зазвучал над площадью, начался благодарственный молебен. Первые же звуки столь непривычного песнопения произвели нечто подобное шоку. Казалось, голоса эти доносятся из глубины веков, пробуждают от летаргического сна; вопрошает к разуму и покаянию сама история, безродно забытая нами и еретически обруганная научным

атеизмом. Ну ладно бы, с таким вниманием слушали молебен только взрослые, — затаив дыхание, слушали и дети, в крови которых, к счастью, еще не угасли гены добра и человечности, спасительное чувство самосохранения. Теперь они, эти дети, с радостным изумлением внимали неслыханным дотеле вечным словам и мелодиям. И как радостно было сознавать, что не погублено в юных душах стремление к первозданному, не убито, не затуркано до конца чувство Родины и Отечества всепоглощающей отравой заемно-импортной тарбарщины...

А потом показывали свое искусство вокально-танцевальный ансамбль из Болгарии, мурманский детский фольклорный коллектив «Брусничка», один за другим поднимались на подмостки юные чтецы, танцоры, исполнители народных песен.

Празднества, посвященные Дню славянской культуры и письменности, продолжались на другой и на третий день — целую неделю. Было шествие школьников и молодежи по улицам города, возложение цветов к памятнику Кириллу и Мефодию и к могилам североморцев, погибших в Великую Отечественную войну, звучала старинная музыка. Во Дворцах культуры и библиотеках проводились научно-практические конференции, вечера поэзии, встречи писателей, ученых, работников просвещения с жителями города и многое, многое другое.

Затем гости праздника, разбившись на группы, разъехались по всему Кольскому полуострову — в города Никель, Ковдор, Оленегорск, Кандалакшу, Умбу, Заполярный и другие. В уникальном Лавозере, центре самобытной саамской культуры, писатели приняли участие в праздновании Дня саамского слова и Дня языка коми.

Я начал свои заметки с письма-приглашения, им и закончу. Ответственный секретарь Мурманской писательской организации поэт Виктор Леонтьевич Тимофеев деликатно заметил: «Как известно, в Союзе писателей РСФСР складываются такие экономические отношения, которые оборачиваются для нас ограничением материальных возможностей... Поэтому кланяемся Вам и предлагаем Вашей организации изыскать средства и командировать в город Мурманск своего представителя...»

В Свердловской писательской организации для моей командировки средства нашлись. Но подумалось вот о чем: неужели, когда речь идет не об очередном календарном мероприятии для отчета, для галочки, а о подлинном возрождении русского национального самосознания, его неповторимой поэтической и прикладной культуры, когда не где-нибудь, а на окраинном русском севере маленькая группа энтузиастов чуть не костями легла, чтобы не дать потухнуть возгорающемуся огоньку встающих из забвения традиций славянских народов, пробуждению в людях утраченной самостоятельности и национальной гордости, сплочению нерушимого братства с другими народами и народностями, — неужели для такого большого благородного дела в российском Союзе писателей не нашлось достаточно средств, чтобы придать празднику в Мурманске всесоюзное значение, сделать его истинно народным... Тут никакие меркантильные выкладки в счет не идут и идти не могут, ибо речь о спасении культуры, духовности народа, самоосмыслении советского человека в обновляющемся обществе. Надо ли говорить, как это важно; как необходимо сейчас, в наше многотрудное, во многом непредсказуемое время!

И еще я подумал: взяли бы на себя такой груз, такую моральную и материальную ответственность за проведение очередного праздника Дней славянской письменности и культуры в самой середине России, в городе Свердловске горком КПСС, горисполком, народные избранники — депутаты городского Совета, как это сделали их мурманские коллеги? Что касается Свердловской писательской организации, то она готова выйти с предложением об организации такого праздника.

Мурманск — Свердловск

ЕСЕНИН. КОНСТАНТИНОВО

Есть места, которые, кажется, не могут не родить поэта.

Впрочем, многие места рождают поэтическое состояние. Иное дело, что переживающие это состояние остаются поэтами для себя.

Чудо рождения поэта — рождение человека, чьи переживания и раздумья становятся переживаниями и раздумьями людей.

Вот что подумалось мне, когда я увидел Константиново.

За день до этого я бродил по Рязани. Меня покорила рязанский кремль. От старинных соборов пахло историей жесткой и гуслирной. А быть в Рязани и не быть в Константиново значило что-то потерять.

От Рязани в Константиново ходят автобусы, и я решил в то предосеннее утро добраться туда по суше, хотя можно было добраться и рекою. Я пожалел об этом, выйдя из душного автобуса.

Но, взбежав на берег, увидел серебряную подкову Оки, глубь неба, луга с остожьями сена, дымки вороньих стай, и забыл о дороге. Глаз не хватало, чтобы объять все это разом...

Обратно в Рязань твердо решил плыть водою, а потому, постояв на откосе, стал спускаться по высокому травянистому склону к белеющей пристани, чтобы узнать время отплытия последнего парохода.

И не только поэтому я стал спускаться вниз, — о пароходе можно было бы узнать и в гостинице, — просто музей и экскурсии в таких местах всегда откладываю на потом.

Природа скажет вам гораздо больше. Молчание ее очень многого стоит.

Спускаюсь к Оке не по искоженной тропинке, а по траве. Тянет вниз. Чтобы не упасть, спускаюсь бочком, еще быстрее, почти бегу. Остановившись, чтобы передохнуть, оглядываюсь на залитое солнцем Константиново, на церкви, на сереющие кирпичные здания клуба и гостиницы. Они отсюда кажутся мешающими и ненужными. Вписывается в вид только новый деревянный, широкий, как крестьянская рига, ресторан, который и вблизи покорит меня мотивами русских орнаментов, ласково выпиленных и выдолбленных константиновскими мастерами. Не отдали они эту стройку столичным шабашникам.

Оглядываюсь вокруг. Приходит мысль: может быть, все увиденное сейчас, даже беспокойное, в облаках небо, преодолено красиво только потому, что связано с именем Есенина? Может быть. Но и сами по себе места эти редки... А вон у прясел корова с телятком одинаковой бурой масти.

И пнимаешь вдруг простую и сложную связь того, что окружает поэта в младенчестве, с тем, что стало позже его плотью и кровью. Об этом я читал. Я знал об этом. Но понял душой только сейчас. Лишь здесь могло родиться у отрока Есенина четверостишие, пронзительное по своей наивности и непостижимое по поэтическому перебору:

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое выма сосет.

(Одна свердловчанка уверяла меня, что Есенин писал свои первые стихи чернилами из трубки сажи. Подроб-

ность занятая. Откуда только она в ее памяти? Из будней крестьянской жизни?).

Рязанщина дала Есенину то неповторимое восприятие мира, которое и выделяет его из всех русских поэтов.

Белый пароход у пристани, пыхнув дымком гудка, разразился низким баритоном. Две старушки, с прямыми коромыслами и ведрами яблок на них, поднимались от пристани к Константинову. Взглянули на меня.

— Отстал от парохода?

— Брожу. У Есенина в гостях.

— Ну, гости.

Поднимаются старушки наверх, чтобы сесть в длинный ряд торговли яблоками на обочине дороги, недалеко от музея.

На пристани узнаю, что «Лесков», последний пароход на Рязань, будет в пять часов. До пяти время мое!

И начался мой внутренний разговор с константиновскими местами. Разговор, которому люди дают волю лишь наедине. Уж тут ли не быть нам с собою искренними? Я окунул в Оку руки.

Поднимаюсь наверх тропой почти незаметной, делая круг. Наверху еще раз оглядываю луга, излучину Оки, уходящий пароход. Стою на ветру.

У музея заметно прибавилось туристов. Здание и есть дом Анны Снегиной. Поэтический домысел одухотворяет обыденное.

Так, виденный мною Бахчисарайский фонтан, благодаря Пушкину, обрел свою реальную биографию прошлого. И подлинная история дворца бахчисарайских ханов бледнеет перед поэтической правдой.

И дом Л. И. Кашиной стал для нас домом Анны Снегиной. Обратимость поэзии в жизнь почти материальна.

Каким же надо обладать прозрением, чтобы вымышленное, обобщенное сделать жизненным, и это жизненное оставить жить навеки! Не от поэтов ли душевная дальность зоркость человечества? Они воспитывают в нас глубину чувств и широту мышления, отдавая нам свой дар провидения, свои откровения.

И уже за домом Кашиной греются нам годы революции, «и Ленин — старшой комиссар...»

Жаль, что Есенина я открыл для себя поздно. В школьных программах нашего времени его не было. Кланяюсь Времени. Оно многое ставит на свои места. Жестокость его равна часто справедливости.

Покупаю входной билет. Это, скорее, праздничное приглашение. Поэтому, наверное, он при входе в музей не отрывается.

Экскурсия старшеклассников.

Люди мешают в таких случаях нашему восприятию. Опережаю старшеклассников и невольно присоединяюсь к передней группе.

Из последнего зала я, по окончании экскурсии, ухитрился опуститься в полуподвал дома, зная, что верхняя часть зданий более подвержена переделкам и перестройкам. Вхожу в служебную комнату. Три женщины. Палочки-указки на столе, у Тамары Федоровны Дубовой, нашего экскурсовода, палочка еще в руках.

Комнатка, где мы находимся, спальня Л. И. Кашиной. И тут уж я подчинен только дому Кашиной. Смотрю долго из окна. Бывал ли в этой комнатке Есенин? Решаю, нет.

Взбудораженный пережитым за это утро, решаю читать свои стихи...

Лишь изба смоляной желтизной
Отвела новоселье свое,
За рябиновой красной стеною
Прокричало рождение мое...

Приняли к сведению. Угостили яблоками из сада, посаженными дедом Есенина по матери. Решаю про себя — доведу их до Урала. В местах, подобных Михайловскому, Константинову, в воздухе носится какая-то магия маленьких частностей.

Выхожу на балкон, что над входом в дом. Балкон не перестраивался. За лугами отсюда виден дальний рукав Оки. Хочется смотреть и смотреть.

К избе Есениных иду один.

На той стороне улицы яблоковый торговый ряд. Решил купить, чтобы не еСТЬ есенинские. И заметил на этой стороне старушку, стоящую с ведром соленых огурцов. Покупаю огурчик. Хрустит на зубах. Крепок.. Старушке не менее семидесяти.

— Бабуся, а вы Есенина помните?

— На ее месте и я бы, кажется, ответил — помню.

— Помню, милочко... Я сама Есенина Марфа Никитична. (Ясенина — произнесла.) Мы прадедами дальние родичи...

— Ну, какой он был, Есенин?

— Дельный. И озорной. Любил на колокольню лазить. Звонить любил. Не сердун. В праздники «кресты» раздавать любил. (Позже узнал: были весенние праздники, когда люди запекали в крендели «кресты» копейки и обменивались ими. Некоторые с выгодой. Сережа «кресты» только раздавал.) Уехал — возмужал (нужду пере-нес?). А приезжал сюда часто один. Другей у него не было.

Я узнал после, что старушка эта действительно Есенина. Ясенина — опять произнес, подтверждавший ее имя плотник из Константиново.

— У нас здесь Есениных много.

— А вы Есенина видели?

— Да все теперь, как во сне. На свадьбе одной вместе играли... Стариков он уважал. Поставит две чашки вина, и пошел разговор. Дом-то Есениных в двадцать втором году мы ставили...

Дом Есениных, как и многие дома села Константиново, сгорел в двадцать втором году, но новый поставлен по планировке, близкой давнему, сгоревшему. Колокольня, на которую любил взбираться и звонить Есенин, сломана, разобрана на кирпич, как и каменная ограда церкви с железными копышками над нею.

В доме с мемориальной доскою — никого.

В горнице полутемно. Иконы. Похвальное свидетельство на стене. Об успешном окончании Есениным константиновской сельской школы. По краям свидетельства в овалах портреты Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева и Никитина. Пахнуло добрым земным отношением и любовью к И. С. Никитину, которому не воздано, по-моему, должное в наше время.

В избу вошла невысокая женщина. Судя по всему, из местных. Так оно и есть. Тамара Павловна Софронова — хранитель дома. Скоро, погасив настороженность, она разговорила:

— Сундучок... С ним Сергей в Москву на заработки поехал. Материно пальто...

— Шушун?

И стегнули по душе строчки, вечное признание, его и наше, матерям в щемящей сыновней любви:

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

В спальне матери Сергея на кровати лоскутное, — какие встретишь и на Урале, — крестьянское одеяло.

На задах дома избушка, выдавшая есенинское вдохновение. Амбар. Во время пожара двадцать второго года они уцелели.

— А тополь этот Шурой посажен.

Я узнал, что Екатерина Александровна живет больше в Москве и лишь изредка приезжает в Константиново. Александра же Александровна живет в Константиново постоянно, лишь изредка выезжая. Дом их ладный, в два семейных крыла, стоит через дорогу налево.

— Только Шура на рыбалке, — угадав мои мысли, продолжает информировать меня мой добровольный гид, — за лугами. У яра. Часа в три-четыре вернется. Подождите.

Луга манят. И причина на тот берег перебраться — основательная.

— Найду ее.

— Тогда идите через луг налево. Она там с дочерью и внучком.

Совсем интересно.

— А как перебраться туда?

— Там перевоз. Лодочник есть...

За Окою на лугах пахло летом. Таких бескрайних лугов я еще не видел. Не доводилось... У реки следы коровьего стада. Тот необъяснимый запах выгона, который мне памятен и — смешно сказать — мил. (Я родился в зауральской деревне, а рос на молочной ферме Урал-машстрой.)

Чем дальше уходил в глубь лугов, тем явственнее пахло травами. Дошел до стога, взял в охапку сено. Казалось, не надыхусь им.

Константиново видится с лугов игрушечным. И ветерок не такой бойкий, как на косогоре. Не мог мальчишка Есенин не любить эти луга! Воля! Думается легко. И как не верить здесь в родство протяжных наших русских песен с природными просторами. Не потому ли песенны многие стихи Есенина? Интересно, а от кого его большое лексическое богатство? От отца, деда, матери? Ибо услышанное нами в детстве навсегда определяет наш словарный язык, его бедность или богатство.

Я долго блуждал по яру — крутому берегу дальней излучины Оки. Наконец в опадине увидел белый платок. Александра Александровна, сидя, рыбачила. Ее дочь и внук сидели тут же, обедали.

— Александра Александровна?

— Я. — Голос грудной, крепкий.

Ищу сходства с Есениным. Оно есть и нет его. Задумавшее некрупное лицо, прямой, острый, несколько вскинутый нос. Белый платок повязан плотно, по-деревенски. Объясняю, почему я здесь.

— Очень приятно, — привычно бросила она, продолжая заниматься двумя длинными удилищами, высаженными в оползающий берег.

Мне очень хотелось сказать ей что-то доброе, за ее близость брату. В тяжелые часы не ее ли любовь к Есенину помогала ему, хоть ненадолго, чувствовать радость и надежную успокоенность?

Ничего я этого не сказал. И спрашивать ее мне ни о чем не хотелось.

— Рад был увидеть вас.

— Спасибо за честь.

Подумав, говорю:

— Через вас я Есенину поклонился.

Чуть повернув лицо ко мне, она улыбнулась. Мне стало легко от этой понимающей все, чуть грустной улыбки.

Я шел по берегу. Воронья стая серой дымкой вилась над лугами. Добредя до песков, я повернул к перевозу. С того берега ко мне плыл лодочник. Пахло рекою.

В пять часов пароход «Лесков» отчалил от Константиновской пристани. А над Окой, вторя нашему гудку, несся бас подходящего к Константиново белоснежного парохода «Сергей Есенин».

— Из Москвы, — пояснил кто-то на корме.

Небо посерело. Но, словно дальний дождь, падали на село, прорвавшись сквозь облака, видимые лучи солнца. Я смотрел туда долго-долго, пока купол церкви не исчез за поворотом извилистой Оки.

Не быть в Константиново — и вправду, что-то потерять.



Юрий
НИСКОВСКИХ

Рассказ

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Было это так. Съехались мы в Москву из разных районов страны: от Хабаровска до Одессы. Два дня заседания, а на третий всю нашу братию иногородцев вместе с москвичами-аппаратчиками погрузили под вечер в голубой автобус и увезли на подмосковную дачу. Это называлось тогда пообщаться, притереться друг к другу, сплотиться.

Дача — старинный дворянский особняк с чужеродным — наших дней — красно-кирпичным пристроем, в котором размещались маленькие комнатухи-клетушки для гостей. А вокруг темные аллеи, поредевшие столетние липы, заросший и захламленный, никем не ухоженный пруд, воздух и тишина. В банкетном зале, где в давние времена на пирах и балах гремела музыка и блестящие гусары и кавалергарды, пощелкивая каблуками, демонстрировали перед провинциальными красавицами свою молодость, остроумие и удаль, уже были накрыты столы.

Вскоре подъехал на своей черной «Волге» и наш главный. Поспешая и толпясь, мы без раздумий расселись за хлебосольно заставленные закуской снедью столы. Первый тост по праву произнес главный, потом еще кто-то говорил, изощряясь в остроумии и застойной мудрости. Нас заранее предупредили, что впереди вечер и целая ночь. И потому, мол, спешить не надо.

Спустя час уже реже стучали ножи и вилки, уже не чокались и не поднимали тосты, обходились без этого, и разговоры стали громче и посвободней. И главный встал. Его норма была две-три рюмки.

— Сейчас он сыграет пару партий в бильярд, — шепнул мне сосед по столу, — и уедет в Москву. Он всегда так делает. И знаешь, всегда выигрывает. Хорошо играет. Любит это дело. А с нами сидеть долго остерегается: ребята набираются и смеются, а кто и наглест. А он панибратства не прощает.

Я выбрался из-за стола и направился в ту сторону, где стоял громадный старинный бильярд с пузатыми витыми ногами и мраморной основой, покрытой крепким, без единой морщины зеленым сукном. И тут я попал главному на глаза.

— Уралец, в бильярд играешь? — спросил он, распо-

лагающе улыбаясь и поправляя свои тонкие, похожие на пенсне очки с золотым ободком.

— Играю, — обрадовался я, не привыкший к его добродушию, и почему-то скромно добавил: — В молодости баловался.

А бильярд я любил и играл вроде бы неплохо, а когда в ударе, когда шар шел, то и совсем недурно. А любил я гонять шары еще и потому, что дурь всякая из мозгов уходит, сосредоточенность и азарт изгоняют ее бесследно. По крайней мере, мне так казалось.

Познакомил меня близко с бильярдом еще в юности один старичок. Он жил у нас в Белоярке, большом зауральском селе на Сибирском тракте. Поселился в конце пятидесятых, совсем старым, но с женой и двумя дочерьми. Долгими зимними вечерами он часто приходил в районный клуб, на скорую руку переделанный перед войной из обезглавленной церкви. И там, в бывшей трапезной с приземистым куполообразным потолком, где размещалась всегда в табачном дыму бильярдная, устраивал настоящие спектакли. Когда он играл, стол окружали люди, на старика приходили, как на премьеру, на артиста. Когда-то, в двадцатые годы, он был знаменитым московским маркером. О себе он рассказывать не любил, но как-то поздно вечером, выиграв у председателя райпо бутылку знаменитой «Массандры», проговорился: «Ох, и поиграл я в молодости. Дома, тройки, большие деньги выигрывал у эппманов. Меня злила их самоуверенность. Им везде хозяйничать хотелось, даже за бильярдом. А вот артистам и писателям мне нравилось проигрывать. Я любил их за детскую радость: когда восьмой шар был за ними. О, как они радовались. Радовался с ними и я». Поговаривали в Белоярке, что за какие-то грехи он много лет провел в северных краях, потом был на поселении в Якутии. Но об этом он никогда не рассказывал.

На бильярде он творил чудеса. Профессионал высокого класса, виртуоз. Глазомер у него — что ватерпас, был поразительный, какое-то природное пространственное чутье, хотя на зрение он частенько жаловался, иногда даже казался подслеповатым. И после каждой партии он тщательно протирал слезящиеся глаза большим цветастым, похожим на девичью косынку платком. Бывало, он просто ставил кий к бортику и, не размахиваясь, толкал шар. И луза покорно принимала добычу. Вокруг стола он никогда не ходил, как это делают новички и дилетанты, дотошно выскивая подставки. Сразу, одним взором охватывал весь стол, все шары и тут же бил. Как-то на потеху зрителей даже выиграл партию на спор, не сходя с места, не отрывая ног от пола.

Мне он как-то сказал:

— Азарт — это не дрожь в руках и не сердцебиение. Азарт — когда душа играет. Ты очень азартен, горяч, такой уж, видно, уродился. Ты играешь один, вокруг себя ничего не видишь, соперника не чувствуешь. Ты человек настроения. А в бильярде хладнокровие превыше всего. Когда ты в азарте, можешь выиграть у кого угодно, у самого папы римского. Но вторую или третью партию ты, очарованный удачей, с треском можешь просадить. Расслабился, два-три шара по глупости своей и небрежности отдал — и нет партии. Потому мой совет: на интерес не играй никогда. Да и вообще, всегда знай, с кем играешь. Соперник сначала непременно темнит. Не пугай его и карты свои не раскрывай до поры, до времени.

...— Тогда давай, ставь шары, — услышал я слова главного. Он стоял у стенки и выбирал кий, тщательно, разборчиво, как заведущий, профессионал, щупал, гнул, пробовал на вес, проверял на прочность кожаную накладку.

Я взял угольник, быстро собрал шары.

— Давай, представитель опорного края державы, разбивай, — весело и демократично сказал мой партнер.

— А как будем играть? В пирамидку или американку?

— Да просто, чего там. Нечего мудрить. Давай бей, — главный тщательно обрабатывал мелком кий и не смотрел в мою сторону.

И я ударил. Шары весело рассыпались по всему столу. А два из них, один за другим, медленно покатались в дальний правый угол. Первый тихо и бесшумно упал в лузу, а другой, потеряв скорость, остановился рядом. Я его тут же, не мешкая, уложил, а своего от борта отвел к средней лузе. Опять подставка.

Я взглянул на главного. Он снисходительно улыбался, опираясь на кий. Я заметил, как блеснули у него во рту два золотых с патинкой зуба, которые как-то освещали его суровое лицо.

Смеялся он редко. А когда вдруг улыбка возникала на его малоподвижном лице, подчиненные всегда насто-раживались: к чему бы это? Все знали: он с улыбкой любил принимать решения. А они для кого как — кому добро, а кому и худо. Вот и разберись, когда начальство улыбаётся.

— Давай, давай, — подбодрил главный, — работай. Лихо у тебя получается. Молодец. Не тушуйся.

И тут я обо всем забыл. Тот самый азарт и обуял меня. Подряд резко, стреляюще положил еще два шара. «Так, четыре есть, полпартии». Я осмотрелся. Откровенных подставок вроде бы не было. И решил я, осмелев, показать свою удал: была не была! Дуплетом от борта послал шар к себе в среднюю лузу. И надо же, попал. Шар нырнул, как к себе домой, даже не коснувшись бортиков. То была роковая для меня снайперская точность...

Вокруг стола густела толпа. Одни ахали и охали, другие подкидывали шуточки в мой адрес, подтрунивали. После пятого, уложенного дуплетом, у бильярда стало тихо, ни кашля, ни шепота, ни шарканья подошв о дворянский паркет. Главный достал сигареты. Он был серьезен, как на планерке. Кто-то услужливо поднес ему зажигалку, вспыхнуло голубое пламя. Глубоко затянувшись, он зажал сигарету в зубах, вытер запачканную мелом руку о брюки. Белые пальцы отпечатались на габардиновой штанине.

А я в эти минуты был уже где-то там, в поднебесье. Видел перед собой только зеленое сукно, матовые, слоновой кости шары и заветные лузы. И меня понесло. Внутри дрожь азартная, но руки, я чувствовал, тверды и глаз без прищура остр. И решил я сыграть «пифагоровы штаны», которые во все стороны равны. Ударил через весь стол. Один шар зашел сразу, а другой, трепыхаясь, застрял в лузе. Его я тут же, не раздумывая, почти не целясь, лихо добил.

Кто-то громко чихнул и испуганно замер. Толпа вокруг бильярда вздрогнула. Я медленно двигался вокруг стола, не отрывая взгляда от матового со щербинкой шара с цифрой 13, который, как на грех, стоял в трех сантиметрах от средней лузы, обреченно ожидая своей участи.

И тут произошло неожиданное. Главный, побледневший, с замакменевшим лицом, не стал ждать последнего удара. Он осторожно, как стеклянный, положил свой кий на зеленое сукно, не задев ни одного из оставшихся на столе шаров, тихо и молча подошел к вешалке, снял шляпу и, не попрощавшись, вышел, сильно прихрамывая, к машине, которая минуту спустя умчала его в Москву.

Первым подошел ко мне, ошеломленному, растерянному, еще не унявшему азартной дрожи, Саша, наш зав-отделом, известный в московских компаниях гитарист и сочинитель незатейливых салонных песенок, вроде «Мишка, Мишка, где твоя улыбка». Он похлопал меня по плечу и сказал:

— Пошли, старик, тебе надо прочувствовать игру.

Он подвел меня к отдельно стоящему столику, накрытому белоснежной скатертью с большими махровыми кистями. Там на медном подносе стоял пузатый, наверное, ведерный, весь в медалях серебристый самовар. Саша взял тонкий стакан, поставил его в желтый, под золото подстаканник, открыл краник и нацедил крепкого, без пара чая.

— На, выпей, соколиный глаз. Охлынь.

Я глотнул и тут же поперхнулся. Самый обыкновенный коньяк прихватил горло. Я справился с собой и допил стакан не спеша и ровно, словно подвоха и не было.

Да и Саша, наверное, не собирался меня обманывать: о самоваре, очевидно, многие знали. Я взял с блюдца ломтик лимона в сахаре, пожевал, не чувствуя кислоты.

— Сколько звезд? — неуместно спросил я, кивнув на самовар. — Армянский?

— Сегодня все звезды наши. А вот главный тебе не простит. Никогда, — сказал Саша, наливая коньяк и себе. — Ты смертельно оскорбил его. До тебя не дошло: он же на миру играл, на виду у всех, у своих подхалимов. У него одна нога короче, прихрамывает он. А люди ущербные самолюбивы, обидчивы. С начальством, старик, так не играют. Никто и никогда не видел его растерянным, потерянным, не владевшим собой. Это ж надо, до чего ты довел его: он руки вытирал о штаны.

— Да шар пошел, я память и потерял, — то ли извиняясь, то ли оправдываясь, пробормотал я, еще не охлынув от волнения и коньяка.

К нам стали подходить уже крепко повеселевшие ребята. Они норовили непременно похлопать меня по плечу. Вздвигали, сочувствовали, сожалели.

— Ну, ты даешь. Звездный час в Подмоскowie...

— Хотя бы раз дал главному ударить.

— Не по-парламентски это.

— В наш ядерный век безрассудство и удал к добру не приводит.

— На Урале все такие дипломаты?

— Фора в семь шаров? Такого я не слыхивал.

— А ты знаешь, его еще никто так бесцеремонно не обыгрывал. Он же член ЦК. Думать надо, чайлдон.

— А ты от двух бортов, не от одного, а от двух можешь дуплет в дальний угол положить? — спросил кто-то любознательно и вежливо.

И мне так захотелось сказать, как в том анекдоте: «Могу, Петька, могу!» А самого душила обида: «В чем я виноват?»

Случилось невероятное. Человек из провинции вдруг стал своим среди столичной аппаратной братии. И лишь только потому, что позволил себе обыграть в бильярд самого главного, да еще без удара, всухую.

А потом мы пели песни. И Саша персонально для меня исполнил «Последний nonetheless денечек гуляю с вами я, друзья». Пел он поначалу иронично, с надрывом, отчаянными всхлипами, лукаво взглядывая на меня. Но песня свое взяла. И когда Саша увлекся и залел всерьез, ребята подхватили, сперва вразнобой, потом ровнялись. И старинные дворянские стены вторили протяжной мелодичности с тоскливыми разноголосыми разливами. А в окнах липы качали ветвями.

И только с рассветом мы разберлись по своим комнатушкам-клетушкам в пристрое, спать легли умиротворенными, напроць лишенными забот и волнений. Словом, попили, пообщались и пропритирались досыта. На том совещание в Москве и закончилось.

Через день я улетел к себе на Урал и о приключениях на подмосковной даче вскоре забыл.

Прэшел год. В Москву меня больше не вызывали. Материалы, которые я посылал в столицу, почему-то признавались неактуальными и уходили в корзину. Как-то в разговоре по телефону с Москвой мне передали слова главного. Он, якобы, на очередной планерке заявил: «Что-то у нас Урала на полосах не видать. Прошу при-смотреться. Он там, наверное, вместо работы шары бильярдные катает». И мудрые люди подсказали мне написать заявление — по собственному желанию. Больше я с начальством в бильярд не играл. И никогда с тех пор шары у меня так бесшабашно и безответственно не влетали в лузы. И коньяк из самовара мне больше пить не приходилось.

Вспоминая тот «звездный час», я все больше убеждаюсь, что тогда действительно был в ударе, бог посетил в тот миг меня. До сих пор не верится. Бывает же — везет людям. И еще я понял: начальники — живые люди, а не боги. Их тоже можно обыгрывать. Но, наверное, только раз в жизни.

разделилось на два отряда. Один взял городки Урос, Чердынь и Покчу; а другой—сильно укрепленный Искор. В Покче после успешного похода отряды встретились. Пермь Великая окончательно закрепилась в пределах русского государства. А к длинному уже титулу первого «государя всея Руси» Ивана III прибавился эпитет «пермский».

Вот тогда-то Федор Пестрый и пожелал иметь Покчу столицей и местом обитания великопермского наместника Москвы. После успешного похода стал править в Покче князь Михаил.

30 с лишним лет олицетворял городок Покча Пермь Великую, но в году 1535-м случился в городке пожар, и столица переместилась опять в соседнюю Чердынь.

Уже этот один исторический эпизод дает право древней Покче быть селом-памятником, беречь и передавать из поколения в поколение любые материальные свидетельства прошлого.

СЕЛО,

ПОЖИВШЕЕ СТОЛИЦЕЙ

Ю. СЕНТЯБРЕВ

Селу Покчѣ, что своими четырьмя улицами вольно расстелилось вдоль реки Колвы под Чердынью, довелось в былое время побывать не только городком, но и столицей всей Перми Великой.

Случилось это в пору присоединения пермских земель к русскому государству. Ведь обширным и богатым этим краем не прочь были завладеть казанские и сибирские ханы и были порой даже близки к успеху. Боясь потерять Пермь Великую, князь великорусский Иван III собирает войско и во главе с Федором Пестрым в 1472 году посылает воевать земли пермские.

Сколько безмяннх могил, скорбных часовен, слез и горя стоят за этим соперничеством русских князей и татарских ханов! А то «пестрое» войско московского царя, собравшее на ратные дела белозерцев, устюжан, вологжан, вычегжан,

А еще стоит вспомнить, что раньше рассказанных событий с городка Покчи началось крещение чердынских пермяков-язычников: «Иона, епископ Пермский, крестиши Великую Пермь и князя их и церкви наставил и игумены и попы». Но и это богоугодное действо, увы, тоже не обошлось без огня и меча. Горели языческие святилища и идолы, множились могилы непокорной чуди. Вспомним хотя бы упорную легенду о том, как этот народ, не желая подчиняться «новым» людям, сам похоронил себя в родной земле.

Конечно, давно нет и в помине тех первых христианских храмов, но примерно там, где они находились, в 1785 году построена в Покче каменная Благовещенская церковь, существующая и ныне. Храм этот трехпрестольный. Главный престол освящен во имя Благовещения Пресвятой Богородицы; южный придел — во имя святого великомученика Георгия; северный — святителя и чудотворца Николая.

Немало замечательных древностей хранилось в этих стенах. В иконостасе летнего храма находилась икона Благовещения, которую, по преданию, привез с собой из Москвы назначенный наместником князь Михаил. А покчинские мастера братья Кунгины завели на ту икону серебряную позолоченную ризу.

Другая икона — великомученика Георгия Победоносца — досталась

храму в наследство от древних покчинских церквей.

Той же стариной помечен был и колокол на Благовещенской церкви. На нем можно было прочитать слова: «Поставили сии колоколы Алексей, да Михайло, да Никита, да Иван в дом Пречистой Благовещению лето 7062».

В Пермской художественной галерее хранится ныне покчинская резная скульптура Николы Можайского — одно из самых ранних произведений уникального пермского деревянного искусства.

В начале нынешнего века храм в Покче был реконструирован и вместо одного купола обзавелся богатым пятиглавием. Заново возведены трапезная, приделы и колокольня, ставшая украшением старинного села. Построенная и обновленная в лучших традициях древнерусской архитектуры, Благовещенская церковь в Покче как бы демонстрирует собой неувядающее искусство виртуозной кирпичной кладки, мастерство уральских храмостроителей и архитекторов, выразительно вписавших свое детище в сельский ландшафт.

Не устаешь удивляться старине на просторных улицах купеческой Покчи. Редкое село на Урале сохранило столько построек, отмеченных оригинальной архитектурой, неповторимой резьбой по дереву. А еще покчинские мастера творили иконостасы (резной золоченый киот отца и сына Федосеевых красовался на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке в Екатеринбурге), создавали деревянных богов, строили и оснащали баржи.

Покча поистине уникальна. Крыши, стены, окна, ворота, карнизы ее домов — все необычно, поражает своеобразием и... просит защиты. С каждым годом ветшают деревянные постройки, исчезают детали резьбы, а с ними — культура уральского сельского быта. Мы своим небрежением активно помогаем этому.

Каких только надругательств над собой не вынес храм Благовещения за послереволюционные годы! Обновленный в начале века, отстроенный на долгую жизнь, он был кощунственно приспособлен под гараж сельхозтехники, а часть территории храма отведена складу горюче-смазочных материалов — сильнее вроде бы уже нельзя уничтожить произведение искусства. С двух сторон в стенах сделаны проломы и вставлены ворота для въезда техники. Однажды в один из куполов ударила молния, и часть церкви стала быстро разрушаться под воздействием ветра и влаги.

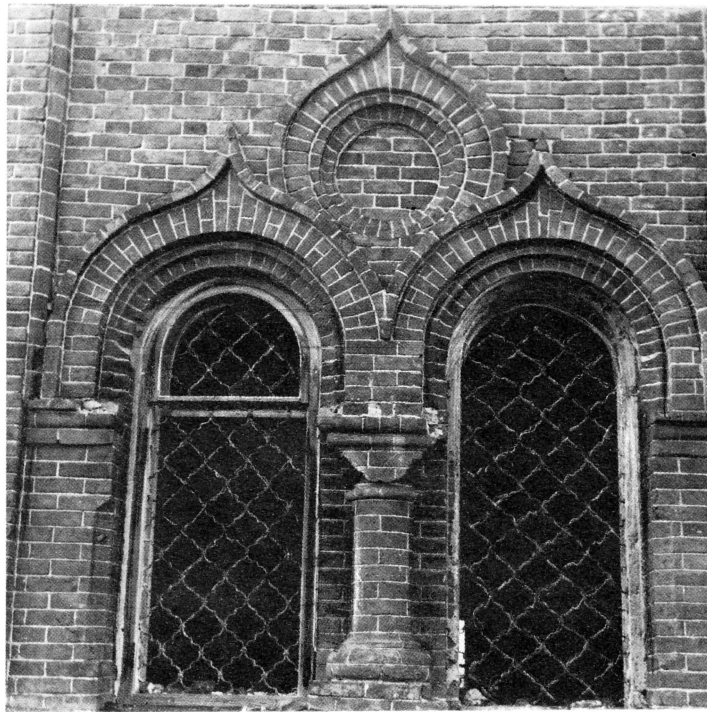
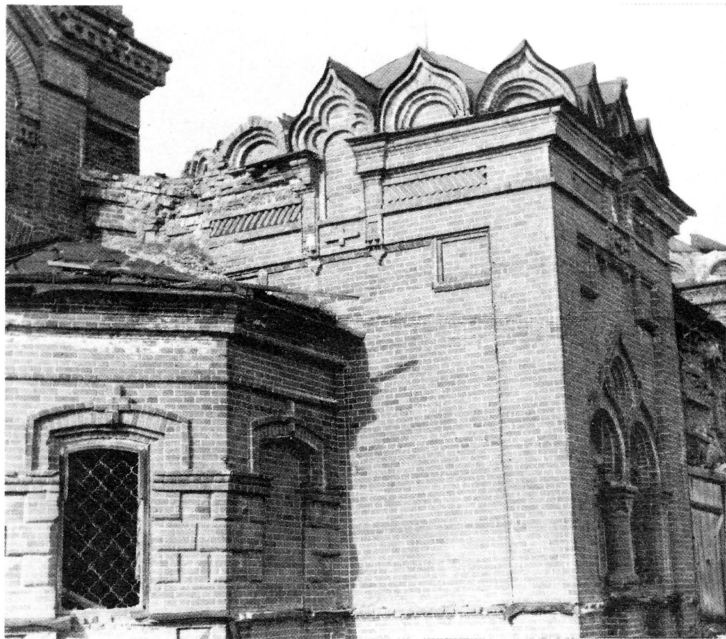
Таким он и стоит сейчас — храм Благовещения в Покче, памятник жертвам, труду и мастерству обитателей древнейшего уральского села.

Благовещенская Церковь в Покче

Смотри 2-ю стр. обложки



Фото Олега Капореико





ОРНИТОПТЕРА

Николай
НИКОНОВ

РОТШИЛЬДА

Бабочки с островов Суматра и Борнео

Был ясный и уже вполне осенний день, когда мы с Альфредом, побродив по дугам и кустарниковым пустошам с вереском и дроком, взобрались на невысокий и достаточно крутой холм в окрестностях Годальминга. Мы запыхались и прилегли отдохнуть, старые ноги требовали этого. По обыкновению весь день мы провели в сборах насекомых. Меня занимали разные виды шмелей, среди которых я все хотел открыть новый, еще не известный науке вид, а Фред загорелся совсем необычной для него отраслью — сбором хищных мух-ктырей, которых в Англии, как оказалось, никто еще толком не изучал и не знал. Конечно, как всегда, мы искали и жуков, ловили бабочек, но Англия не богатая ими страна, и все, что нам попадалось, было давно известно, описано, имелось когда-то даже в наших юношеских коллекциях. Боюсь, что именно эта скудность родной фауны и флоры и толкала англичан путешествовать в дальние края. Мы с Альфредом были не исключением в этом стремлении. Англичанин по природе своей коллекционер. У него с пеленок словно страсть к поискам, находкам, открытиям. Для этого не обязательно родиться в замке лорда или имени эсквайра, достаточно быть просто типичным англичанином, чтоб собирать древности, старинные вещи, рыцарское оружие, всякую мелочь, хотя бы наперстки, пугвицы гвардейцев, подсвечники, я уж не говорю про увлечение нумизматикой и живой природой — у англичан здесь, наверно, нет соперников. Сорта роз, крокусов, тюльпанов, нарциссов и других садовых цветов и луковичных так же бесконечны, как и число их поклонников. А среди любителей охотелостей, завязанных орнитологов и энтомологов я встречал и скромных служителей королевской почты, и трактирщиков, и банковских клерков, и еще бог знает кого. Ну, что заставляло, допустим, нас, двух стариков, побывавших тем более в самых дальних экзотических странах и, казалось бы, пресыщенных тамошней природой и ее дарами, бродить с рампетками по этим скудным местам, отворачивать камни, обследовать пни, а поймав какую-нибудь желтушку или медно-ямчатую жужелицу, оживленно обсуждать ее достоинства?

Мы лежали на теплом, нагретом осенним солнцем дерне и смотрели, как несколько бабочек-нимфалид порхали над вянущими кустиками крапивы, сиделись на уже полуоблетелый, покрытый скрученными треснувшими стручками и кое-где совсем пожелтелый дрок. Это были бабочки-репейницы. Не намного более редкие, чем обычная крапивница. Погрешись в полной неподвижности, они вдруг срывались и стремительно улетали, уносились в одном направлении на юго-запад. А, словно сменяя их, с другой стороны появлялись новые репейницы, опять садилась на дрок или на еще довольно пышно цветущий сиреневый и белый тысячелистник.

— Удивительная бабочка! — сказал, следя за ними, Альфред. — Ты знаешь, Генри, я находил ее повсюду, куда бы ни приезжал. В Бразилии, в Парá, ты, наверно, помнишь, мы радостно удивлялись ей, как соотечественнице, она и там была многочисленна, как здесь. Я видел ее в Штатах, когда ездил туда с лекциями, мне говорили, что она есть в Мексике и в Африке. Даже самая обычная. Неужто в Новый свет ее завезли на кораблях? Но в Старом я встречал ее на Суматре, когда поднимался в горы на Яве и на Борнео¹. Уверен — она есть в Австралии и на мысе Горн! Словом, всесветное распространение. Бабочка-космополит! Ты не думаешь, Генри, что она еще и перелетная, наподобие птиц? И сейчас мы, кажется, наблюдаем как раз ее осеннее передвижение.

— Пусть будет по-твоему, — сказал я, — но, думаю, что в Новый свет репейница перебралась самостоятельно. Через Атлантику она могла перелететь, используя цепь

островов, теперь уже исчезнувших, как потонувшая Атлантида, и, кроме того, могла ведь распространиться через тундру. Чукотка. Аляска. А дальше благодатные места вплоть до мыса Горн. Эта шустрая бестия действительно сотни раз попадала мне в сачок на Амазонке, где я ее тотчас с досадой выпускал. Будь Антарктида чуть теплей, она добралась бы и туда. Барон Ротшильд утверждал, что в Африке репейницы полным-полно, и они не отличаются в видовом отношении от английских. Но ты упомянул о Суматре и Борнео! Как я завидую, что ты побывал там!

— Да. Суматра это, пожалуй, самый дикий, малонаселенный из островов Зонда. Он так огромен, что даже не кажется островом, подобное же можно сказать о Борнео и Новой Гвинее. Нет сомнения, что первые две — части азиатского материка, гигантский мост суши, некогда тянувшийся, может быть, очень далеко в океан. Вокруг этих островов везде мелководье и такая бездна жизни. Все кипит! Раки, крабы, медузы, рыбы всех расцветок, кораллы, анемоны², моллюски. Моллюски, Генри, здесь бесподобны! Ты видел, конечно, мою коллекцию раковин. Я привозил несколько тысяч. Какие там встречаются гигантские тридакны³, — не менее тысячи фунтов весом, а конусы — всех расцветок, вплоть до мраморной, например, Мрамореус! Почти все конусы страшно ядовиты, и малайцы предупреждали меня об этом, когда я собирал раковины во время отлива. У конуса есть ядовитое щупальце, и он может ужалить не хуже кобры!

— Я слышал об этом.

— И тем не менее, раковины их — чудо расцветки! Я гонялся за ними повсюду, покупал на всех рынках, в лавчонках китайцев, где можно найти все, от эликсира жизни до приворотного зелья. У торговцев жемчугом и кораллами я раздобывал самые ценные конусы. У меня именно оттуда есть конус «Слава Индии»⁴, правда, с меня содрали чудовищную цену. Но более всего острова богаты бабочками. На Суматре я не только пополнил собрание конусов, но добыл немалое количество никем еще не описанных бабочек-нимфалид. Если самыми крупными бабочками, типа орнитоптер, Суматра не богата, то нимфалид, белянок, сатиров на ней пропасть! Этот остров занимает первенство, по меньшей мере, во всей Юго-Восточной Азии. Я знаю по своим коллекциям, какое богатство ярких, пестрых многоцветных бабочек-нимфалид представлено в Бразилии и в Перу, а также знаю, что их много в Африке, в Камеруне, прекрасные нимфалиды есть на Новой Гвинее, но на Суматре водятся гиганты среди этих бабочек, каких нет нигде в Азии⁵. Так однажды ранним утром я, отправившись на свою обычную экскурсию по сбору животных, шел вдоль берега ручья — я люблю охотиться вдоль ручьев — всегда есть что-нибудь интересное — шел вдоль ручья и вдруг увидел планирующую над ним громадную коричневую бабочку с белым крапом на широких заостренных к верхушкам крыльях. Вначале я принял ее за самку какой-то орнитоптеры неизвестного вида, но затем (я поймал ее без труда, бабочка летала медленно), раскрыв сачок, понял, что передо мной гигантская нимфалида, и тоже никем еще не описанная! Ах, Генри, тебе ли не знать, какое счастье, до озноба прохvatывает, когда в руках у тебя никому еще не ведомое животное! Ты чувствуешь себя чуть ли не творцом его! Не из-за этого ли ощущения или состояния, не знаю как сказать, натуралисты едут на край света?

Я кивнул, потому что был абсолютно согласен, и чувство это, мало с чем сравнимое, было мне вполне известно.

¹ О. Борнео — теперь Калимантан (Здесь и далее прим. авт.).

² Иначе — актинии.

³ Одни из самых крупных двустворчатых моллюсков с размером раковины до 1 метра.

⁴ *Conus milleedwardsi* — очень редкий вид.

⁵ По-видимому, Рассел имел в виду выделенное позднейшими систематиками семейство Аматусиды с очень крупными видами. Так аматусида *Zeuxidia augeus* Сг. достигает в размахе крыльев 15 сантиметров и относится, следовательно, к крупнейшим бабочкам мира.

— Впоследствии,— продолжал Рассел,— я ловил огромных сине-черных и коричневых с синим ширококрылых нимфалид и на Яве, и на Борнео. Да. У них были очень широкие крылья — бабочки выглядели в полете каким-то летающим четырехугольником! — со всеми переливами черного, фиолетово-синего и ясно голубого тона, к тому же переливающегося шелковистым блеском. Со сложенными крыльями они еще чем-то напоминали всем известных бабочек-каллим, листовидок с Цейлона и Западной Африки, лишь были много крупнее. Гораздо крупнее, Генри. Впоследствии, когда я внимательно изучил свои сборы на Суматре, я пришел к удивительному выводу,— тут Альфред засиял очками и очень убедительно сказал: — Генри! Они самые прямые родственники бразильских бабочек морфо! Да, друг мой, у тебя есть изумительная коллекция бразильских морфо,— может быть, лучшая в мире! Но возьми и сравни их с моими нимфалидами Суматры и Борнео и ты убедишься, что я прав. Они просто копируют этих прекрасных нимфалид Нового Света. Конечно, морфо с Амазонки величественнее, они крупнее и ярче, но все-таки в родстве, и тесном родстве, я убежден. Я ловил крупных суматранских нимфалид всегда рано утром или перед вечером. Днем они держатся в недоступной выси, в вершинах леса, в зарослях бамбука и совсем не видны. Некоторых из них я ловил на приманку из перебродившего малайского пива и раздавленных, портящихся на солнце плодов, главным образом, бананов. Бабочки прилетали на них, как лакомы на сыр-рокфор или пармезан. Да что там нимфалиды и сатиры! На гнилые плоды и на разную тухлятину ловятся даже парусники, даже самые величественные из них — орнитоптеры! Однажды, правда не на Суматре, а на Борнео, я увидел необычайное скопище прекрасных бабочек, которые порхали и перелетали вблизи помойной кучи, куда сваливали порченные плоды, фрукты, ягоды, тыквенные корки и разную дрянь с малайского рынка. Меж бабочками более менее обычных видов носились орнитоптеры с длинными черно-золотыми крыльями. Я поймал их несколько. Это была, Генрих, новая описанная мной орнитоптера Брука! Одна из самых прекрасных бабочек Малайского архипелага, если не всей Земли! Она просто несравненна! Ее верхние крылья по черному расшиты золотым шитьем, как придворный мундир камергера двора Ее величества! Когда я разглядывал эти золотые зубцы, я думал, что они вытканы рукой ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА!

— Ты прав, Фред! Орнитоптера Брука — чудо природы! Когда я беру в руки коробку с этой бабочкой, мне приходит мысль, что никакие модницы еще не перешеголяли природу! Черно-зеленые с золотом ткани, копирующие хотя бы узор орнитоптеры, не соткала даже самая умелая рука. Кстати, бабочка выделяется еще и своей необычной формой! У нее такие странные узкие верхние крылья, словно у бражника!

— Да, орнитоптеру Брука⁶ я ловил нечасто. Хотя теперь ее имеют многие коллекционеры по всему миру. Но тогда я всегда ловил только самцов, и мне даже была неизвестна ее самка, она, очевидно, гораздо более редкая и выглядит совсем иначе. А знаешь, друг мой,— продолжал он,— почему я так люблю Суматру? Она не перенаселена так, как соседняя Ява или более далекая Индия. В Индии леса уже поредели, поля теснят их. Все возделано. Рис. Рис. Ява — та вообще словно соткана из рисовых чеков, которые яванцы умудряются делать даже на склонах гор! Все это в дождевой период залито водой и выглядит, может быть, замечательно, однако природа, замененная творчеством человеческих рук, никогда не привлекала меня. На Яве я чувствовал себя тоскливо и неуютно, пока не забирался куда-нибудь подальше. Но мест таких там мало. Зато Суматра это действительно первозданная господняя Земля. Какие дебри! Какие леса! Горы! Я часто слышал и видел здесь слонов. На Суматре водится странный, словно бы очень примитивный подвид

азиатского слона, маленький (конечно, относительно!), с четырехугольными небольшими ушами. На Суматре живут два вида лесных носорогов. Один из них двурогий! Я находил их следы, помет, слышал треск зарослей, где они бродили, и один раз видел самку с детенышем! Носороги здесь также мельче азиатских и выглядят допотопно. А еще на Суматре есть тигр, два вида леопардов, малайские медведи, олени, огромные лесные быки,— словом, весь набор крупных четвероногих. А мелких: куниц, белок, обезьян — обезьян особенно — полным полно. Гиббонов здесь видишь и слышишь постоянно, они орут и поют, как амазонские обезьяны-ревуны на раннем рассвете. Здесь есть чудные попугаи, кстати, опять напоминающие американских, есть чудовищные питоны и огромные кобры, хотя змей, в общем, меньше, чем в Индии. Есть и вообще какие-то удивительные существа. Кстати, у меня тут был забавный случай. Ночью я вышел из хижины с фонарем, намереваясь половить сатурний на ближайшей лесной опушке. Едва я отошел от деревни и погрузился в темноту — дорога шла среди бамбуковых зарослей и редких деревьев — мой фонарь вдруг высветил два гигантских глаза, круглых и буквально мечущих искры! Я остановился в растерянности. Кто же это? А существо с глазами-плошками вдруг прыгнуло мне навстречу большим прыжком. Со страху мне почудилось, что это прыгает лягушка величиной с зайца! Я едва не бросился бежать, но тут фонарь более четко высветил приблизившееся существо. Это был самый удивительный зверь здешних лесов — долгопят! Обычно этих ночных азиатских лемуринов никогда не видишь днем. К тому же они древесные животные и днем, наверное, спят или прячутся в дуплах. А ночью они охотятся, их невероятной величины глаза-плошки способны, вне сомнения, видеть лишь при свете звезд тропической, для нас непроглядной, ночи. И к тому же в лесу! Но что делал долгопят на земле? Он прыгнул еще раза два и полез вверх по какому-то стволу очень шустро. А с фонарем я нашел на тропе крылья очень крупной бабочки, очевидно, в погоне за ней он и свалился или спрыгнул на землю с дерева. Долгопятав население малайских кампонгов боится, как привидений! Этот зверь и в самом деле похож на привидение, бродящее по ночному лесу, а для нас чудо-человечка гомункулуса! На Суматре я собрал также хорошую коллекцию парусников, которых искал всюду, а ловил даже на редких и очень страшных в виду, вонючих, как падаль, цветах раффлезии. Здесь попадаются эти мясистые и словно бы сразу разлагающиеся розетки, попадаются не часто и только на звериных, слоновьих тропах. Растение ужасно смердит, — но зато, какой улов! Тут я ловил и жуков, и бабочек, и прямокрылых. Конечно, если считать строго, по количеству видов этот континент (вот видишь, невольно назвал Суматру континентом!). Этот континенту, черт, остров уступает Новой Гвинее, там бабочки многочисленнее и удивительнее, так же как жуки. Но зато Суматра кипит дикой нетронутой азиатской фауной, какую уж не встретишь ни в Индии, ни в Бирме, ни на Малакке. Тут словно все сошлось, как в ковчеге. Даже Борнео не сравнится. Вот, для примера, на Борнео почему-то нет тигра? А на Суматре он есть, хотя отличается от бенгальского подвида меньшей величиной. Да, Суматра, несомненный обломок Азии, так же как Борнео, Ява, Целебес. Но за Целебесом — стоп! Здесь проходит какая-то таинственная граница между малайской и австралийской фаунами по неширокому, но, как кажется, очень глубокому проливу между островами⁷. Новая Гвинея за проливом несомненно обломок Австралии, так же, как и ряд малых островов. Но для меня, Генри, и сейчас загадка, почему фауны Малайских островов и Новой Гвинеи отличаются так резко. Ведь крупные четвероногие есть даже на Целебесе, не говоря уж про Яву, а на Новой Гвинее, такой огромной, нет никого. Ну, четвероногие пусть, им, предположим, не по силам преодолевать проливы. А птицы? Птицы Новой Гвинеи и, скажем, Явы и Борнео — это

⁶ В современной систематике орнитоптера Брука выделена в особый род трогоптера вместе с еще одним близким видом.

⁷ Линия Уоллеса.

совершенно разные миры, разные орнитофауны? Сходство с островами по ту и эту сторону узкого пролива только в флоре, да и в ней различий немало. Очень много «почему»?

— Не сдастся ли тебе, Альфред,— заметил я,— что... Что материки и тем более острова движутся? С течением времени, пусть медленно, однако меняют! Меняют, друг, свое место?

— Это было бы слишком фантастично, Генри. Слыхом. Я допускаю поднятия и опущения морского дна, погружения суши, но чтобы континенты двигались? Слыхом.

— Ничуть. Разве Англия всегда была островом?

— Думаю, что всегда.

— Тогда как появились на ней, скажем, олени?

— Завезены человеком, перешли по льду, или... Или был мост суши!

— Или... И что проще. Англия оторвалась от Европы тысячелетия назад и сейчас преспокойно дрейфует дальше на запад!

— Чтобы приплыть, причалить к Америке? — усмехнулся Рассел.

— Вряд ли. Ведь Америка, наверное, тоже плывет, только дальше, в Тихий океан!

— Ты, Генри, всегда был фантазером.

— Зато ты, друг мой, всегда был законченным догматиком-консервативом. Я даже удивляюсь, что ты нашел общий язык с Чарльзом⁸, что ты, как и он, открыл теорию изменчивости видов и эволюции, а вот в вопросе изменчивости лика Земли не хочешь пофантазировать. Все движется, Фред, все движется, и материки должны двигаться тоже! — закончил я.

И мы двинулись в обратный путь к вилле Рассела. Спустились с холма, вышли на дорогу, прихотливо петляющую среди холмов, живых изгородей, уже убранных или, напротив, ярко зеленеющих озимой рожью полей, шли вдоль невысоких стенок древнего дикого камня, сложенных вдоль своих владений предками каких-то фермеров и землевладельцев, шли, пока не показались вдали верхушки дубов и тополей Годальминга и, наконец, ворота усадьбы Рассела. Здесь мы еще раз присели на скамью, где всегда любили отдыхать, прежде чем идти к дому.

Рассел был в благодушном настроении, и казалось, все еще раздумывает над моей, показавшейся ему, несомненно, вздорной, теорией. Я же по-прежнему обдумывал ее и почему-то представлял себе в уме карту Малайского архипелага вместе с вытянутым тонким полуостровом Малакка, длинной Суматрой, далеко вдающейся в океан Явой, почти причаленной к ней в виде длинной баржи, и странным Целебесом, похожим на какого-то морского паука. Выше мне грезился огромный Борнео, очертаниями напоминающий плоскую океанскую рыбу, и россыпь Филиппин, яснее говоривших, что это суша, погруженная в океан и выступившая из него горными хребтами, либо уже единый прежде остров, разорванный на клочки неизвестными, но могучими силами природы.

— Ну, а как показался тебе Борнео, в сравнении с Суматрой? — спросил я молчавшего Рассела. Может быть, он даже переживал наш невольный возникший спор.

— Борнео? — оживился Альфред. — Борнео — еще более материковая часть Азии. В том, что это Азия, я убежден постоянно. Здесь множество животных точно таких же, как в Индии, Бирме и на Малакке. Живет орангутанг, как на Суматре, множество обезьян. Быки. Носороги. Слоны. Нет тигра? Это удивительно. Тигр есть даже на острове Бали, за Явой. Загадка, конечно, не простая. Но на Борнео много леопардов и, возможно, они просто вытеснили тигра? Впрочем, все не понять. Но на Борнео есть, например, удивительная носатая обезьяна. Нос у нее, как у старого английского пьяницы, большой и красный. Эта обезьяна живет в мангровых джунглях у побережья, в болотистых лесах — и, я видел сам! —

великолепно плавают, в то время как другие обезьяны боятся воды. Носатая обезьяна кормится водяными растениями. Вообще же на Борнео очень много болот, воды, рек. Джунгли острова еще более непроходимы, чем на Суматре. И как следствие — множество лягушек, жаб, вообще земноводных и пресмыкающихся. Из них огромное число лазающих и древесных форм. Я жил там довольно оседло в доме с белой верандой близ участка, где велась интенсивная разработка леса. Лес был изрежен просеками, вырубками, но именно по этой причине здесь было удобнее охотиться за насекомыми и вообще передвигаться. Ведь ты знаешь, друг мой, что такое тропический лес! Рабочие с лесоразработки узнав, что я собираю разных животных — я платил по одному центу за экземпляр, — несли мне жуков, ящериц, наземных моллюсков и тому подобное. И вот как-то пришел молодой китаец и принес большую древесную лягушку. Она ни в какое сравнение не шла с величиной наших квакш, была ярко-зеленая, с огромными черными глазами, желтым животом и большими черноватыми перепонками на передних и, особенно, задних лапах. Китаец утверждал, что лягушка летает. Точнее — планирует с дерева на дерево, как делают это встречающиеся на всех островах ящерицы — летучие драконы. Я думаю, китаец не обманывал. Сам я этого не видел. Но лягушка была действительно необычная и по форме, и по величине. На Борнео вообще полным-полно древесных, лазающих и прыгающих форм животных. Ящерицы, древесные змеи, улитки, лягушки, сходные с амазонскими, древесные жуки, сухопутные пиявки, лазающие формы пауков, и как будто даже скорпионов. Есть даже «летающая змея» — кротон. Эта плоская ядовитая тварь, расширяя свои ребра, может планировать с дерева на дерево. А летучие лисицы здесь особенно многочисленны и напоминают во время вечернего и утреннего лета стаи мелких чертей или итеродактилей. На Борнео может быть не так много крупных бабочек, как на Новой Гвинее, но насекомыми он кишит. Я собирал там великолепных навозников, златок, жуков-усачей, листоедов, хрущей. А рогачей мне приносили прямо-таки бесподобных! Я очень люблю рогачей — ты это знаешь, Генри! Так вот на Борнео я просто переживал лукуллов пир! Так много чудных жуков пополнилось в моих коллекциях! Жуки на этом острове часто подражают древесным наростам и корням, клопы — каким-то несъедобным плодам, цикады похожи на жуков. Есть даже рогатые цикады и рогатые пауки! На одной из вырубок я нашел экземпляр гигантского палочника — он был в длину больше фута! Настоящее чудовище — живой сушок, медленно шевелящий лапами-стеблями. А бабочки! Бабочки! Господи, сколько здесь их! Словом, Генри, Борнео — это некая гигантская оранжерея под открытым небом. И если б не лихорадки, и не пиявки, я жил бы там еще не один год. Возможностей для открытий натуралисту несть числа!

Ты представляешь, какое на этом острове разнообразие растений! Весь остров по сути — гигантский лес. И лес, который растет тут без изменений миллионы лет! У меня сердце сжималось, когда я видел эти лесоразработки. Какие сваливались гигантские деревья! Ведь вместе с ними гибли тысячи растений-эпифитов! Папоротники, плющи, орхидей и других лианоподобных, гнездящихся на сучьях и в развилках ветвей! Обилием видов папоротников на Суматре, Борнео и Яве я был просто потрясен! По виду они так разнообразны, что я не всякий раз мог признать в них папоротник. Представь, что папоротники есть не просто с перистыми, но с круглыми, овальными, волнистыми, ремневидными и фигурно вырезанными листьями! Есть множество ползущих и присасывающихся к стволам. Они тянут во все стороны мохнатые шнуровидные корни-стебли, усаженные ярко-зелеными красивыми листьями. Есть папоротники, похожие на рога лосей и оленей, снизу у стволов они имеют большие круглые листья, чем-то напоминающие шляпки губчатых грибов с испода. В эти листья-подпорки папоротник собирает лесной гумус, и за счет этого растение и живёт!

⁸ Имеется в виду Ч. Дарвин. Теория эволюции была выдвинута Уоллесом независимо от Дарвина, приоритет которого он, однако, признал. Теория дрейфа материков основана позднее Вегенером.

С некоторых деревьев свешиваются гирлянды изящно расписанных кувшинчиков. Это также эпифитные растения неперенесы с листьями наподобие фикусовых. А живые кувшины — привлечение для насекомых, которыми растение попросту говоря питается. Кувшины наполнены его «желудочным» соком. У разных видов — они разной величины от маленьких кружечек, до кувшинов, наверное, в кварту! И все это так изящно расписано зелеными, желтыми и бурыми красками! В болотах Борнео растут прекрасные орхидеи с пестрыми листьями, похожими на ювелирные изделия. Листья гемарий⁹ отливают бронзой и золотом, листья макодесов⁹ серебряными жилками! Вообще оттенки драгоценных металлов свойственны здесь растениям в тенистых местах. Иные словно фосфоресцируют!

Возле той вырубki, которую я упомянул и где мы, я, Чарльз и Али¹⁰, сначала жили в нанятой хижине с верандой, лес был изреженный. Охотиться за насекомыми было легко. Вдоль опушки постоянно носились крупные сине-черные, фиолетовые, желтые парусники разных видов. Но переловив их довольно много, мы решили забраться подальше в глушь. И несколько дней прожили в совершенно глухом девственном лесу, на горе, собирая наземных моллюсков, бабочек, папоротники и орхидеи. Только на этой горе, Генри, я собрал сорок видов одних папоротников! Столько нет их во всей Европе! А орхидеи! В болотах здесь растут великолепные целогоны, на старых деревьях и упавших стволах громадные ванды! Целые россыпи и каскады плетей, покрытых пестрыми цветами!

А ночами, особенно в дождливую погоду, на веранде ловили бабочек на свет. Меня всегда удивляло, как в ненастные ночи так обильно могли лететь насекомые на свет? Бывало, что в ясную ночь я добывал две-три бабочки. А в пасмурную и дождливую — сотни! Такой закономерности до сих пор не могу понять.

На вершинах же гор на Борнео, как и на Яве, выше 3—5 тысяч футов растут совсем не тропические леса. Здесь, Генри, я с удивлением обнаружил обыкновенную малину, правда, совсем невкусную, ежевику и травянистые растения, вроде тысячелистника, и разный мелкий злаковник, будто попал в наши Европейские горы. Это было чудно: за тысячи миль от Англии за океаном, морями и экватором видеть пейзаж, чем-то подобный месту, где мы с тобой отдыхаем. Да, друг мой, — сказал Рассел, с кряхтеньем поднимаясь на ноги. — Земля у нас одна. И я боюсь, что в отдаленном будущем мы превратим ее пусть в возделанную, но все-таки безотрадную пустыню.

Бабочки морфо

В моей большой коллекции тропических чешуекрылых бабочки рода морфо¹¹ занимают второе место после парусников. Впрочем, почему второе? Может быть, как раз первое, ибо я собрал сорок три вида морфо за восемь лет жизни на Амазонке, ее притоках и верховьях. Кажется, это предел человеческих возможностей, потому что большинство бабочек собрано парами, так как морфо имеют особенность сильно отличаться по половому признаку не только величиной, но и окраской. У великолепной огромной морфо Елена, — может быть, прекраснейшей из всех морфид, — самец небесно-голубой и блестящий, как новый шелк-атлас, а самка, превосходящая его раза в полтора, оранжево-желтая с черными краями верхних и нижних крыльев, напоминает гигантскую шафранную желтушку наших английских лугов, желтушку, увеличенную раз в десять! У голубого, будто полированная сталь, блестящего морфо Адонис, самка гораздо более крупная благородно-коричневая с тройной белой перевязью по обоим

крыльям. Она также напоминает английских бабочек, но на этот раз нимфалид-ленточников или самок бабочки переливницы. Переливницы-самцы, кстати, и дают отдаленное представление о бразильских морфо. То, что морфо — нимфалиды, не вызывает сомнений, но какие это нимфалиды! Сверкающие, словно голубые молнии, они блещут иногда в верхушках деревьев на страшной высоте крон тропического леса. Редко-редко, чаще на рассвете или к вечеру можно видеть опускающуюся или летящую на средней высоте морфиду, но и тогда она за пределами возможностей сачка энтомолога. В нижние ярусы леса они опускаются только к ручьям, реке или чем-то особо заинтересованные, о чем я скажу дальше. Чувство восторга, которое вызывает парящая и порхающая бабочка-морфо, сравнимо лишь с каким-нибудь выдающимся парусником, и, наверное, лишь азиатские орнитоптеры превосходят их по всем статьям: величине, блеску крыльев, переливом фиолетового, черного и зеленого с золотом.

Когда видишь морфо, как-то забываешь о других бабочках, глаз нацелен только на поиск их. Может быть, точно так же исключительные красавицы среди женщин затмевают своих более скромных подруг, собирая, как магнит, восхищенные взгляды мужчин. Правда и среди самих морфо есть неброские, даже невзрачные виды, но они словно предназначены для того, чтобы оттенять и подчеркивать великолепие тех, кого природа одарила необычайной красотой. Не все морфо голубые или синие. Есть виды совсем скромно окрашенные, коричневые или перламутрово-белые, как, например, морфо луна и морфо Догарта. Почти белую окраску лишь с яркими глазками по исподу крыльев имеет крупный морфо Полифем, названный так в честь мифического Циклопа, которого перехитрил Одиссей. И все-таки самые известные, самые редкостные морфиды — голубые, синие, и даже с оттенками фиолетового перелива. В полете их крылья блестят, как зеркальца, лучи солнца дробятся в них, и получается нечто невообразимое, — бабочка разбрасывает ореолы «зайчиков» и кажется летящей синей птицей. Таковы исключительные в своем блеске морфо Аманте, морфо Нестира, уже названная Елена, морфо Анаксибия, морфо Менелай и морфо Гиацинт. А предела в блеске своих голубых крыльев-зеркал достигает, безусловно, очаровательнейший морфо Циприс, переливчатый, как гигантский камень сапфир. Если снова поискать аналогий для голубых морфо среди наших английских бабочек, кой-какое сопоставление дадут бабочки-голубянки, те крохотные и трогательные голубые мотыльки, что стаями любят виться около дорожных луж, на грязных коровьих бродах, где они ползают по исследованной жиже вместе с полосатыми осами, и вдоль канав, обсаженных ивняком и раkitником. Словом, представьте, что морфо — это чудовищного размера голубянки, до семи или даже восьми дюймов в размахе крыльев, голубянки, каких только могла родить природа Бразилии, экваториальный лес, гигантская река, буйное солнце и дикie грозы. Только в условиях избытка всего: влаги, солнца, растительности, вместе с течением миллиардов лет, могло стать результатом рождение живых существ, сходных с творениями ирреальных сил.

В первые месяцы нашего житья на Амазонке морфо казались нам существами совершенно недоступными. Они либо показывались нам изредка в самых вершинах леса, либо проносились с такой стремительностью, на какую способен лишь взгляд, провожающий их, но никак не рука, вооруженная сачком. Попробуйте поймать им птицу, да еще синюю птицу! Но морфо просто пленяли нас. Мы готовы были не ловить другие виды бабочек, лишь бы поймать хоть одну эту голубую красавицу. Целые дни и вечера мы обсуждали способы охоты на них и ни к чему путному не приходили. Мы пытались подстергать их на водопое, на отмелях, где роились стаи всевозможных бабочек, у луж на дорогах и тропах, куда бабочки, в том числе и парусники, постоянно планировали с вершин леса — морфо не спускались к воде и в самые зной-

⁹ Гемарии и макодесы — виды пестролистных, так называемых «драгоценных» орхидей.

¹⁰ Помощники Рассела.

¹¹ Теперь семейство морфовые — Morphidae, ранее относившееся к нимфалидам. Свыше 80 видов.

ные дни. Вполне понятно, что в дождевом амазонском лесу, где даже в сухой сезон через три-четыре дня грохочут грозы и с небес рвутся водопады, а в сезон влажный ливни бывают каждый день или дождь льет неделями, вода есть и на вершинах. Она скапливается в пазухах листьев бромелий, орхидей, на развилках сучьев, в полудуплах и углублениях коры. Растения-эпифиты умеют запасать ее, и этой влаги вполне достаточно для всех животных, населяющих верхние этажи гигантского леса. Я уверен, что мы очень долго еще не будем знать многих его самых удивительных существ, никогда не спускающихся на землю, а бабочек и жуков особенно. Верхние этажи леса — самая недоступная для натуралистов область, вот почему уже работая на Амазонке один, когда Рассел из-за болезни вернулся в Англию, я старался найти места лесоразработок и собрал там богатейшие уловы неизвестных науке видов животных: это были насекомые, в первую очередь древесные жуки, моллюски, лягушки, ящерицы и даже светло-зеленые некрупные скорпионы и дождевые черви. Надо ли удивляться, что бабочки-морфо проводят всю жизнь в вершинах, где они находят и воду, и обильную пищу, ибо все цветение тропического леса сосредоточено вверх и, в крайнем случае, в среднем ярусе, а под пологом его очень редко встретишь цветущее растение, здесь цветы растениям заменяют нередко очень яркие, пестрые листья. Зато вершины, насколько можно было видеть и убедиться, бывают усыпаны розовыми, желтыми, голубыми, сиреневыми цветами. Там же, на высоте, цветут орхидеи, бромелии, другие эпифиты, и все лазящие и вьющиеся лианы раскрывают цветки ближе к солнцу и свету.

Первых бабочек морфо нам удалось выменять у индейцев и мулатов на разные украшения и вещи. Но такой товарообмен не радовал нас и был недешев. Индейцы знали цену морфо, а экземпляры, приобретенные таким путем, оставляли желать лучшего. Мечта коллекционера — бабочка целая, неповрежденная, с непотертой пыльцой, сохранившимися усиками и лапками, идеально расправленная, препарированная по всем правилам. Такие экземпляры оставались мечтой. К тому же мы прибыли на Амазонку как жалкие бедняки, и покупать бабочек у нас было не на что. Мы сами собирались жить на те средства, которые будем получать за высылаемые в Англию растения, в первую очередь орхидеи и папоротники, на экспонаты для музеев и частных коллекционеров. У нас не было, следовательно, иного выхода, как добывать бабочек самим.

И все-таки первым поймал морфо Менелая Альфред. Я уже писал, что он был необыкновенно везучий. Он примчался ко мне из зарослей у длинного лесного болота и чуть только не припльсывал, показывая бабочку густой шелковой синевы. Он рассказал, что накрыл Менелая на взлете из травы. Морфо была в самом деле хороша, неповрежденная, ясно-голубая, на переливах переходящая в синий и даже словно бы густо-фиолетовый тон. По краям ее широких крыльев шла тонкая коричневая обводка. Морфо Менелай — одна из наиболее известных бабочек этого рода. И мы хорошо знали ее по коллекциям королевского музея, которые тщательно изучали перед поездкой на Амазонку. Мы знали также, что самка Менелая почти в полтора раза превосходит самца и окрашена иначе. Ее крылья имеют широкие черноватые ленты по голубому фону. Самку этой бабочки я раздобыл гораздо позже. Альфред рассказал, что схватил Менелая в каком-то безумном прыжке (бабочка уже взлетела), прыжке, которому позавидовал бы чемпион Англии. Что верно, то верно, охотясь за тропическими бабочками, приходится порой и прыгать, и развивать такие скорости, так работать рампеткой, выделять ею такие чудеса, что игра в теннис и гольф кажутся после этого детской забавой.

Но после поимки первого морфо опять заколодило. И мы терялись. Нам особенно нужны были эти бабочки. Нам их заказывали. К тому же нужны были и другие, более редкие виды. Ловить на приманку? Мы не знали

их вкусы. На воде? — я уже говорил, что воды в дождевом лесу вдосталь всюду. К тому же рядом река, заводи, болота. Амазонские бабочки любят воду, но отнюдь не страдают от жажды. Первое открытие сделал я. Раздумывая, почему морфо исчезают в полдень, я пришел к выводу, что немилосердная парная жара и духота изнуряют их так же, как все другие живые существа. И они просто отсиживаются в кронах деревьев. Зато рано утром они должны летать ниже и чаще. И я был вознагражден. Поднимаясь с рассветом, я шел на опушку леса и к реке, и морфо стали попадать в мой сачок. Так вначале я поймал бело-перламутровую бабочку морфо луна, крылья которой по цвету напоминают лунный диск, когда ночь уже ушла, но луну видно на голубом и ясном светлом небе. За морфо луна попала крупная морфо Гекуба. Правда, бабочка была тоже не голубого и не синего тона, а коричневатого с оранжевым. Эта величественная нимфалида летает, часто планируя. В размахе крыльев она достигает семи дюймов и выглядит очень внушительно. Я пришел к выводу, что и к вечеру многие морфо опускаются ниже. Так мне попался морфо Менелай, затем морфо Ахиллес. Своим наблюдением я тотчас поделился с Альфредом, и бабочки морфо стали нашей добычей.

Вечерами, у края глухого бесконечного леса, вдали от индейско-португальского селения, но близко к реке, мы слушали голоса этого дикого и благословенного тропического мира.

Мы жили в примитивной хижине с помостами, наподобие веранд из бамбука, крытых тростником и пальмовыми листьями. Здесь было бы совсем уютно, если б не доносили комары, которых в тропиках именуют обычно москитами, на самом деле это всевозможные крупные и мелкие кровососущие насекомые, иные и видом, и величиной ничем не отличимы от английских комаров, иные гораздо мельче. Они разносят лихорадку, укусы их так же зудят, вызывают сыпь, наподобие экземы. Количество этих назойливых существ не всегда и не везде одинаково. В иные ночи (иногда и дни!) от них не знаешь куда деться. Спасенье только под марлевым пологом, где изнываешь от духоты. В другие сезоны и дни, в других местах москитов может быть меньше. Но никогда и нигде не избавляешься от них совсем. Словом, надо терпеть. Зато какие голоса раздавались из лесу перед нашей поляной! Какие бабочки, жуки и ночные птицы прилетали на огонь нашего фонаря!

Кричали огромные козодои-гуахаро. С реки доносило мычущий рев кайманов. Кайманы режут, как разъяренные быки. Доносило плеск арапаим, — гигантских пресноводных рыб, их странный шепот и ауканье. Рыбы на Амазонке умеют создавать звуки далеко слышные по воде, а, может быть, кричат и плещутся крупные водяные черепахи? Мы слушали дикое уханье рыбных сов. Крик и писк купающихся водяных грызунов, голоса жаб. У великой реки живет и кормится множество совершенно немислимых существ. А земноводные здесь живут повсюду: в воде, в болотной ряске, на листьях тропических кувшинок, иные из которых похожи на плавающие зеленые скорородки¹², лягушки массажи живут в листве деревьев, на стволах, по мху у подножий. Одни из них стрекочут, как цикады или кузнечики, другие кричат, как сверчки, третьи уныло стонут, четвертые словно бы всхлипывают и чмокают, как оголтело целующиеся, иные издают совершенно музыкальные звуки, звенят колокольчиками и будто бы тренькают на гитарных струнах. Прибавьте к этому хору вспышки светлячков, сияние крупных и будто лохматых, тропических звезд над лесом и беспрестанное метание как бы еще более плотных кусочков мглы — летучих мышей и вампиров. Светящиеся летучие жуки горят так сильно, что кажутся электрическими, а в самой реке постоянно вспыхивают рыбы или какие-то иные фосфоресцирующие существа, названия и виды их мы не могли определить, но Альфред утверждал, что светятся пресно-

¹² Имеются в виду Виктория regia или Виктория Круциана.

водные креветки. Мир этой поразительной воображаемой реки (именно МИР, ибо понимаешь, что и этот величайший лес, и дожди, и грозы, — все порождено ею, МИР, ибо с трудом можно говорить только «река» — Амазонка, скорее, похожа на необъятной величины текущее озеро), — мир ее жизни так неохватен, огромен, что мы не знаем и тысячной его доли. В заводях и глубинах Амазонки, — она очень глубокая река, — чудится столько тайн, что она потрясает именно своей неоткрытостью, неоткрываемостью, недоступностью. Она поражает также своим движением, особенно в период дождей, когда видишь эти километры воды движущейся в ничем не остановимом мощном течении пресной воды, к тому же еще и окрашенной длинными полосами в разный цвет, от горчицевого до светло-голубого. Свойство этой реки! В чем его суть? Игра ли это небесного света, теней от облаков или ее вод с разным удельным весом, не смешивающихся, поднимающихся со дна или опускающихся ко дну? Никто не может ответить.

У Амазонки свой особый запах! Когда я впервые увидел реку, я впервые и обонял его. Этот запах словно бы необъятной свободы, вечной жизни, ничем не разрушимого спокойствия, будто совести и мира и его чистоты. Я испытал при этом такое необыкновенное чувство, какое сходно, быть может, с чувством полета, с чувством вершины и, одновременно, благоговейного, жутковатого по своей малости, жутковатого до озноба преклонения. Древние чувствовали, наверное, лучше нас, если именовали реки БОГАМИ. Например, Нил. И для индейцев Амазонка — тоже божество, грозное, величавое и кормящее. В устье, у Пара, река вообще подобна движущемуся океану¹³. По ней плывут острова с пальмами, выпрыгивают гигантские рыбы, показываются спины и плавники дельфинов и акул. И, стоя на ее берегу, все время ждешь явления какого-нибудь еще более грозного дива. Я думаю, что и Гольфстрим — это Амазонка, продолжающая свой путь в океане и достигающая берегов Европы. Туда же плывут рожденные ею облака, и горе, если река сократит свой теплый сток-объем. Англию, Европу и Азию ждет тогда неминуемый холод и иссушение.

Вернусь на поляну, которую мы с Альфредом назвали «лягушачьей». Хотя я уже сказал, Амазония кишит земноводными, здесь был их рай. Лягушки и жабы великолепно мимикрируют, их окраска так сливается с тонами зелени и коры, что на глаза попадают лишь единицы из сотен. Чаще прочих видишь ядовитых, но очень красивых расписных лягушек. Они украшены желтыми, синими, голубыми и красными полосами и пятнами. Среди них есть миниатюрные и крошечные. Но яд их кожных покровов опаснее яда многих змей. Это обстоятельство всегда останавливало нас от искушения привезти в Англию таких красавиц, держать их в своем доме. Особенно сокрушался Альфред. У него была вечная мечта о собственном зоопарке, ботаническом саде, вообще о тропиках дома, и надобно признать, он всю жизнь безуспешно стремился к этому. Я уже писал, что его вилла напоминала экспонатами Британский музей, а коллекция из тысяч растений — ботанический сад Кью под Лондоном. Альфред даже часто говорил мне, будь он волшебником, он перенес бы кусок этих джунглей с всем их животным и растительным миром в Англию. Найдя какое-нибудь причудливое пестролистное растение, алоказию, маранту, заметив на суку орхидею или бромелию, необыкновенный папоротник, он ныл и сокрушался, что не может взять их с собой. Впрочем, кто из истинных англичан, этой нации садоводов, коллекционеров и эксцентриков, побывав в тропиках, не заболел этой мечтой? С той поры, как Англия стала владычицей морей, обзавелась колониями по всему земному шару, даже консервативные английские трактирщики, не говоря уже о сквайрах и лордах, принялись собирать коллекции растений и тропических бабочек. На этих людей и делали мы ставку, два неимущих

¹³ В устье Амазонка достигает 300 км в ширину, в ней лежат острова, крупнейший из которых, о. Маражо, покрыт лесами и равен по площади Дании.

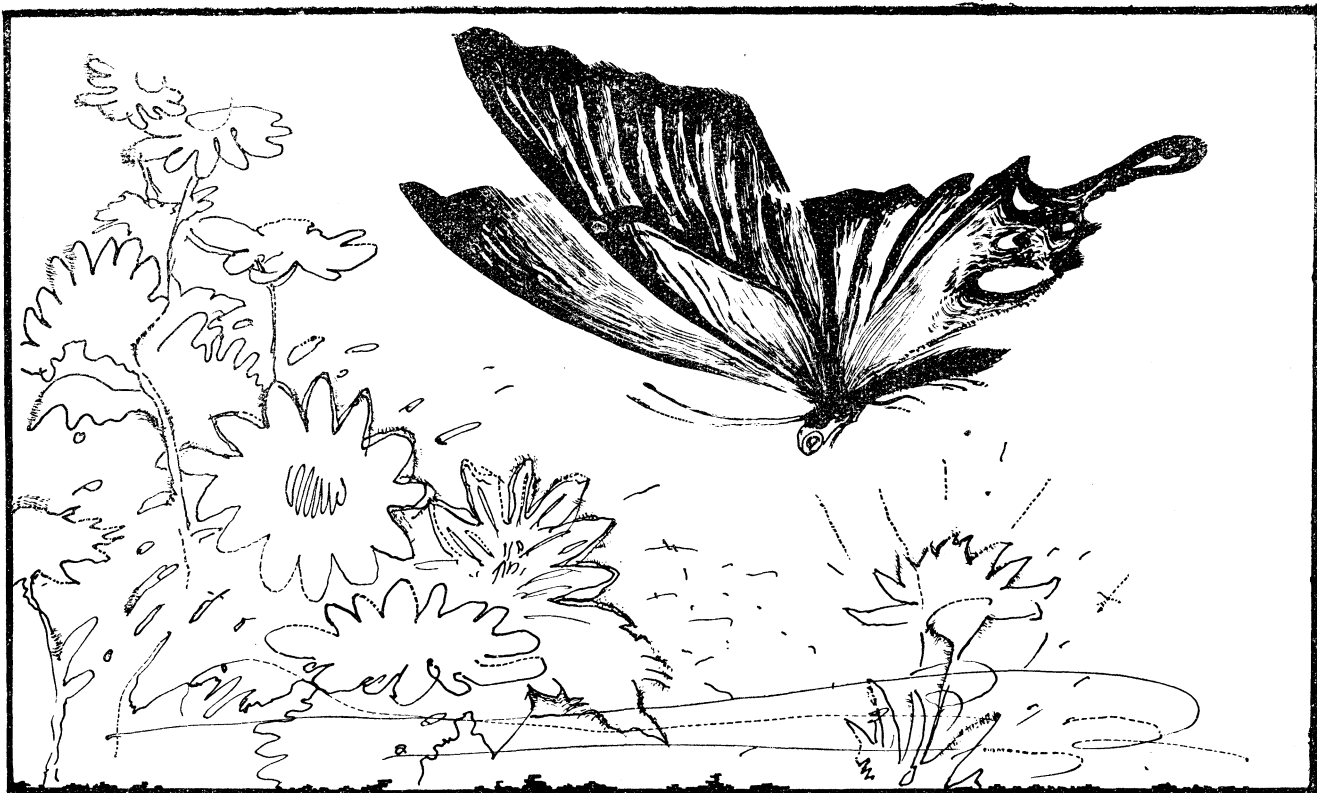
натуралиста, почти с пустыми карманами отправившихся на Амазонку.

В безлунные ночи, если нас не особенно донимали москиты, мы развешивали на верандах по стенам простыни, ставили перед ними фонари и ловили насекомых на свет. Лет насекомых на свет не всегда был обилён, и я не могу сказать, с чем это было связано. Но иногда мы буквально не успевали освобождать сачки, носились по верандам и на поляне, как очумелые, с криками восторга гонялись за какой-нибудь ночницей, поражающей нас своим видом и величиной. На свет из леса и с реки летели не только бабочки, но очень часто жуки, сверчки, богомолы и тараканы, иногда таких страшных форм и величины, что было боязно брать их в руки. Существа эти часто жестоко кусали нас и царапались. Привлеченные светом и пищей к фонарям подлетали козодой, летучие мыши, так что можно было видеть их мордочки, похожие на лики чертей с горящими глазами. Бабочки и жуки не всегда были крупны, скорее всего средние и мелочь, но тем больший восторг вызывала у нас появляющаяся как посланница Селены-Луны, серебристо-серая и будто светящаяся в бликах фонаря павлиноглазка с размашистым полетом, и мы не раз опрокидывали фонарь в попытках поймать ее, а бабочка благополучно исчезала в ночной сельве.

Павлиноглазки всегда были неожиданны по своей волшебной росписи. Редко ярки. Чаще крылья их были окрашены в коричневый бархатно-серый или сиреневатый тон. Глазки на крыльях иногда так же напоминали круглые слюдяные окошечки. Но иногда бабочка вместе с поразительной величиной была еще и расписана, как Арлекин, и мало того, с длинными «хвостами» на задних крыльях! Однажды, глухой ночью, к нам на поляну приключилась на свет сатурния такой поразительной величины, что мы забыли про сачки. Бабочка была много больше фута в размахе крыльев, ее можно было принять за птицу, если бы мы не видели ясно, что это бабочка. Мы даже успели заметить коричневый волнообразный узор ее крыльев с четкими глазками. Она летала в отличие от других павлиноглазок каким-то странным машуще-порхающим полетом и, облетев поляну, словно не обращая внимания на фонарь и не задерживаясь перед ним, скрылась. Такой громадной бабочки ни я, ни Альфред не видели никогда. Вряд ли это была совка Агриппина, самая крупная из бабочек мира. Эта была еще крупнее и явная Сатурния. Подобной нет и не было ни в одной мировой коллекции. Мы долго обсуждали ее появление. В живом мире не даром, по-видимому, существуют редчайшие уникалы, которых природа производит штучно, для потрясения живущих. И это может быть дерево, зверь, птица, насекомое, раковина, жемчужина, цветок, кристалл, растение с фантастическими свойствами. А меж людьми гермафродиты или словно бы мраморные богини. Рассказы же о чудесной павлиноглазке я слышал от коллекционеров и собирателей, долго живущих на Амазонке.

Однако, вернусь к своим морфо. Крупнейшими из них считаются морфо Фанодемус, морфо Циссус и уже названная морфо Гекуба — эти бабочки, может быть, и не достигают восьми дюймов¹⁴ в размахе крыльев, но по площади их превосходят любого парусника. Их величина приближается к квадрату и поразительна тем, что само тельце бабочки не толстое и не длинное. Крупные морфо встречаются не реже других видов, но все-таки, если бы я не жил в Южной Америке столько лет и не преследовал их со всей страстью, я вряд ли заполучил их полный набор в свою коллекцию. Крупные морфо сразу бросаются в глаза не только гигантской величиной, они часто парят, не взмахивая крыльями, кругами планируют над лесными прогалинами и опушками. Иногда они словно замирают в воздухе, лишь слегка покачиваясь на восходящем потоке и словно бы с намерением спуститься. Но все ваши жадные и молящие ожидания тщетны, миг — и бабочка взмывает к вершинам на не доступную глазу высоту и

¹⁴ Восемь дюймов равны двадцати сантиметрам.



пропадает в кронах гигантских деревьев. Но постепенно, изучив повадки морфо, мы стали ловить их и на водопоях. Как ни странно, у бабочек, и даже бабочек строго определенного вида, есть излюбленные места, где они держатся постоянно и также, где спускаются пить, то есть сосать хоботками водный раствор из песка или грязи. Если вам довелось вспугнуть редкую красавицу здесь в определенное время, я могу посоветовать ждать ее тут же на другой день и примерно в те же утренние или послеполуденные часы. Так я добыл несколько великолепных парусников и морфо на отмели у реки, которую периодически то заливало водой, то вода отступала. И на влажный илистый песок начинали слетаться всевозможные яркие бабочки. Более всего, целыми стаями прилетали пестрые и вонючие, как лесные клопы, геликониды, с ними вместе пьериды (беянки), нимфалиды всех размеров и окрасок, и меж ними, всегда царственно порхая вначале, а затем осторожно присаживаясь, складывал крылья уголком какой-нибудь парусник. Крылья папилио действительно в сложном виде напоминали косой парус. И это «парус» белый, пестрый или черный всегда возвышается над скопищем пирующих бабочек других видов. Папилионид на Амазонке много, так что вначале просто теряешься в их разнообразии. Все время чудится, что ты вынул из сачка какой-то новый, не описанный еще вид парусника. Новый вид парусника — мечта всякого энтомолога. Лишь позднее понимаешь, что это мечта. Парусников и морфо натуралисты и коллекционеры замечали прежде всего. Вот почему гораздо легче найти новую нимфалиду, беянку, геликониду или сатира. На открытую нами отмель после отлива (я склонен думать, что на такой великой реке как Амазонка действительно есть приливы и отливы, как в океане) пореже прочих, но все-таки достаточно часто прилетали и морфо. Здесь я поймал несколько огромных самок и самцов морфо Геккуба, морфо Геркулес, морфо Циссеус и похожую на бабочку-беянку лишь с легким перламутровым отливом морфо Сильковского, а также совсем некрупную, но изумительно блестящую морфо Тамирис.

Еще один способ ловли морфо подсказал мне случай. Однажды я нашел на лесной тропе полураздавленную голубую бабочку морфо. Я подобрал ее, сожалея, что крылья безнадежно испорчены, и бросил на тропу. Когда же я возвращался, то заметил, что над лежащей бабочкой планируют и кружатся еще несколько морфо. Мне удалось, подбравшись ближе, поймать двух. Это были морфо Менелай. И тогда я понял, бабочек можно приманивать на бабочек, точно так же, как ловят птиц. Впоследствии я пользовался этим приемом, хотя и не всегда удачно, на отмелях, полянах и тропях.

Особенно много видов бабочек морфо водится в верхнем течении Амазонки. В лесах, одевающих горные склоны Боливии и Перу. Я был в верховьях не слишком долго, но привез экземпляры, совсем не встречающиеся в среднем и нижнем течении. Морфо с верховьев Амазонки, наверное, самые красивые. Ведь только там водится чисто-синий, я бы назвал его полыхающим синим пламенем морфо ретенор и морфо Елена, самцы бабочки окрашены в великолепный голубой с белой перевязью, а самки, как уже упоминал, оранжево-желтые и огромной величины. Здесь же водится великолепный морфо Дидиус, по величине приближающийся к крупнейшим бабочкам этого рода.

Вместе с морфо на песчаных косах у реки и на песке у ручьев мы с Альфредом вспугивали очень крупных и похожих на морфо по форме крыльев бабочек из рода брассолид. В верхней части они окрашены в грубо-яркие тона, подобно нимфалидам, а с нижней стороны имеют пятна-глазки, похожие на глазки сатурний и на глаза сов одновременно. Бабочки называются Калиго. Иногда я добывал их сидящими на древесных стволах.

Впоследствии я узнал, что индейцы сравнительно легко добывают бабочек морфо на куски голубого шелка. Придав шелку огрубленный вид бабочки и привязав его на палку, им взмахивают и трясут в местах, где морфо часто встречаются или пролетают. Заинтересованные появившимся мнимым соперником или мнимой самкой, морфо спускаются, где их и подстерегает ловец с сачком.

Рассказывали также, что ловят и на блеск зеркалаца,

во что трудно поверить. Но в повадках животных, и насекомых в том числе, много загадок, допустим, тот же зачарованный лёт на свет, на определенный запах (я ловил много бабочек на приманку из раздавленных бананов, меда и пива!). Я склонен думать, что морфо могут принять зеркальный зайчик за блеск крыльев особи своего рода.

Мои поиски бабочек и жуков, а так же всего, что связано с деятельностью натуралиста-собираателя, растянувшись едва не на целое десятилетие, запомнились однако меньше, чем дни, вечера и ночи, когда мы с Альфредом жили на поляне у края девственного леса и берега великой реки. Здесь к нам обоим приходило ощущение чего-то большего, чем просто зыбкое слово счастье. Мы жили здесь жизнью этой могучей природы, словно вбирая ее и сливаясь с ней. А только так можно познавать природу с ее запахами, звуками, пейзажами, грозями. Только так открывается она. При заинтересованном направленном внимании зеленый сучок вдруг оказывается живой гусеницей или палочником, клубок, похожий на гнездо птицы, — жилищем древесных муравьев, непонятное щелканье, донесшееся с полусгнившего пня, — ритуальной схваткой жуков-рогачей, дикий рев из чащи (сколько раз мы хватались за ружья, готовясь в встрече с ягуаром!) — криком обезьяны-ревуна, шипенье, подобное змеинному, издавала птичка на гнезде, птичья трель — голосом лягушки, ожерелье, лежащее в траве, было ядовитой коралловой змеей, а расписанные в тигрово-леопардовый рисунок цветы — новой орхидеей-онцидиумом. Можно было лишь подивиться, как незрчные кожистые листики, прилепившиеся к стволу дерева и питающиеся с помощью воздушных корней только тем, что дождь смочит с листьев и коры, могут давать столь чудные цветы.

Сказать, что мы просто жили в лесу у реки и были просто собиратели-коллекционеры — ничего не сказать о нашем бытии, состоянии, самочувствии. Сказать, что мы только и делали, что упивались красотой этого леса, его существ, реки, открытий и находок — погрешить против истины. Нас изнурили жара и влажность, укусы насекомых, боязнь змей, заботы о продовольствии, хранение наших находок, которым вечно угрожали вода, плесень, термиты. От гроз здесь не спасала жалкая листовая крыша, текло везде и даже через брезент. После дождя было трудно дышать, от сырости ломило суставы. И все-таки, несмотря ни на что, мы были благодарны судьбе за это путешествие и за возможность побывать в таких местах, куда и сейчас все тянет, все вспоминается.

ВОСПОМИНАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: философские размышления при чтении «Зоогеографии»

Я помню, кажется, даже тот горячий июньский день, когда мать, все еще очень полная, внушительная и молодая женщина принесла с работы (она была делопроизводителем или управделами? в Свердловском педагогическом институте и там же училась заочно на естественно-географическом факультете) светло-коричневую средней толщины книгу. «Проф. Пузанов. ЗООГЕОГРАФИЯ». Так значилось на переплете. И, конечно, как всякий ребенок, я тотчас начал смотреть, листать книгу. Мне было десять лет. Я давно уже и много читал (был знаком даже с «Пышкой» Мопассана), и с первой же титульной страницы, где смотрел на меня хорошеющий полосатый бурундучок, «Зоогеография» мне понравилась. Сказать «понравилась» — мало что сказать. Она покорила меня прежде всего великолепными — так казалось тогда на фоне общей книжной пустоты и бедности — изображениями разнообразнейших животных. В книге были сплошные страничные таблицы зверей и птиц, нынешних и древнейших. Страницы с ящерами-динозаврами, с мастодонтами, мамонтами, вымершими носорогами, таблицы животных тро-

пических, к которым я всегда чувствовал как бы особое жадно-родственное тяготение. И были, наконец, цветные тропические бабочки. ТРОПИЧЕСКИЕ БАБОЧКИ!

Не знаю, читала ли мать эту книгу. Скорей всего она принесла ее что-то выучить и сдать. По крайней мере я никогда не видел мать что-нибудь особенно усердно и трудолюбиво читающей. Она и газеты-то как-то странно смотрела. Зато я принялся за чтение книги сразу, и она захватила меня, как не захватывали никакие детские книжки, кроме написанного прозой (не в стихах!) доктора Айболита, да и то, скорей всего потому, что у доктора под кроватью жил крокодил, на спинке стула попугай Карудо, а на шкафу сова Бумба. Я очень любил эту книгу, но брать ее приходилось у соседа, богатого мальчика из элитарной семьи, а собственного «Айболита» мне никак не могли приобрести. Но «Айболит» была сказка при всей ее милой сердцу экзотичности. А здесь была уже какая-то настоящая «нужность», здесь ощущались истины, несмотря на сухой научный язык и даже какие-то специальные термины: литосфера, биосфера, членение мира на зоогеографические области, периоды в истории развития Земли. Все это впитывалось ясно, жадно и, больше того, как бы освобождало от мучительного пустого незнания мою молодую, жадно ищущую ответов на самые разные вопросы душу. Книгу я даже не читал, я ее постигал — так легко давались представлялись мне все эти географические, зоологические даже экологические премудрости: биотопы, биоценозы, миграции, эндемики и пандемии, пелагиали и литорали (когда речь шла о делении вод океана). Я зачем-то очень хорошо должен был знать теперь, что «организмы, живущие только в чистых водах, например, форель, называются олигосапробными, а те, что предпочитают загрязненные, — полисапробными (вот уж что я знал доподлинно!). Недалеко от нашего дома, в низине, вечно кисла грязнейшая дождевая лужа, куда добрые люди с весны до осени лили помой и где жило, кишело, размножалось бог знает что, но все-таки я любил ходить туда, чтобы смотреть на всевозможных, до дрожи отвратительных личинок, ловить иногда водяных жуков и наблюдать целые тучи-облака желто-ржавой дафнии, явно предпочитавшей для житья эти вонючие полисапробные воды. Книга все объясняла. Чем дальше, она становилась интереснее, ибо в ней открывалась история жизни на Земле. Эти длиннейшие эры! потрясали мое детское воображение труднообразимой долготой в сотни миллионов лет. Одни названия периодов приводили меня в восторг: Силур. Девон. Кембрий! Триасовый! Юрский! (аналогия с бесчисленными стриженноголовыми Юрами!?). Меловой. (Аналогия: школьный мел у доски и в нем, в нем! миллионы этих самых лет!). А мы, оказалось, жили в начале четвертичного периода Кайнозойской эры! Хо-хо!

Дальше книга рисовала все эти ОЛЕДЕНЕНИЯ и межледниковья. Я не мог их все запомнить — в юрмские или миндель-рисские, но совершенно ясно представлял, как наступали эти ужасные ЗИМЫ. Морозы, когда все-все замерзало, заносилось снегами. И снега эти шли и шли, шли и шли. И сквозь них едва просвечивало маленькое, белое, отдалившееся от Земли солнце. Снега шли и шли, и в них, как в белую пучину, погружались леса, уходили прямо с макушками. А в дикие ледниковые ночи все окончательно сковывалось льдом и над безмолвной его пустыней горели одни только яркие знаки созвездий. Жизнь уходила. Куда? И зачем? Но я знал, что ледниковые периоды все-таки сменялись теплом, когда таяли снега и льды, отступали морозы. И начиналось великое воскресение жизни. И я думал, а может и все эти «эры» были просто как весна, лето, осень, зима. Архейская, палеозойская, мезозойская, кайнозойская? И в каждой эре были периоды: весна, лето, осень, зима — только длились сотни миллионов лет каждый. И в каждом периоде была своя весна, лето... От этих мыслей голова шла кругом, но тем более устремленно читал я книгу, совсем уж за-

поем, когда началось описание фаун тех ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИХ областей — подобластей с названиями: Палеарктическая... Не люблю, не нравится. Не люблю эту Арктику, Антарктиду. Не люблю холод, безжизненность. Лед и Льды. Но дальше была Индо-Малайская область (слышите? Индо! Малайская!), за ней Эфиопская (зачем это, лучше бы куда Африканская!). Неотропическая (а лучше бы Южно-Американская!), Австралийская. (Опять не слишком интересно, что в этой Австралии? Ни слонов, ни носорогов, одни эти сумчатые. Аналогия: тусклая тупая баба в трамвае, с кондукторской сумкой). Я был, наверное, слишком впечатлительным. Слишком впечатлительным?

Устава от книги, но так, как можно устать лишь от наслаждения, прерывал чтение, задумывался, замирал. Первая книга, которая заставила меня думать, не думать, а размышлять. Она давала пищу этому моему размышлению, моей фантазии. Тогда, в конце тридцатых годов, расстояния были еще безмерны. Земной шар необъятен. ЗЕМНОЙ ШАР! Это теперь он сжался до шарика, до коммунальной квартиры, где так накурено, что надо открыть форточку. Тогда на нем, необъятном, стояли еще не рубленные леса. Непаханные целинные степи. Нехоженые саванны. И перепергороженные плотинами чистые реки. Всего полвека. Всего назад.. И мир природы казался незбылемым. Земля неисчерпаемой.. Пространство для войн. А войны и были за это жизненное бесконечное! пространство. В неразвитом уме человека. Неразвитого человека. Хомо вооружающийся. Хомо недоразвитый. Лемуры. Полуобезьяны. «Мы не можем ждать милостей... Взять их — наша задача!» Взять их! «Мы рождены, что б сказку сделать былью, при-адо-леть пространство и простор!» Язык лемался, но лепетал.. Лепетал. Маниакальный Павлов, злодей Лысенко. Параноический Мичурин со своими «березимнее». Фюрер и Сталин. И ясная теперь мысль — нет жизненного пространства, и никогда уже не будет мировых империалистических войн. Завоевывать нечего. Выжить надо всем. Все это потом, потом — и дальше. А тогда. Мальчик с остриженной под машинку головой. Коричневая книга. Проф. Пузанов. И — животные, прекрасные, дивные, чудные животные, каких только что перечислял в своих областях-подобластях этот «проф.». А я восторженно знал, что они были. Жили, были, встречались, даже если считались самыми редкостными. Встречались. Их еще можно было найти, отыскать, увидеть. Их еще как будто не надо было и спасать, заносить тогда в еще неведомую КРАСНУЮ книгу. Что толку от нее и кого это она спасла? Мне даже казалось тогда — вот стоит поискать где-то в самых глухих далеких местах Сибири — и найдутся, обнаружатся еще мамонты, и волосатые носороги, и гигантские олени. Их огромные скелеты в городском музее подтверждали как будто, что они жили только что. А настоящим носорогам в Индии и в Африке еще ничто, вроде бы, не грозило. На них охотился еще неведомый мне Хемингуэй. И охотами этими с обилием добытых трофеев, рогов, бивней, львиных, тигровых шкур мечтательно грезила и моя, едва освободившаяся от восторгов детства, отроческая душа. О, заблуждения! Заблуждения мальчика с глазами из голубых зернышек (такие тогда у меня были). Но ведь неисчерпаемость Земли, необъятность богатств подтверждали и самые большие авторитеты. Например, мой папа. Являясь с охоты, он привозил, бывало, по двадцать, тридцать, сорок уток — ими закладывали весь пол нашей нетесной кухни. Мать и бабушка умилялись. Добытки сиял. Он особенно любил жареных уток с гречневой кашей. Я терпеть не мог гречневую кашу, но тоже светился отраженной радостью, ждал подробных (и бесконечных) повествований об удачной охоте. Отец умел так подробно и вкусно рассказывать, как стрелял, ночевал, раскладывал костер, строил «скрад» для охоты на уток, как всегда был удачлив (он и вправду был таким!) — жизнь и охота доставляли моему отцу величайшее наслаждение. Я не знал другого человека, какой мог бы так наслаждаться

всем: чистил ли он ружье, греб ли свежевыпавший ночной снег на дворе, слушал, как поет синица, курил папиросу (а на охоте только махорку!), ел эту самую гречневую кашу, вспоминал охотничью удачу, пилил или колол дрова. Не знаю, любил ли он женщин, но они любили его. Любила и мать. Любил и я, его единственный сын.

Так шли мои отроческие дни. И я продолжал вчитываться в «Зоогеографию», которую почему-то сокращенно звал — «зоография». Так казалось понятнее и проще. Подробно прочитывая и перечитывая главы о тропических областях, я пришел к убеждению, что не худо бы все это выписать, занести в тетради. И завел такие тетради по каждой области, куда вписывал неустоявшимся, неразборчивым почерком названия животных. Был счастлив. Мне казалось — занимаюсь настоящей научной работой. Я — ученый и ради этого готов был пропускать школу, не учить уроков и вообще быть подалеже от школьной, ниюгда не нужной мне скуки. Жизнь моя осветилась нежданым, ярким и куда-то как будто зовущим светом.

Идиллии этой — так, наверное, бывает всегда — пришел неожиданный конец. Война. Грянула она вполне даже ясно. О ней говорили. Все время пели в песнях. О ней без конца и радостно пророчило-пело радио. «Если завтра — война, если завтра в поход!» «Застрочили пулеметы-пулеметы.. В бой идут, идут большевики!» Ее ждали короткую, радостно-мгновенную, без сомнений победоносную. Она пришла бесконечно долгая, мучительная, голодная. Великая Отечественная. Серое рядно жалкой, унылой, беспросветной жизни, в которой потонуло все. Отец сделался военнообязанным. Служил в госпитале. Мать бросила институт. Работала учительницей. Умерла бабушка. А «Зоографию» мать сдала в институтскую библиотеку. Я даже не успел дочитать премудрое повествование профессора Пузанова. Как ни просил мать оставить книгу, «потерять» (у вас не случилось желания таким способом добыть сверхнужную вашей душе книгу? В таком случае, я грешнее вас). Но, наверное, не было на Земле более честного человека, чем моя мама — книга была без лишних слов забрана у меня и сдана в институтское хранилище. Мать была человеком удивительным. Как-то на работе у нее украли новое зимнее пальто. Институт сначала помог ей. Выплатил какую-то жалкую сумму. Но позднее в бухгалтерии решили, что деньги за шубу выданы незаконно, и прислали повестку: деньги будут взысканы через суд! Слово «суд» в приложении к матери повергло меня в ужас. Будут судить мою маму!? Как судят воровки!? Ей с трудом удалось меня успокоить, а деньги она внесла в кассу столь благородно поступившего с ней учреждения. Именно тогда она и оставила работу и естественно-географический факультет. Весь остаток своих дней (она прожила недолго) мать проходила в старом порыжелом на швах пальто. Оптимист папа не смог, как говорили тогда, сделать ей новое пальто, а сын, едва выбившись из нужды, тоже не успел.

Вспоминая исчезающую «Зоогеографию», я часто думаю, что книга эта и сейчас без всякого спроса желтеет в недрах институтского хранилища, похожего скорей всего на подземное царство — Аид. Книги — те же человеческие души. Живые и томящиеся. Я постоянно отождествляю книги с людьми их читающими и их написавшими. У книг сходная с человеком судьба: рождение, временной срок радостной или тусклой жизни, когда книгу спрашивают, читают, мусолят, не дают отдохнуть, она трудится я, наконец, неизбежное угасание, замирание на полках, безвестность, пыль, забвение, от которого редко-редко по просьбе какого-нибудь чудака ее будят, на краткое время возвращая к жизни. Я не думаю, чтобы «Зоография» пользовалась большим спросом у тех военных лет девочек-студенток в телогрейках, девочек из глубинки, с добрыми, прилежными, заботливыми лицами, в то голодно-тоскливое военное время.

Отодвинулась она и от меня. Но я помнил о ней. Она подчас томилась меня своей недочитанностью, как недосказанной тайной. И когда, в сорок пятом, война все-таки

завершилась, я, ученик седьмого класса второй мужской средней железнодорожной школы, отправился в главную городскую библиотеку. Такая книга была должна находиться там. Но мечта не осуществилась. Оказалось — нет паспорта. Без паспорта не записывают. «Зоогеография» отодвинулась еще на год.

В общем-то я не люблю библиотеки. Книги из них не доставляют мне той радости, какую дает своя, собственная книга. Они — чужие. Коллективные. Как эту суть не понял никто из великих? На них (книгах) печать отчужденности и принадлежности ВСЕМ. На них отпечатки чужих дыханий и липких прикосновений. «Жена, книги и деньги потеряны для их отдавшего, — недаром гласит индийская мудрость, — если же они возвращаются, то жена — испорченной, книга — истрепанной, а деньги — по частям». Я нехороший человек — я не люблю отдавать свои книги. А если отдаю — потом не могу читать. Я не люблю заниматься в читальных залах, пусть в самых лучших с изречениями классиков на стенах. Я не люблю шелест страниц, вкрадчивые шаги, осторожный стук сдаваемых книг, чей-то шепот, чей-то приглушенный кашель.

Я пишу это лишь потому, что едва получив свой временный шестимесячный паспорт (зачем «временный»? О, дурная страна!), согнутую пополам голубую бумажку, я опять явился в знаменитую библиотеку имени скучного-прескучного Белинского и под ворчание какой-то Зои Григорьевны — ужасной старухи с обликком настоятельной средневековой каторжного монастыря — все-таки получил опять и тоже временное читательское удостоверение, в котором учинил свою неустоявшуюся роспись.

Как на грех я тогда еще был вполне каторжно «наглядко» острижен — зачем-то стригся так по инерции до второго курса института! И тут со своей стрижкой, временным паспортом и временным читательским билетом был-являлся, сами понимаете, инородным организмом, почти никак не вписывающимся в почтенную Государственную публичную имени Виссариона Григорьевича Белинского.

Этот странный, дикого вида подросток в кирзовых ботинках и дрянном синем костюме искал-выкапывал в каталоге не менее странную книгу: «Зоогеографию» профессора Пузанова. Почему-то никак не верилось, что она в библиотеке есть. И она появилась, даже с тем же полосатым бурундучком на обложке. Та же самая и все-таки будто не та. Она была словно моложе, чище, новее, но.. не роднее. Должно быть, вот диво! — ее никто, ни разу не востребовал. Не читал. Открытие поразило. Неужто никто не захотел ее читать?! Как бы там ни было, я взял светло-коричневую книгу, с трудом нашел свободное местечко в зале и принялся читать. Однако, почему в этом переполненном читающими, листопадными скучном зале.. «Любите книгу, источник знания. Она поможет вам...» «Всем хорошим во мне я обязан книгам». «Без книг — тяжело...» Почему в этом зале «Зоогеография», желанная «Зоогеография», оказалась тоже скучной, не читалась, не ложилась на душу так, как раньше? Была она вовсе не моя. И совершив к Пузанову еще одно-два паломничества, я прекратил хождение в «государственную публичную библиотеку», где (так казалось) на меня смотрели лишь как на мелкого жулика, вот-вот готового что-то «свиснуть». Та книга оказалась не нужна и мне. И, помнится, я злорадно порвал и выбросил свое временное читательское удостоверение с твердым намерением никогда больше не заглядывать в библиотеки.

Конечно, я нарушал клятву. Редко, но уж совсем взрослым и уже писателем, я приходил сюда за другими книгами. Мне даже оформили абонемент № 1, с правом брать книги на дом. Теперь в библиотечном каталоге под моей фамилией значился целый раздел. Но и тридцать лет спустя, меня встречала та же ворчливо-гневная, как бы каменно-вечная Зоя Григорьевна. Она не изменила своего отношения ко мне, — «какой он писатель, если живет не в Москве и если нет у него, не значится под номером каталога толстых романов «Заре навстречу» или

«Я твой сын, Россия!» Все это легко читалось в презрительных глазках фурии. Ей и теперь казалось святотатством выдавать мне, почти нахалу, драгоценные книги с библиотечной наклейкой и штампом: «Городская государственная публичная имени...»

А чтобы завершить рассказ о книге профессора Пузанова, я прибавлю, как однажды — было это в конце пятидесятих годов — зашел в низенький, известный всем горожанам, а особенно книголюбам (странное слово, вполне сходно с понятием водолюб — черный большой жук, — а есть еще водолюб малый черный, который большим никогда не становится) магазин «Бук-книга» с его обычным тленным запахом книг бывших, старых, старящихся, вовсе не молодых, а также пытающихся сохранить незахваченную свежесть, что им, как женщинам «из вторых рук», никогда не удается. Бегло, привычно оглядывая их, — скрепя сердце, иногда покупал такие книги, — я вдруг увидел лежащую в витрине «Зоо-гео-гра-фи-ю!» Все ту же самую, светло-коричневую. И «проф. И. И. Пузанов» было вдавлено на переплете. Сказать, что я бросился в кассу — ничего не сказать. Медленно, будто подбираясь к редкостной бабочке-орнитоптере и боясь ее вспугнуть, — улетит не поймает, — медленно-медленно и, не сводя глаз с книги, я, как можно умереннее, глянул на продавщицу и попросил дать мне книгу. Мне все казалось, что «Зоогеографию» вдруг кто-то возьмет, опередит или уже ушел платить. Я решил, что ни за что не выпущу ее из рук! Не отдам никому! Но продавщица совсем равнодушно сунула-подала мне ее. В ко всему надоевших косметических глазах не мелькнуло и тени интереса. Есть такие девушки, сплошь состоящие из одного безучастия. Я открыл книгу, чтобы, кажется, взглянуть на бурундучка. Он был на месте. Взглянул на цену и, сказав: «Я беру! Отложите, пожалуйста», — отправился в кассу. Так через двадцать лет «Зоогеография» вернулась ко мне, чтобы встать на самом почетном месте в моей библиотеке.

Двадцать лет! За эти годы из стадии восхищенной миром восторженной личинки я превратился в озабоченного этим же миром и уже битого жизнью человека, я прошел уже первичное самоутверждение — работал учителем, обрел семью, должен был зарабатывать деньги, которых мне вечно не хватало и которых ради я трудился даже на двух работах, коль не считать третьей — творческой. Все шло своим чередом. «Зоогеография» благополучно стояла на полке. И, казалось, ждала своего часа. Сказать, что теперь, обладая ею, я стал к ней равнодушен, не могу совершенно. Нет. Теперь она тепло грела меня, и временами я принимался за ее чтение с тем наслаждением, какое неведомо мне при чтении любой другой книги. Я давал себе слово прочесть ее вновь, всю, по порядку, страница за страницей, обдумывая и даже записывая самое главное. И ни разу не осуществил желания до конца. Дела отвлекали и, в конце-концов, книга ставилась на свое прежнее место, и опять по мне словно шло ее прекрасное здоровое дыхание — мудрости и знания. То, что книги живут и дышат, известно всем, то, что они греют и умудряют — известно тоже. Вот почему я не мыслю своей жизни без книг и если даже не читаю их всех — теперь просто невозможно — они нужны мне для ощущения духовного и даже физического здоровья и равновесия. После же «Зоогеографии», прочитанной мною на пороге отрочества, я прочел и перечел, наверное, тысячи книг, в их числе сотни философских и объясняющих устройство мира. Но почему все они, вместе взятые, головоломно сложные и взыскующие как будто к высшим истинам, не заменили мне этой одной! не родили такого обилия ответных мыслей?

В мудрейших астрономических гипотезах с формулами теории относительности и другими формулами с неутомимостью математической логики вроде бы доказывалось рождение Земли из холодной газовой-пылевой туманности. И я пытался найти тут истину. Но разум, всегда зависящий, по крайней мере у меня, от, быть может, чрезмерно развитой интуиции, всегда гово-

рил мне, что все было не так. И я предполагал, что в момент квазичудовищного взрыва, родившего миллиарды лет назад всю эту расширяющуюся в пространстве Вселенную, когда Солнце, рядовая звездочка, явилось из сгустка клубящейся плазмы, оторванного от центра Галактики на ее окраину, в момент концентрации и рождения его, как светила, часть вещества, более легкого и состоящего из железа, кремния, азота, гелия, водорода расположилась концентрическими кругами вокруг (простите тавтологию!) новорожденной звезды и, подчиненное тем же законам движения, вращения и тяготения, образовало планеты. Если представить солнечную систему как единое целое, то она, мне думается, во всем похожа на атом — в центре атомное, термоядерное ли живущее и пульсирующее ядро (солнце), а далее плотные оболочки, сконденсированные в планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс (по моей теории их плотность, а значит и сила тяжести, должны уменьшаться по мере удаления от солнца, кажется, так оно и есть), и далее уже планеты, составляющие, как бы водную и газовую часть этой сверхпланеты. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон должны состоять из видоизмененной воды, метана, гелия и водорода. Точно так построена и планета Земля, и почему бы эту картину, весьма приемлемую для меня, не попробовать опровергнуть с помощью великой математики и физики в соединении с химией? Нет основания не полагать, что все планеты и Солнце, как звезда, живут своей особой, но подчиненной единым Вселенским законам ЖИЗНЬЮ. Они проходят все те же простые стадии, каким подвержена и так называемая органическая жизнь: рождение, образование спутников (детей), — так Земля на каком-то раннем этапе, наверное, родила Луну, выплеснув в пространство излишек бешено вращающегося вещества, и Луна была вначале очень близко и танцевала с Землей быстрый, но все замедляющийся с течением времени «вальс». Расчеты и теории говорят, что еще в мезозойской эре она была гораздо ближе к Земле и по ночам занимала едва не четверть Неба! То-то было светло! И, возможно, она грела Землю отраженным светом, как рефлектор! (А оледенения не связаны ли с постепенным удалением Луны? А разломы, движение материков не связаны с ее былой близостью? А под ее светом не активнее ли росли леса в каменноугольный период? А? И так далее).. Согласно многим теориям (и моей также) внутреннее «солнце» Земли, ее атомное ядро, ее «топка», ее «сердце» работает на жизнь. И если б внутренняя «печь» не топилась, планета давно была б без следов органической жизни. Сформировалась же эта жизнь лишь после появления водной оболочки. И если сегодня вода составляет 71 % от земной поверхности (Земной? Поверхности?), то в период детства (или весны), когда Земля была куда более горячей по всем перечисленным причинам (и может быть, располагалась ближе к Солнцу), она, естественно, была окружена сначала атмосферой смешанно-газового состояния, из какого, по мере остывания, возникла вода, и лишь позднее залила этим кипящим «бульоном» всю поверхность, перемещая и перемешивая ее чудовищными приливами и отливами. На дальнейшей стадии остывания, удаляясь от Солнца (и от Луны), Земля, можно точно предположить! была единым океаном, ведь ледниковых шапок на ней еще не было и вполне доказано: стоит растаять льдам Антарктиды и вообще всем снегам и льдам — Земля и сейчас станет «Водой». Она была «планета Вода», вода кипящая, теплая и прохладная в районах полюсов, где, возможно, родилась первичная жизнь, возникающая, так думается, во всех или во многих звездных системах, особенно на окраинах Галактик. Жизнь вовсе не исключение, а правило развития миров. И очень скоро это будет доказано.

Лишь после образования гидросферы образовалась и атмосфера Земли, вероятно, также подверженная закону тяготения, с размещением более плотных газов у поверхности воды и более легких в высотных слоях. Водная поверхность Земли обусловила и наклон оси, когда во время

чудовищных приливов в одном полушарии, обнажались поверхности суши в другом. Я склонен предположить, что именно эти колебания родили ритмику, как необходимое условие биологической жизни. Прилив — отлив, потепление — похолодание, день — ночь, движение и относительный покой, вода — суша. Можно предположить, что первичная жизнь имела не кислородную, а только азотную основу. А кислород планета копила уже в процессе развития биологической активности. Простейшие организмы, перерабатывающие неорганические вещества в органику, накопили Земле и чистый кислород и несравненно более сложную нефть.

Жизнь. Жизнь... Мы понимаем ее обычно не философски, как постоянное непрерывное движение, и значит, развитие, в то время как жизнь есть естественное и постоянное изменение, видоизменение, видообразование, распадение и новое превращение. Это переход элементов из одного состояния в другое, с помощью изотопов, и само рождение элементов из еще не познанных частиц энергии и вещества. Я убежден, что именно так рождается водород, из водорода путем накопления частиц — гелий и так далее вплоть до урана и разрушающихся трансурановых элементов, когда частицы начинают снова «отщепляться», а, значит, происходит все тот же процесс «разрушения», как основа будущего созидания. И разве это не жизнь? — процесс рождения и разрушения гор и скал, рост кристаллов, которые индийские философы вообще относят к первичным формам органической жизни и даже сознания, а, значит, могущества и действия, через никем не понятое еще, лишь считающиеся магическими свойства и состояния? Все связано со всем. Все зависит от всего. Единица основа множества. Множество распадается на единицы. Энергия, еще не ведомая нам или знакомая лишь в прагматических, эмпирических формах, вроде огня или электричества, движет жизнью, и эта энергия лишь переходит из состояния в состояние, аккумулируется в одном, чтобы, рассеявшись, вновь аккумулироваться в другом. (О, как любим мы все непознанное затапывать с бычьим упрямством, а все сложное объяснять с позиции думающего муравья. Вам приходило в голову, что муравей, тянущий без всякого приказа хвостик в гигантскую муравьиную пирамиду, и человек, несущий в дом любую вещь, вполне подобны? Что муравей прекрасно объясняет доступный его пониманию мир, точно так же как человек (и я в том числе) объясняю доступный мне мир. Уровень разный, а сущность одна).

Можно предположить, что развитие жизни шло от усложнения жизни неорганической, — что такое образование сложных химических соединений? СОЕДИНЕНИИ? Для того, чтобы на новом этапе родить переходные формы от жизни неорганической к органической, — вирусы, бактерии, к жизни растительной и, наконец, животной с обратным разложением ее опять в соединения неорганического порядка: грибы, бактерии, вирусы, органические кислоты, неорганические соли, некая и — новая волна жизни! Я ничего не открыл, а только примерно суммировал открытое. Эти волны гибели и возрождения жизни на все более усложненной и приспособленной основе шли практически с времен образования планеты, первичного океана с определенной степенью ускорения. Если бы этого ускорения, за счет накопления энергии, не существовало, жизнь и сейчас была бы на неорганических уровнях. Надо думать, что за периоды очень длительного благоприятного развития природа как бы формировала доминирующую форму растений и животных, заполнявших океан, а позднее и сушу. Она словно создавала своего «человека» и «человечество», таким «человеком» прошлого были в свое время аммониты, ракоскорпионы, рыбы, земноводные, динозавры, птицы, млекопитающие и, наконец, человек, выделявшийся в результате пятиллионного (по предполагаемому числу лет) развития рода существ Хомо. Каждая волна творчества отрицалась Новой волной, сохраняя от старой лишь более приспособленные и не мешающие новой волне жизни формы. Так мелкие

и не мешающие млекопитающим формы пресмыкающихся остались, занимая в природе разнообразные экологические «ниши», но вымерли все динозавры, которые «мешали». Так рыбы сохранились в водной среде, а птицы в воздушной, ибо это были их «ниши», но если бы предположить, что человек создан был в летающей или плавающей форме, он несомненно вытеснил бы и птиц, и рыб, что он и делает сейчас, осваивая эти сферы и уже почти вытеснив млекопитающих, кроме тех, что служат его пищей.

Эволюция не может обойтись без жестоких уничтожений всего чрезмерно развившегося и неспособного изменяться, эволюционизировать, иначе биологическая жизнь прекратилась бы, но не жизнь вообще, как превращение, распад и созидание. Регуляторами этой эволюции были внешние и отчасти внутренние условия. Изменение среды, в первую очередь сокращение поступающей на Землю энергии в виде солнечного тепла, затухание ядерных процессов в топке или их амплитуда, отдаление Земли от Солнца, замедление вращения, перемещение материков, изменение течений в мировом океане, как грелка-аккумулятор одевающим Землю. Когда неблагоприятные эти факторы складывались, наступало оледенение, похолодание морей (океана), воздвижение ледяных шапок, сокращение площади океанской грелки и — вымирание чрезмерно размножившихся видов (так было с трилобитами-аммонитами, ракоскорпионами, проторыбами, гигантскими насекомыми, земноводными, динозаврами, малосовершенными гигантскими млекопитающими третичного периода, несовершенными птицами и формами человека, так может исчезнуть и большая часть человечества, когда его деятельность, несовместимая с разумом (чрезмерное размножение, уничтожение лесов, неумеренная распашка земли, поедание животного мира, разрушение экологического баланса планеты и тому подобное, как, например, отравление гидро- и атмосфер), может привести к массовой гибели. Апокалипсис вовсе не выдумка. Он лишь предупреждение, и частично человек его уже испытывал во время эпидемий, войн, непредсказуемых взрывов, вроде Чернобыля. Что же до ранних времен, то похолодания губили леса еще каменноугольного периода. Именно тогда «волчок» Земли начал давать более ощутимые первые сбои. Обычно с такими катастрофическими спадами менялись геологические периоды и эры, созданные воображением и сознанием хомо сапиенс.

Массовую гибель динозавров, вроде бы не объяснимую на геологическом срезе земных пластов, подчеркивает тоненькая черная черточка, — след погибших от холода? Да скорей всего от холода лесов. Это уголь, растительность, которой, в конечном счете, питались все динозавры, даже хищные формы, существовавшие за счет травоядных, точнее, питающихся растительностью. А под слоем вечной мерзлоты, несомненно, лежат леса, погибшие уже во время близких к нам оледенений. Их количество возрастает в геометрической прогрессии, и тем самым сокращаются и укорачиваются, ускоряя бег жизни, геологические периоды. Может быть, какой-нибудь математик найдет здесь особый закон чисел, закон этот неминуемо должен быть Предположением, что эра плазмы была 8 миллиардов лет, что эра первичной сформированности длилась 4 миллиарда лет, тогда на период «планета Вода» останется 2 миллиарда, на период начальной органической жизни 1 миллиард, на протерозой 500 000 000 лет. Архей — 250 000 000, мезозой 125 миллионов лет и кайнозой, в конце которого мы живем, 60 с небольшим миллионов лет. Ищите, математики! Ведь вы утверждаете, что вашей науке все доступно. Недаром древние благовели перед числами!

Мне помнится, в какой восторг пришел мой отроческий ум, когда я узнал все из той же «Зоогеографии» о дрейфе материков — теории Вегенера. Я всегда был страстным поклонником, — скажем так, — географических карт. Самых разных: климатических, физических (и даже политических), вообще карт, где Земля изображалась как бы сверху, в широком плане и предметно. Карты я даже перерисовывал на кальку и складывал в особые папки с названиями: «Азия», «Южная Америка», «Африка», «Ав-

стралия», «Острова». Больших карт мира тогда не было, и пределом моих мечтаний было купить глобус. Даже самый маленький, школьный, в голубую и желто-коричневую краску. Ах, почему и теперь не продаются глобусы в качестве детских игрушек? На все мои приставания, главным образом к матери (к отцу было бесполезно, он просто не понял бы меня), ответ был жесткий: «Где их взять? Стоят дорого.. Это не игрушка».

Мечты о глобусе не покидают меня и теперь, и будь я каким-нибудь высокопоставленным, высоковластным лицом, я, наверное, заказал бы глобус в треть комнаты, причем, изготовленный со всеми тонкостями, особенностями рельефа. Я, помнится, готов был украсть большую карту материков. Ведь снова все мои просьбы к родителям разбивались об это: «Негде! Незачем! Что еще за глупости?» Родители, как вы просчитываетесь, не вникая в глупым просьбам своих детей.. Особенно к страстным, настойчивым просьбам.

В моем распоряжении был только школьный атлас с картами, где материки совершенно ясно показывали, что когда-то они были единым плотом, но вдруг в каменноугольном периоде «поехали», стали расплзаться, за миллионы, сотни миллионов лет приняли настоящую форму. Я читал у Пузанова, что сходные теории дрейфа континентальных плит высказывали и другие ученые, но Вегенер все высказал точнее, яснее и даже погиб где-то в ледниках Гренландии, пытаюсь математически доказать свою теорию. Доказать! До-ка-зать!

И, наверное, ничем не хуже Вегенера я истриг школьный атлас, чтобы теорию дрейфа континентов изучить по своему. Я пришел к другим выводам. Материки вряд ли были однородной плитой. И они «поехали» не в каменноугольном периоде, а сразу, как только сформировались, они «ехали» по более жидкой в то время и более горячей «сигме», вероятно гораздо быстрее, чем сейчас. Они «ехали», и «едут» даже под водой. Там, где сейчас громоздятся горы: Альпы, Гималаи, Кавказ, Урал — были моря и морские проливы. А дрейф материков направлен вовсе не в одну сторону, не только в западном направлении, но и в южном! и в северном! Так, по моей теории получалось, что Индия была соединена с Антарктидой, Австралией и Африкой (остаток — Мадагаскар и мелкие острова). Мне пришлось в голову, что материки плавают все с разной скоростью, в зависимости от их веса и глубины погружения в «сигму», в зависимости от тех сил, которые толкают их, и в зависимости от времени и мощности протекающих подземных процессов, ибо Земля то усиливает свою жизнедеятельность, то приглушает ее. Все получилось сложно и захватывающе. В моих руках континенты кочевали так и этак, и я был страшно счастлив, прикидывая, в какую сторону кочует теперь Австралия и как Антарктида, глубоко увязшая теперь в «сигме», да и к тому же еще умудрившаяся поместиться в нижнюю полюсную часть планеты, где движение также замедляется, слишком медленно переползает из одного полушария в другое. Мне казалось, что быстрее всего кочуют обе Америки, и, особенно, Южная, медленней всех Азия с Европой и довольно неспешно Африка.

Мне казалось, что и Пузанов (и Вегенер) напрасно отрицают былое наличие «мостов» суши, то есть тех соединений, какими животные одних континентов перемещались на другие. Мосты были, и не только за счет поднятия дна морей, но и за счет колебания уровня мирового океана. Что стоит хотя бы наполовину растаять льдам Антарктиды, чтобы земля снова превратилась в планету «Вода»? А что касается древних, каменноугольных лесов, то росли они всюду потому, что климат планеты был куда теплее, океан, в значительной мере остывший ныне, грел ее тогда, как печка (он и сейчас греет, лишь в меньшей степени), и Гренландия в самом деле могла быть зеленым материком, даже находясь на своем нынешнем месте. То же, что материки размещались сначала в экваториальной зоне, было для меня ясным, как божий день.

Великая книга! Я думаю, что обязан ей по крайней мере всей своей судьбой. Она учила меня думать, находить

сладость в размышлении, учила вглядываться в текущую жизнь, все время сопоставляя с жизнью прошлой и жизнью биологической. Я привык все сопоставлять с этими главными осями — геологической и биологической жизнью Земли, и, мне думается, ошибки всех философов мира именно в том, что они не читали, не знали книгу профессора Пузанова «Зоогеография».

Почему-то среди интересных и, главным образом, перечислительных характеристик животного мира той или иной области-подобласти Пузанов мало уделял места «энтомофауне», — скажем его языком, а попроще, значит, миру жуков, бабочек, ос, стрекоз, прямокрылых (тараканы, сверчки, кузнечики), полужесткокрылых (клопы) и других таких существ, в то время как именно этот мир интересовал меня куда как сильно!

Я буквально с невыразимым наслаждением выписал из «Зоогеографии» вот такие абзацы:

«По свидетельству известного знатока бабочек Зейца в Южной Бразилии есть местности, где бабочки различных семейств, жуки, полужесткокрылые и двукрылые отличаются яркой синей окраской, но в соседней долине, в расстоянии нескольких миль к северу, кончается мир синих насекомых и начинается мир красных. Это замечательное явление иногда называют географическим изомерфизмом».

Или еще: «Малайская подобласть, к которой относится Малайский полуостров, Филиппинские и Зондские острова по линии Уоллеса, может быть по справедливости названа Центральной, наиболее характерной и наиболее богатой из индийских подобластей. Вместе с тем по своей природе — это одна из наиболее богатых областей земного шара, «юг Земли» — по образному выражению французского географа Элизе Реклю. Климат типично экваториальный, влажный, с минимальными колебаниями температуры. Преобладающий тип растительности — тропический лес, почти не тронутый цивилизацией».

«По авторитетному свидетельству Уоллеса, лично собравшего на островах Малайского архипелага 111700 насекомых, «не многие страны в мире могут похвалиться более богатой и многообразной фауной насекомых, чем Индо-Малайские острова». Особенно эффектно мотыльки семейства Papilionidae (парусники). Упомянем великолепную, бархатисто-черную с зеленым, *Ornithoptera brookiana* и колоссальных *Papilio memnon*, наконец, *Papilio paris* с золотым и зеленым рисунком крыльев».

«Из насекомых Неоген (Южной Америки) бабочки достигают невиданной нигде, даже на Малайском архипелаге, роскоши и изобилия. Космополитический (а значит, всемирно распространенный, только и всего, но И. И. Пузанову, я узнал позднее, досталось в сталинские времена за этот «космополитизм», и едва не прогнали из Одесского университета, где этот чудесный человек преподавал Зоогеографию — авт.) род *Papilio* представлен более чем 145 роскошно окрашенными видами; однако особенностью южно-американской энтомофауны является семейство Heliconidae (Геликониды) и особенно — великолепные Morphidae (морфо), сверкающие металлически блестящими, голубыми и фиолетовыми, или же шелковистыми палевыми оттенками своих крыльев».

«Разнообразие видов бабочек в Южной Америке столь велико, что, по данным Уоллеса, в ближайших окрестностях одного лишь города Пара можно собрать до 700 видов дневных бабочек, в то время как во всей Англии их не более 64 видов».

«Целебес настолько своеобразен, что его приходится выделить в особую подобласть». И. И. Пузанов. «Зоогеография»

Целебесский¹⁵ Андрокус

— На Целебесе, — сказал мне Рассел, когда во время гулянья по окрестностям его поместья мы грисели отдохнуть на скамью из расколотых вдоль, обструганных брев-

ен, — на Целебесе, удивительном острове, — удивительная и фауна. А бабочки, Генри, особенно. Знаешь, дружище, пока я находился там, мне все время казалось, что я на обломке исчезнувшего горного массива или даже потонувшего гористого континента. Какие там горы! Ущелья! Скалы! Водопады! Такие быстрые горные реки! И фауна не схожая ни с чисто малайской, как на Яве, Суматре, ни с австралийской. Есть, конечно, и то, и другое. Но главное — столько самостоятельных видов, столько эндемиков, принадлежащих лишь этому острову! Меня не оставляло чувство, что я на горном хребте — и вспомни странную пятипалую конфигурацию острова. Так могли сформироваться лишь цепи и отроги горного массива, долины которого под водой! И вот, я думаю, Генри, от Целебеса на восток и северо-восток простиралась когда-то огромная страна, нечто вроде азиатских Кордильеров, от которых остались Филиппины, Япония, Курилы и так до Камчатки...? Вот как интересно было бы тщательно изучить и сравнить фауны и флоры Целебеса, Филиппин и Японии? Если бы они оказались сходными, а особенно флора, ведь она древнее фауны и более статична, более сохранилась, моя теория была бы доказанной! А это означало бы, что Азия некогда была гораздо большей! И прочнее соединялась с Америкой!

— Альфред, — сказал я с восторгом. — Ты выдвигаешь всегда такие диковинные гипотезы, что самое удивительное, — они кажутся реальными! Ты истинный ученый, и твоя теория эволюции, на мой взгляд, ничем не уступает теории Чарльза!

— Ну, нет, — тотчас возразил Рассел. — Дарвин — это мыслитель куда более высокого порядка. Я лишь присоединяюсь, и охотно присоединяюсь к нему, признавая его приоритет. Я не хочу никакой борьбы за приоритет. Зачем? Он мыслитель, а я всего лишь простой натуралист. Он яснее увидел, лучше понял, точнее объяснил теорию изменчивости видов независимо от меня. Ах, Генри! Ученым должно руководить только чувство истинности, но не чувство зависти!

Лицо моего друга, спокойное и величественное, — к старости он стал просто образцом великого ученого даже в своем облике: седая борода, очки, крепкая фигура и по-прежнему безмятежный взгляд фанатика, знающего накрепко свои незабываемые истины, — было спокойно и добродушно. Сколько я помню Рассела, он никогда не был подвержен действию гнева, сильной печали, зависти, злости и отчаяния, — он всегда был ровен, собран, добродушен и никогда не жаловался на свои неудачи, а их у него (я-то знал!) было предостаточно.

— На Целебесе, — продолжал он спокойно, — даже бабочки какой-то особой формы и размеров, не похожие часто на представителей близких родов. На Целебесе водится макак, очень похожий на африканских павианов! Там есть дикая свинья — бабирусса, и она тоже отчасти напоминает африканских свиней-бородавочников. В лесах живет бычок-аноа, столь примитивный, что его можно принять за вымерших третичных млекопитающих. Подобные виды не встречаются нигде. Вблизи Целебеса, на Комодо и других мелких островах живут гигантские вараны величиной с крокодилов.

— А бабочки Целебеса, — продолжал Альфред, — восхитительны. Здесь встречается, например, великолепнейший вид парусника — Папилио блюмей! Громадный, зелено-коричнево-синий, переливающийся, как мауровая лента! Он восхитителен, а величиной далеко превосходит своих отдаленных родичей из Индии. Кстати, вот еще необъяснимая загадка, ты знаешь, что все виды животных на островах мельчают, но бабочки с Целебеса исключение из этого правила. Жемчужиной же бабочек Целебеса, конечно, является не Папилио блюмей, а Папилио андрокус¹⁶ — громадная желтовато-белая бабочка эта с особой полосатостью по верхним крыльям, конечно, тебе известна, и ты

¹⁵ О. Целебес теперь носит название Сулавеси, но, желая сохранить стиль и особенности времени, здесь оставлено прежнее название.
¹⁶ По нынешней систематике *Графиум андрокус*.

знаешь, что самое удивительное — длиннейшие ее «хвосты» на задних крыльях! Не бабочка, а какой-то китайский дракончик. И я, разумеется, знал о существовании Андроклеса, когда приехал на Целебес. Одной из главных моих целей было собрать наиболее полную коллекцию бабочек острова. Их ценят все любители, и я просто горел от нетерпения заполучить этого хвостоносца как одно из главных чудес Целебеса. Ты и представить себе не можешь, Генри, как я научился, пока его обнаружил! На побережье нигде эта бабочка не встречалась, и ее даже никто не знал. Я показывал малайцам цветные изображения, и все отрицательно качали головами. Такой бабочки нет! Я жил тогда в доме у одного голландца, скорее он был, наверное, немцем, — Мессмана на ферме, куда он любезно меня пригласил. Мессман имел большую плантацию кофе, фруктовый сад и молочное стадо из двадцати коров. Он вел безбедную жизнь, но был очень строгим хозяином и, видимо, умел считать каждый пенс. Во всяком случае, Генри, мы как-то заговорили о доходности его хозяйства, и Месснер сказал мне, что любое дело приносит доход, если его вести с умом и расчетом. Он привел даже нашу поговорку: «Позаботьтесь о пенсах, и фунты сами о себе позаботятся». Однако, друг мой, ты еще подумаешь, что я старый скареда, и давай-ка пойдём к ленчу, я проголодался изрядно и ты, наверное, тоже.

— А как же чудесный Андроклес? — спросил я, поднимаясь со скамьи.

— Андроклес? — переспросил Рассел. — Ах, да. Я ведь, Генри, не смог его добыть, тогда начинался уже дождевой сезон. Насекомых во время дождей ловить очень трудно. Они прячутся. В Малайзии дожди донимали меня начиная с ноября. Весь ноябрь, декабрь, январь и февраль лет, как во время потопа. Погожие дни редки, реки выходят из берегов, и, похоже, радуется одна растительность, вбирающая влагу. В свою первую поездку на Целебес я, что называется, занимался разведкой. Делая длинные походы вдоль побережья, охотился на птиц, собирал насекомых и просто привыкал. На Целебесе в это время, я был там с сентября, дуют сильные ветры и ловить бабочек в ветер тоже весьма проблематично. Приходилось искать укромные места, опушки, лесные дороги. Здесь было много бабочек из семейства данаид, а также пьерид (белянки), которые на Целебесе и Новой Гвинее очень разнообразны и окрашены часто вовсе не в белый или желтый, а во все цвета спектра. Есть замечательно полосатые, красные, желто-зеленые и даже черные! белянки, хотя самые красивые из пьерид, по-моему, все-таки живут в Перу и Бразилии. Из моих первых прекрасных находок на Целебесе была поимка нескольких орнитоптер, совершенно изумительной величины и окраски. Вначале, Генри, я чуть не скакал от восторга, добыв первую из них. Крылья ее были блестящие бронзово-черные, а нижние — с яркими черными пятнами по зеленому и желтому. Я думал, что открыл новый вид, но впоследствии это оказалась разновидность Орнитоптеры ремус¹⁷, правда, очень редкостная.

Эта великолепная добыча чуть не пропала, — продолжал Альфред. — Дома, еще вдосталь налюбовавшись на красавицу орнитоптеру, я расправил ее и, поместив сохнуть в отдельный застекленный ящик, повесил на бамбукое дерево. Я боялся, как бы драгоценную бабочку не испортили муравьи. Затем я занялся набивкой чучел и тушек птиц, но что-то все время тревожило меня. В конце концов я встал и пошел посмотреть ящик с орнитоптерой. И, бог мой, что я там увидел — по шнуру уже лезли в ящик мелкие красные муравьи, те самые, Генри, что жгутся, как спичкой, несмотря на свой малый размер. Сняв коробку, я убедился, что муравьи уже там, и с проклятиями принялся вылавливать этих тварей, иначе бы они в момент испортили всю бабочку. Я долго не мог опомниться и не знал, куда поместить находку. Наконец, мне пришла блестящая идея, и я пользовался ею всегда, когда хотел со-

хранить в целости особо редкие экземпляры от муравьев и термитов. Я попросил у своего хозяина блюдо, налил воды, поставил в него чашку, а на чашку ящик с бабочкой и другие мои сборы в коробках. Так, Генри, я спасаю орнитоптеру. Я дождался до начала декабря на ферме, но дождь, начавшийся в ноябре, все лил, и кругом все превратилось в огромное болото: рисовые чеки, дороги, поля, на целые мили вода и дождь. Мне даже казалось иногда, что так вот и начинался мировой потоп! Одни водолавающие птицы да буйволы, которые в Азии, по-моему, заменяют бегемотов и так любят лежать в воде, выставив только свою могучую рогатую голову, да еще лягушки были счастливы. Лягушки эти теперь устраивали перед моим жильем такие концерты с вечера до утра, что я маялся бессонницей и все вспоминал ту местность на Амазонке, где мы с тобой жили в наше первое путешествие. Лягушки на Целебесе, Генри, ей-богу, особые, они способны создавать даже весьма музыкальные звуки, ни на Борнео, ни на Суматре я не слышал таких певцов. В общем, в декабре я покинул гостеприимного господина Мессмана и отправился на острова Ару. О том, что я там делал и какую великолепную орнитоптеру добыл, я уже тебе рассказывал, — заключил Альфред, ибо мы подошли к каменной ограде его виллы, и любимая колли уже мчалась к нам встречать хозяина.

К сожалению, больше мне не довелось слушать рассказы Рассела о его пребывании на острове Целебес и поимке (ловле) тамошних редкостных бабочек, в том числе и упомянутых Папилио андроклес и Папилио блюмей, поэтому я решил привести подлиннее его записки из книги, еще при жизни автора ставшей библиографической редкостью.

«Дождь продолжался 5 месяцев! Я снова приехал в Макассар 11 июня, занял свою старую квартиру в Мамаме и принялся сортировать, приводить в порядок, чистить и укладывать свои коллекции, сделанные в Ару. Я занимался этим целый месяц, отослав свои коллекции в Сингапур, починив свои ружья и получив из Англии новое ружье и запас булавок, мышьяку и др. необходимых принадлежностей, я почувствовал новые силы и новую охоту к работе...

После обеда здесь было необыкновенно жарко, и через несколько дней у меня сделалась такая сильная лихорадка, что я решил удалиться. Поэтому я выбрал себе место за милою отсюда, у поросшего лесом холма, где Мессман (брат первого, Яков) велел построить для меня небольшой красивый домик, состоящий из большой красивой веранды (Рассел не был стилистом, но так как текст подлинный, привожу его без литературной обработки) или открытой комнаты, небольшой спальни и маленькой кухни. Как только дом мой был готов, я перебрался в него и нашел эту перемену очень приятной. Находящийся подле меня лес был необыкновенно чист и состоял из высоких деревьев, между которыми было много пальм, из которых делают пальмовое вино и сахар. Здесь также было довольно хлебных деревьев со множеством больших сетчатых плодов, составляющих превосходную овощь. Почва была покрыта толстым слоем сухих листьев, как это бывает в английских лесах, все горные ручьи совершенно высохли, и едва можно было найти каплю воды или даже сырое место. За пятьдесят шагов от моего дома находился большой и глубокий водоем, где можно было иметь хорошую воду и где каждый день я купался, т. е. выливал на себя несколько ведер воды.

Главными предметами моих поисков были редкие и прекрасные бабочки Целебеса, и я часто встречал совершенно неизвестные мне виды, но они были так быстры и пугливы, что ловить их было необыкновенно трудно. Лучшим местом для них служили высохшие русла горных истоков, где на сырых местах или болотистых лужках, а иногда даже на совершенно сухих выступях можно было найти всевозможные виды насекомых. В этих горных местах водятся самые красивые на свете бабочки. Между деревьями быстро вьются три вида орнитоптер, имеющие от семи до восьми дюймов от конца одного крыла до другого и

¹⁷ По-видимому, Рассел имел в виду действительно одну из самых редких и красивейших бабочек о. Целебес Тройдес Ипполитус, и скорее всего эта была самка, отличающаяся огромной величиной, самой крупной у тройдесов (до 20 см в размахе крыльев).



испещренные атласистыми желтыми пятнами на черном фоне¹⁸. Над болотистыми местами кружатся рои прекрасных полосатых голубых бабочек Папилио милетус и телемахус, великолепны золотисто-зеленые Папилио макдоу и редкие маленькие ласточкохвосты Папилио резус. Несмотря на их чрезвычайно быстрый полет, мне удалось собрать целый ряд прекраснейших экземпляров этих видов.

Редко я волновался так, как во время моего пребывания здесь. Когда я в шесть часов утра пил свой кофе, на деревья, находящиеся у моего дома, часто садились очень редкие птицы; и я, еще в туфлях, бросался к кружью и иногда убивал птицу, которой бы мне не найти и в несколько недель. Большие целебесские птицы-носороги (*Viscos cassidivi*), громко хлопая крыльями, часто садились на высокое дерево, прямо против меня, а черные павианы (имеется в виду хохлатый макак) удивленно глядели вниз на такое вторжение в их владения. Ночью вокруг моего дома бродили целые стада диких свиней, что заставляло нас тщательно убирать все съестное и все хрупкое. При восхождении солнца я иногда в несколько минут собирал на срубленном дереве больше жуков, чем в другой раз за целый день и, таким образом, употреблял с пользою свободные часы, которые в деревне или далеко от леса пропали бы совершенно даром. Тут, где из сахарной пальмы сочился сок, слетались массы мух, и в полчаса я собрал свою лучшую и замечательную коллекцию этой группы насекомых.

А потом, что за приятные часы переживал я, бродя вниз и вверх по руслу высохшей реки, покрытому сучьями, камнями, опрокинутыми деревьями и оттененному роскошной растительностью. А вскоре узнал каждую нору, каждый выступ, каждый пенек и, затаив дыхание, осторожно приближался к месту, где надеялся открыть новые сокровища. В одном месте я находил иногда редкий вид бабочки Тахирис заринда, которые при моем приближении выпускали свои яркие оранжевые и киноварно-красные крылья

и смешивались с прекрасными полосатыми голубыми бабочками. Там, где густые ветви спускались над углублением, я всегда ожидал найти большую отдыхающую орнитоптеру, которую тогда очень легко поймать. На гнилых пнях я, наверное, мог рассчитывать найти редкий вид небольшого тигрового жука. В густых кустарниках мне иногда попадалась маленькая металлически-голубая бабочка (амблиподия) и редкостные и красивые листовые жуки из семейства гиспин и хрихерзомилид.

Большую часть насекомых я нашел по дороге между верхним и нижним водопадами и на краю верхней выемки. Большие полупрозрачные бабочки Идея тондам медленно летали здесь целыми дюжинами, и здесь же я нашел давно желанное насекомое — великолепную Папилио андроклес¹⁹, одну из величайших и наименее известных бабочек из ласточкохвостых. Я был так счастлив, что в продолжение моего четырехдневного пребывания у водопадов я собрал шесть прекрасных экземпляров этого вида. Когда это чудесное создание летит, то длинные белые хвосты его развеваются как знамена, и когда оно спускается к берегу, то высоко поднимает хвосты, как бы боясь их испачкать или повредить. Эта бабочка даже здесь встречается очень редко, так как я видел всего не более дюжины экземпляров, и за многими из них мне пришлось несколько раз пройти взад и вперед по берегу реки, прежде чем удалось их поймать²⁰. Когда в полдень было особенно жарко, сухой берег маленького озера у подножья верхнего водопада представлял необыкновенно красивый вид: он весь был испещрен яркими группами оранжевых, белых, синих и зеленых бабочек, которые при моем приближении сотнями взлетали в воздух, образуя красивые пестрые облака.

На всем архипелаге я не видел таких пропастей, ущелий и бездн, как здесь. Почти на каждом шагу встречались крутые склоны и громадные валы, и дикие утесистые массы окаймляют все горные долины. Нередко видишь совер-

¹⁹ По нынешней систематике Графиум Андроклес

²⁰ В настоящее время андроклес, как и другие целебесские бабочки, запрещен к вывозу с Целебеса и является величайшей редкостью.

¹⁸ По-видимому, здесь упомянуты не орнитоптеры по нынешней классификации, а тройдесы.

шенно отвесные или даже нависшие скалы от пятисот до шестисот футов вышиной, и несмотря на это, они все-таки покрыты роскошной растительностью. Папоротники, пандановые, кустарники, вьющиеся растения и даже лесные деревья образуют густую вечнозеленую сеть, в промежутках которой белеют известняковые утесы, или зияют темные пещеры и пропасти, которые здесь очень часты. Пропасти эти вследствие своего особенного строения покрыты богатой растительностью. Поверхность их очень неправильна, изрыта углублениями и щелями и покрыта глыбами, нависающими над отверстиями темных пещер; но из всякой выдающейся части образовались сталактиты, спускающиеся причудливыми готическими завитками над ямами и углублениями, которые служат отличной и крепкой почвой для корней кустарников, деревьев и вьющихся растений; роскошно зеленеют они в теплой чистой атмосфере и благодетельной влажности, которую постоянно испаряют утесы. В тех местах, где склоны представляют ровную и скалистую поверхность, они почти обнажены или кое-где покрыты лишаями и кустами папоротника, растущими в небольших расщелинах.

И еще об одной, уже упомянутой, целебесской бабочке Рассел пишет:

«Я нашел (здесь) только несколько экземпляров Панилио блуемой, которые принадлежат к самым красивым бабочкам, когда-либо мною виденным. Эта зеленая с золотом ласточкохвостая бабочка с лазурно-голубыми ложкообразными подвесками попала мне летающей около деревьев на солнце, но большей частью в поврежденном состоянии».

А поднявшись высоко в горы, Рассел увидел там следующее:

«Массы неуклюжей малины и голубые и желтые сложноватные придают местности вид умеренного пояса: мелкие папоротники и орхидеи вместе с мелкой бегонией на утесах составляют субальпийскую растительность. Лес, впрочем, необыкновенно роскошен; благородные пальмы, панданусы и древовидные папоротники необыкновенно многочисленны, и лесные деревья сверху донизу покрыты орхидеями, бромелиями, аройниками, ликоподиями и мхами».

На этом кончались доступные мне его записи по Целебесу.

ВОСПОМИНАНИЕ ПЯТОЕ: определитель Плавильщикова

Пожалуй, самой ясной приметой весны, тепла, вообще какого-то решительного сдвига в зимней природе, всегда считается явление первых бабочек. Бывает, снегу синь и бело, еще и проталин нигде, а в теплый, с индиговым небом полдень (густо-синим, сиреневым даже и фиолетовым — не голубым!) вдруг мелькнет над заборами, над крышами рыжеватый живой огонек. И крик, обязательно чей-то восторженный крик: «Ба-бочка! Бабочка!!» Значит — весна.

Обычно самая первая бабочка в городе ли, в деревне, вообще близ строений — крапивница. Она зимует, забившись в щели, и вылетает на свет отнюдь не только разбуженная теплом. Она знает, когда вылетать, и предчувствует изменения погоды (я не случайно сказал, что крапивница — первая бабочка в городе и деревне, потому что в лесу и даже в поле первой является и бойко летает над сплошным снегом мелкая бабочка весенница березовая, которую знают лишь коллекционеры и энтомологи. Весенница принадлежит к ночным бабочкам, хотя и летает днем, принадлежит она к семейству пядениц, в то время как крапивница из обширного семейства пестрых, ярких и бойко летающих нимфалид).

Я уже писал о первых вспышках увлечения в собирании бабочек, писал о своих энтомологических мечтах, рожденных книгой профессора Пузанова, но все это было именно в пышки и мечты, ибо истинное увлечение бабочками пришло ко мне много позже, когда я уже

заканчивал педагогический институт — что за диво?! Никогда не хотел быть учителем, с первых дней не любил школу, всегда старался быть от нее подальше — и вот уже без пяти минут учитель, да хоть бы еще биолог (училась же безуспешно моя мама на естественно-географическом), а тут кончаю литературный факультет. Судьба всегда вела меня одними лишь ей ведомыми путями. Вот посмотрите сами: любя биологию, считая себя прирожденным биологом, я получил квалификацию учителя литературы, но этого мало, я никогда не работал литератором, а преподавал историю и обществоведение, на мой взгляд — самый заурядный предмет. Даже вид и запах школы был мне противен с детства, но пришлось отдать ей (школе) долгие девятнадцать лет, причем работал многие годы директором, то есть человеком, у которого потихоньку выщелачиваются все человеческие качества и он превращается (если не снимут с работы за проступки) в ужасную ходячую добродетель и говорит только ужасными словами: «успеваемость», «посещаемость», «методкабинет», «педсовет», «вызвать родителей», «сообщить на производство», «летние каникулы», «совещание в районе» и еще «гороно — облоно». Оно.. «Похвальная грамота». Этим путем шел, полезным для общества, абсолютно бесполезным моей душе. А душа (или судьба?) требовала чего-то захватывающего, чего-то так нужного вопреки этой трезвой логике жизни, ведущей к моему самоуничтожению.

Слава вам, бабочки, птицы, природа, ловля соловьев и выкармливание птенцов-жаворонков, слава вам, книги, тащившие прочь от школы, из ее затягивающей, засасывающей меня повседневщины, благомеренной лжи и тоскливой рутины. Я преподавал историю и обществоведение, и не ту совсем историю, какой она была и какую я уже знал на себе и видел вокруг: я преподавал «Год великого перелома», «Курс на индустриализацию», «Курс на коллективизацию», «Уничтожение кулачества как класса» и «Десять Сталинских ударов» в Великой Отечественной войне..

Иногда я думаю, уж не крапивница ли спасла меня? Как-то в книжном магазине, безнадежно почти рассматривая витрину абсолютно ненужных мне научных популярных книг (как умеют и сейчас издавать массу книг популярно-ненужных!), я наткнулся взглядом на серую толстую книгу: «Определитель насекомых». На колленковом переплете был вытиснен большой рогатый жук. Такой жук тотчас припомнился. Он был в той первой коллекции, найденной мною в кладовке. Отец называл жука «румынским». Привез жука отцов двоюродный брат, который воевал в Буковине и в Румынии, ездил на броневике и где-то нашел этого жука. Возил его всю войну привязанного за рог, а вернувшись, подарил отцу. Тот крепкий жук с гладкими коричнево-поллированными рогами, как у оленя (он и называется «жук-олень»), оставил у меня очень радостные воспоминания. В детстве очень хочется ловить больших жуков. Олень же был сантиметров восемь в длину. Жук этот на переплете тотчас подсказал «Книга нужная!» Она была новой. Автор — профессор Плавильщиков.

Конечно, «Определитель насекомых» для человека, далекого от природы, книга тоже довольно скучная. И едва одолев страницу-другую, он почувствовал бы, как зевота сводит скулы. Но, что там? Кому это нужно: «Надкрылья такие-то, крылья — такие-то, встречается там-то и в такое время. Отличия: длина лапок, хоботка или еще каких-то совсем уж энтомологических деталей». Но для меня это было новое окно в тот вольный и за годы войны как бы заросший бурьяном одичалый мир. Какие там бабочки, какие жуки — если голод тянулся целое семилетие, от него уже (или от цинги, дистрофии) шатались, выпалили зубы, если вся жизнь недавних военных лет была и держалась на одном — борьбе за выживание. Теперь война позади, но все еще ее омерзело-практическое время передо мной, я помню его, оно все еще травит мою душу. Купив книгу, я даже на лекциях стал читать ее, стараясь не пропускать ни одной страницы, ни одной подробности. И вот, наконец, начало совершаться то, чего тайно ждала, к чему стреми-

дась моя душа. Хаосный, необъятный, непонимаемый мной до конца мир бабочек, дневных и ночных, мир жуков, кузнечиков, сверчков, стрекоз, шмелей и ос, даже комаров и мух приобрел, благодаря определителю, ясное и стройное представление. Здесь давалась простая, точная систематика. Систематика! Я всегда любил ее, с наслаждением изучал. И теперь отряд бабочек или чешуекрылых, потому что вся яркость окрасок этих существ зависит от крохотных хитиновых «перышек»-чешуек, преломляющих свет, делился на бабочек дневных, или булавоусых (усики таких бабочек имеют утолщения на концах), и ночных, усики не имеют утолщений. Бабочки дневные летают днем, тельца у них тоненькие, крылья широкие и, садясь, они складывают их вместе вверх. Ночные (почему-то я их боялся и не собирал) толстокрылые и волосатые, крылья складывают, за исключением пядениц, «домиком», «крышей», летают, в основном, ночью, хотя есть виды, например, бражники, летающие и днем.

Все дневные подразделяются на семейства: толстоголовки (мелкие бабочки с толстым туловищем, напоминающие ночных, но летают днем и крылышки держат вверх), КАВАЛЕРЫ, или парусники, — самые редкие, красивые, крупные и благородные, за парусниками идут ПЬЕРИДЫ (белянки) — всем известные белые или желтые в нашей фауне, хотя в тропиках они окрашены цветисто и ярко. Далее по определению стояли НИМФАЛИДЫ, многочисленные бабочки, очень яркие и пестрые (к ним-то и относилась столь «знаменитая» и всем известная крапивница). Теперь я знал, что она относится к роду Ванесса, и точное название Ванесса urticae. Попутно определитель объяснял, что к роду этому в европейской России относятся еще три вида. Есть, оказывается: крапивница большая, крапивница-многоцветница и крапивница Л-альбум, — то есть «Л» — белое, потому что на крыльях ее белая черточка, вроде латинской буквы «Л». (Читая определитель, огрызался. Оказывается, четыре крапивницы, а я наверное, всех за один вид принимал!).

Дальше за нимфалидами стояли голубянки — бабочки мелкие и совсем крошечные. Их я знал давным-давно. Воспоминание тотчас родило картину: Лето. Берег речки. Грязь, ислеженная ямками коровьих копыт. Желтые полосатые осы ползают по грязи, будто ищут что-то, перебегают медные в золотинку жуки, пересыпаются мошкара, и бабочки мелкие ясно и шелково-голубые вьются, роются тут же. Трогательные и нежные создания — голубянки.

Замыкали подотряд дневных бабочек сатиры, или бархатницы. И опять воспоминания. Идешь летней, даже августовской, обкошенной луговиной, уже не поют птички, и тихий стоит лес, а бабочек еще много, и больше всего по углам и опушкам коричневых, маловзрачных, будто вырезанных из лоскутков темного и линиялого бархата. А сатирами (в честь спутников древних лесных божеств) названы еще и потому, что привязаны будто к лесу, как голубянки в реке.

Итак, толстоголовки, парусники, белянки, нимфалиды, голубянки и сатиры! Как проста ты, систематика дневных булавоусых!²¹ Как сразу встало все на свои места. И может быть, я первый придумал, что хаос, организованный в порядок, превращается в искусство! Или искусство до тех пор только искусство, пока в него не вторглась систематика (математика?). Огорчала и бесстрастная точность определителя. Такой-то род, столько-то видов. Другой род — столько. Оказалось, — давным давно нет и одной, не описанной, не учтенной дневной бабочки. (Ночные, видимо, есть, всякие там моли, пестрянки, совки, пяденицы, кто их всех учтет?) А дневных новых открыть не надеюсь, — разве что на Новой Гвинее, на Амазонке. Но Европа не Амазонка, Урал — тоже, — радуйся, хотя бы, что капустниц-белянок несколько видов. То же ведь (до определителя Плавильщикова) числил всех за один вид.

Конечно, листовая определитель, я больше всего интересовался семейством парусников. И опять огорчение: великопных этих красавцев во всей европейской части оказалось только 5 (пять!) видов, к тому же принадлежащих к разным родам. Вот они: МАХАОН, известный мне с детских лет, желто-соломенная, хвостатая, изукрашенная голубыми зубчатыми лентами и черными узорами бабочка-красавица. ПОДАЛИРИЙ — похожий на махаона, лишь более светлый с полосатой клиновидной росписью и тоже с хвостиками (как бы отделяя от меня возможность поймать и даже просто увидеть, определитель уточнял распространение бабочки: «Центр. Юг»). АПОЛЛОН. Тут ждало меня простое и ясное открытие: да вот же это кто! Огромная белая «редкая», «очень редкая» по отцовскому определению бабочка! Аполлон оказывается, А-пол-л-он! Бог света, поэзии, покровитель искусств у древних греков. Что ж, не худо назван красавец. Да, есть еще один вид аполлона! АПОЛЛОН ЧЕРНЫЙ (или МНЕМОЗИНА). Мнемозиной греки называли музу памяти? Мнемозина эта не имеет красных пятен на белых крыльях, а только черные, — потому и черны? Забавно.. А пятый вид парусников, как сообщил Плавильщикова, — бабочка ПОЛИК-СЕНА. По виду немножко сходная с махаоном, но желтоватая, мелкая и даже просто невзрачная (бывают и меж парусниками, оказывается, не красавцы?). Поликсену эту я тотчас отставил подальше. Водится на Украине. «Юг. степь». Где ее возьмешь? К тому же название родило мне образ классической старой девы — директорши некогда очень престижной женской школы. Поликсена эта (кажется, Павловна) была там вечной директрисой, а я — студентом первого курса, проходившего в школе так называемую пассивную практику — сидели на уроках, учились проверять тетрадки, слушали стажистов-учителей, а сами (больше всех, определенно, я) любовались стаями прелестных девочек в гимназических формах, не скрывающих, к тому же, боюсь, что подчеркивавших, столь же прелестные формы женские. Мы — студенты — были старше этих девятиклассниц — десятиклассниц на год-два. Но хорошо помню выражение застывшего ужаса, с коим Поликсена Павловна встретила пятерку парней-студентов, с каким не сходившим с лица опасением поручила нас особо доверенным лицам. Наверное, ей казалось, что мы тотчас испортим всю благочинную нравственность ее пансиона, и я помню, как однажды, завершив свои первые уроки, усталый и разочарованный, я стоял на школьном крыльце, закурил (был тогда еще весьма курящий), и как вылетела одна из присных директрис, без предисловий завопила: «Вы что тут раскурились, молодой человек?! Вы кого тут ждете? А?! Вы девочек наших ждете?!» И еще в том же духе. А взглянув на окно директорского кабинета, увидел длинное, лучше сказать долгое лицо Поликсены все с тем же выражением тихого непроходящего ужаса.

Вот что мелькнуло в моем сознании, пока рассматривал-разглядывал рисунок этой зубчатокрылой представительницы столь влекущего меня семейства Папилио.

Книгу профессора Плавильщикова я изучал чуть не всякий свободный вечер. Я читал ее на лекциях и в трамваях, завел тетрадь, куда вписывал названия бабочек. Отметил всех, какие могли встретиться на Урале, выделил более редких и желанных, словом, трудился, воображая себя теперь вполне эрудированным энтомологом, специалистом (ведь и Дарвин, помнится, не кончал естественно-географический факультет!). Я трудился под чуть насмешливые взгляды еще не привыкшей к разным «фокусам» мужа моей молоденькой девочки-жены. На втором курсе я успел обзавестись женой. И обладала она, к счастью, бесценным качеством, — если не во всем разделять увлечения мужа, то хотя бы и не противиться им, не грозить уходом и кочергой, и даже вроде бы помогать. Для женщин, повторю, свойство весьма редкое.

«Определитель насекомых» оказался тем странным катализатором или запалом, от какого с новой и даже непредсказуемой силой опять запылало мое увлечение миром насекомых. Но теперь я не просто стремился к неграмотному как бы обладанию цветными кусочками порха-

²¹ В определителе Плавильщикова не были включены семейства дневных бабочек, распространенных в тропиках и, следовательно, не встречающихся в европейской части России. Это морфиды, аматукиды, геликониды, итомии, айранды, брассолиды и данаиды.

ющего бытия, но приблизился, рискну сказать, к его научному пониманию и осознанию.

Я хорошо представлял — бабочки отнюдь не бесчисленны. Они могут быть почти одинаковы по видовому составу. Хоть с Украины, хоть в Англии, хоть в Западной Сибири. Перемищаясь, допустим, из Северной Африки, из Алжира, в широтном направлении через всю Евразию до Камчатки, не соберешь более 250-300 видов дневных бабочек, причем махаон из Алжира и махаон с Камчатки (позднее мне говорили, что махаонов на Камчатке еще очень много!) будут лишь незначительно отличаться по цвету и величине так же, как репейница или крапивница. Я уяснил, что видовой состав бабочек будет меняться заметнее, если начать искать их с тундры, двигаясь на юг, что в разных биотопах (лес, горы, степь, пустыня) меня будут ждать и разные счастливые находки. Особенно в горах! Таких как Алтай, Тянь-Шань, Памир! Еще на Дальнем Востоке — там фауна бабочек включает уже и тропическое многоцветье.

Но никаких возможностей посетить названные части страны у меня не было. Какой Тянь-Шань! если поехать даже в соседний город было тяжелой финансовой проблемой. Мы были бедны, чтоб не сказать нищи. Ведь нищие не получают зарплату, а мы ее, я и жена, не получали тоже — у нас была стипендия — 460 рублей на двоих. Не обольщайтесь, это всего сорок шесть нынешних! Зато сколько угодно можно было мечтать о ловле бабочек на Калимантане, Новой Гвинее, Амазонке и Конго! Мечтами о тропических бабочках я не делился даже с женой. Могла посмотреть уже как на тронувшегося. И если уж всюду рекомендуется смирять себя, ограничивать желания и потребности, я решил, что с определителем! соберу всех бабочек Уральских гор и Средней Европы, чтобы разложить их в коллекции по систематике, а дальше уж будет видно. Мне казалось, эти двести-триста видов я соберу в одно лето, да что там — лето, за два месяца студенческих каникул.

И я ждал их теперь, как самого радостного праздника.

В конце определителя мелким шрифтом давалось наставление, как бабочек и других насекомых собирать научно. Обязательно этикетки, дата, место поимки. Как ловить, где искать. Какие должны быть сачки, коробки, булавки. Не шейные, упаси бог! Эн-то-мо-ло-ги-чес-ки-е. С энтузиазмом, иначе не скажешь, я приступил еще зимой к экипировке. Изготовить обод для сачка, выстругать локвую рукоятку не составило труда. Моя славная покорная супруга шила на обод сетку и даже не из марли (марли все не было!), а из крепкой зеленоватого тона материи канва-конгресс! Точно так и рекомендовал профессор Плавильщиков. В магазине «Наглядные пособия» в то время (вот диво!) продавались специальные застекленные энтомологические коробки! И булавки разной толщины вплоть до самых тонких, — при малейшей неосторожности они просто впились в пальцы. На последние студенческие копейки я купил еще раздвижные расправилки. Словом, было теперь все необходимое, хоть для экспедиции на Амазонку.

В моем сознании теперь были четко обозначены и грядущие объекты собирательства. Значит, так: «Толстоголовки, или геспериды. Мелкие яркие бабочки, представляющие переход от ночных к дневным. Отличительный признак — короткое туловище и широкая «лобастая» голова. Кончики коротких усиков с утолщениями. Крылья держат раскрытыми и приподнятыми вверх. Летают очень быстро. Держатся на цветах».

Этих бабочек я особо не жаждал, но собрать их надеялся.

Белянки, или периды? Что ж? По определителю выходило — самая редкая из них — белянка капустная. Капустница. Она крупнее трех других видов — рапсовой, репной и брюквенницы. К белянкам относилась бабочка лимонница, известная с детства. Еще ведомая мне аврора-зорька, горошковая беляночка, довольно крупная, крупнее всех, белянка-боярышница и еще несколько видов бабочек-желтушек, смутно знакомых по дальним детским дням.

Все это я крепко-накрепко вытвердил для себя в зиму пятидесятого года, когда, еще будучи студентом, поступил на работу в ту самую школу на окраине города, где уже трудилась моя жена. Она успела закончить институт. И теперь мы вместе ездили в рабочий поселок Эльмаш, скучное, тусклее не придумать, место нашей трудовой активности. Чтоб хоть как-то занять и скрасить время, пока трамвай тащился чуть не целый час мимо баракров, пустырей, заводских бетонных заборов с лагерной колочкой, я читал «Определитель насекомых». Книга эта была бесконечной, ибо без начала и конца я мог, явно наслаждаясь, разбирать по родам и видам, допустим, семейства нимфалид, уточняя в сознании, что сюда же относятся давно известные мне бабочки такие, как павлиново перо, траурница, углокрыльница — бабочка вроде крапивницы, но с узорно вырезанными и как бы просто неровно выдранными кончиками крыльев. Интересно было знать, что отцовские «лесные бабочки» рыжие и серые, теперь ясно и четко называются перламутровки или шашечницы. Вот их названия: перламутровка большая лесная, перламутровка Аглая, перламутровка-таволжанка. Перламутровка полевая, Ниобея, Адиппа — и все рыжие, рыжие, веснушчатые. А вот шашечницы: Авривия. Матурна. Феба. Диктинна. Аталия. Хм! Аталия!? Даже неплохо! Вот названия бабочек-голубянок: Хвостатка. Зефир березовый. Червонец шавелевый. Эгон. Аргус. Икар. Армон и, вот смех! — Полу-аргус! Имена сатиров: Чернушка-медуза. Чернушка-эфюпка! Цирцея! Семела. Дриада. Гиера. Мегера!

И когда трамвай, скрежеща ржавым рельсом, заворачивался на окраинном круге, я с сожалением захлопывал книгу. Впереди была школа. Ничем не близкая мне обуза уроков. Ради хлеба насущного. И одно предвкушение, какую коллекцию я соберу, едва оттеплет, и хоть на два месяца стану я свободным и принадлежащим только себе, грело мою душу.

С первыми проталинами, оснащенный всеми доспехами, с ощущением открывателя, натуралиста и даже первопроходца, я отправился за город и уже в эти апрельские дни получил основательное разочарование. Бабочки, в общем-то, попадались, пусть было их для такой рани немного. Они летали вдоль опушек, попадались на дорогах, мелькали у обтаявших полей, и все оказались досадно одинаковыми. Крапивницы, крапивницы, крапивницы! И — никаких там многоцветниц, никаких «Л-альбум». Поймал также лимонницу, сначала желтого самца, а потом беловатую самку, за которой, кстати, гонялась целая куча (стая?) ярких самцов, штук пять или семь! Можно было предположить, что бледно-палевая эта самка была исключительной, по людским меркам, красавицей, раз пользовалась таким вниманием. Я накрыл ее сразу вместе с несколькими женихами, их выпустил, а «невесту» рассмотрел поближе, как и положено большинству самок дневных бабочек она была крупнее самцов, но довольно потасканного вида по тем же антропоморфным меркам. Пыльца обтерта, просвечивает даже кое-где голое крыло. Для коллекции и вообще ни на что путное не годится, разве что величина крупновата. Я без всякого сожаления отпустил соблазнительницу, за которой тотчас увязалась опять несколько желтых самцов.

Впоследствии я узнал, что в сексуальных, так скажем, инстинктах бабочек, величина самки, кстати и ее большая редкость, играют главную роль. Чем крупнее самка, тем ожесточеннее преследуют ее многочисленные самцы. Вырезывая «самок-бабочек» из шелка или бархата, натуралисты определяли, что чем крупнее была такая приманка, тем активнее летели самцы до тех пор, пока величина не делалась вдвое больше естественной. Тут лёт самцов немедленно прекращался. Наблюдение точное.

Не знаю, были тогда сопоставления и аналогии. Но все-таки они напрашивались. Припоминаю, каким успехом пользовались у моих одноклассников не столько настоящие красавицы (где они? Много их? Одна-две на школу и то не всегда, и обычно с первого-второго класса опекает красавицу прочно приклеившийся мальчик из породы каких-то не очень уж взрачных, но целеустремленно-на-

хальных, и красавица будто определена ему в не слишком счастливые обычно семейные узы), но гораздо чаще девочки другого порядка, у кого один бойкий глаз смотрит на одного, а другой — на другого, одним, густо крашенным ртом она улыбается всем, и желанную благосклонность к мужскому роду обнаруживают их выше меры укороченные юбочки и не по годам развитые формы.

Почему эта сценка с лимонницами, летавшими взад и вперед вдоль опушки с каким-то заведенным усердием, напомнила мне уже теперь какие-то давние подробности моей жизни? Тогда я и жена были еще, что называется, молодыми женой, и обоих нас по студенческим привычкам еще тянуло вечерами гулять, то есть идти слоняться по центральной улице города, плотине городского пруда и набережной, которая вела туда же. Плотина была тогда главным местом гуляний, встреч и свиданий. Тогда, в пятидесятые годы, еще не насыщенные телевизорами, съезжалось в центр города едва ли не все его молодое поколение в возрасте от четырнадцати — пятнадцати и даже, возможно, еще моложе, до того возрастного срока, который сам себе каждый положил считать молодостью, ибо встречались на плотине юноши с почтенными лысыми и брюшком, упрятым в ладно сшитые молодежные брюки (тогда сначала носили «дудочки», потом «клевши» — тридцать четыре сантиметра по низкам, чтобы штаниной непременно закрывало носки ботинок). Здесь попадались вечерами даже холостяки-заседагатаи с екатеринбургских времен — мужчины с изношенной баронской статуей и благородными мешками под тускло играющим будничным глазом. Но главным образом гуляли все-таки именно молодые, то был ежевечерний бал-смотр мод, одежда, причесок, хорошеющих личик (может, личиков?), а летом еще дополненный загорелостью бицепсов (щеголяли в майках) и формами бедер — в моде были крепдешинные платья и широкие юбочки «кринолины».

Толпа (именно так!) в разгар гулянья валила валом в одну сторону, начиная от перекрестка, где был театр мюзикомедии и киношка «Совкино», мимо здания Главного почтамта в стиле модерна 20-х годов, через плотину и до начала центральной площади. У белого, дурно пахнущего строения (теперь там сквер!) почти все разворачивались и начинали обратное движение, навстречу которому катился новый поток и тоже с разговорами, смехом, переглядкой, обзвывая детально, постреливая крашенными глазами — женская сторона — или примечая про себя — сторона мужская — что эту вот, мол, фасонистую девочку не худо запомнить, заприметить, узнать, где живет, ну, и так далее...

Я, хоть надо сказать точнее — «мы», ходил «на плотинку» всегда с какой-то ненасытной жадностью, желая как будто найти, увидеть, наконец, «подсмотреть?» те абсолютные женские черты, какие художник-природа вложила в свои единственные для кого-то творения. Не все ли мужчины и женщины всю жизнь так озабоченно, жадно и тайно ищут? Не все? Тогда я был наособицу, и пусть моя юная жена не слишком сочувствовала моим также тайно-явным тяготениям, вначале обижалась, но постепенно привыкла (куда денешься?) и даже сама обращала мое внимание на какую-нибудь чересчур свежую, смелую и совершенную красоту. «Смотри! Какая интересная девочка!» На плотине очень редко попадались еще КРАСАВИЦЫ, то есть совершенство с такими лицами, станами, взглядами, косами, что становилось даже больно, и жена тогда говорила мне, пасмурно, угрюмо бредущему: «Ну, опять отравился, теперь на неделю хватит страдать!» Я любил жену за такое редкое понимание и великодушное всепрощение! Да. В жизни своей я нередко страдал от красоты и, поверьте, не в смысле жадного желания обладания, хоть такое, наверное, тоже было, раз мужчина — значит, грешник. Главное страдание было в невозможности красоту остановить, как-то сохранить, как бы спасти от всех и во имя всех. Такое чувство, наверное, особо ведомо живописцам, — они подтвердят, как горестно угрызение какого-то незахваченного заката, дождевой, ветровой ли, тучи, пасмурного дня с обложным, без просвета дождем, лунной

ночи, лохматого вечера. Красота, а особенно исключительная, имеет свойство исчезать бесследно. Что-то, а это я знал, и потому так жадно искал. И помню муку эту с детских времен, когда до стона, исторгаемого невольным детским ртом, до крика жалости пытался восторженными глазами вобрать и запечатлеть цвет тучи, прoderнутой и освещенной внутри красновато-божественным светом молний или тоном-цветом майского неба в тополях, неба густеющего и уже охлаждающего душу предвестием рокошущего обвала молодого нестрашного грома, предощущение животворящего круто шелкающего ливня, делающего всю землю внезапно плывущей и зачинающей.

Зачем пишу? А для того лишь, чтоб поняли, — и, может, не все, иные ухмыльнутся, отвернутся. Не все, не все.. Вот лист и вот простая трава, вот цветок, вот торс, торс девы, охваченный мокрым облипшим платьем. Его запах.. (В дальнейшем детстве во время игры случайно приник лицом к худой горячей спине незнакомой девочки. Хлестнули овсяные дикие волосы и навсегда, навсегда, навсегда остался запах ветровой, проселочный и солнечный). Счастливый запах! Навсегда. Я узнал, что прикован к красоте, как Прометей к скале, навсегда и обреченно. Я чувствовал это со своих первых дней. Тогда только чувствовал, а понимать начал лишь на склоне своего времени, уже давно серебрившегося и золотящегося, вместе с листьями. С листьями! Сколько я видел листьев! И суровых холодных зорь?! За гранью беспредельности? Да, за гранью. О, какая глубокая, глубокая, глубокая синяя бездна. БЕЗ ДНА, какая без конца тишина, — написал бы, наверное, Николай Васильевич, тот, ВЕЛИКИЙ!

Все это вспоминалось, присоединялось, возникало, отражалось, исчезало, когда уже другим каким-то утром я бродил со своим профессиональным сачком, взрослым сачком, как бы с научным его назначением, вдоль широченной просеки-трассы, подле кромки лесного заглохшего болота. Здесь же, в канаве, зачем-то устроенной глушцами-мелиораторами, бежал иссушающий верхние поля ручей, но тогда мне было не до мелиораторов, ибо оба края канавы (или берега ручья, как хотите) зеленели привольно и радостно, и сотни бабочек носились вдоль взад и вперед, гонялись друг за другом, возвращаясь и снова уносясь вдаль. Бабочки. Бабочки. Бабочки! Здесь я поймал и ведомую мне прежде аврору, или зорьку, — средней величины белянку с оранжевыми концами верхних крыльев. Летящая зорька действительно производила какое-то радостное впечатление, ей (ею) допознались, усиливались солнце, май, теплынь, запах травы, голоса жаворонков в небе и зябликов в близком лесу. Это любованье бабочками (зорек здесь было много!) остановило мой сачок коллекционера, и пусть я четко знал: жизнь зорьки всего какой-то месяц, две-три праздничных майских, июньских недели, а там бабочка гибнет и уже не встретит ее до новой весны, — я больше любовался этим мелькающим, хлопчущимся праздником жизни. И не хотелось его нарушать.

Да. И в новые весенние походы добыча моя была невелика. Бабочки попадали одни и те же. И от жадного собирательства я приходил подчас к углубленному созерцанию этой жизни. Вот простенькая, в который раз подхваченная моей сеткой крапивница. Если разобраться, всмотреться, ведь очень красивая: красная с черными пятнами, с многоцветной каймой по подолу нижних крыльев, своего сельского сарафанчика. Крапивница, из-за своей повседневности, повсеместности распространена по Руси знать из-за того, что не счесть еще благословенных будто забытых людьми и богом пустырей, крапивных склонов, пустырьниковых переулков, огражденных подобием ветхих заборов, за которыми, окучивая картошку, цветет, бывает, в вольной простоте летнего дня радующая, волнующая мужской глаз бюстгальтерно-рейтузная женская плоть. Везде летает эта бабочка-крестьянка. А вот видов, похожих на нее и описанных у Плавильщикова, я никак и нигде не мог обнаружить. Никаких многоцветниц, никаких «Л-альбум», никаких больших крапивниц. И многоцветниц — тоже не было, несмотря на то, что всякую яркую крапивницу, особенно такую, что только что вы-

велась из куколки во второй половине лета (те, которые летают весной и до июня зимовавшие, и почти всегда донельзя обтерханные, линялые бабочки) я внимательно сравнивал с рисунком определителя, сравнивал пятнышки, и получалось досадное — нет, не многоцветница. А раз так — лети себе с богом, я никогда не был слишком жадным собирателем. И все-таки постоянная ловля крапивниц и белянок для тренировки руки и глаза давала свои результаты. В конце первого охотничьего лета, — как его назовешь иначе? — я уже прилично владел сачком, к концу второго лета мог, наверное, соревноваться с теннисистами, к началу третьего чувствовал себя мастером спорта. И вот тут, как-то весной, в пасмурный и даже холодный день, когда бабочки летают плохо, накрыл во время прогулки бабочку, которая оказалась большой крапивницей, настолько редкой по сравнению с обычной, что, как видите, на поимку ушло два года!!

В том же году и той же весной последовала находка крапивницы «Л-альбум». Бабочка также была крупнее, рыжее, мощнее телом, и вообще это красивая бабочка, значительно превосходящая своей прелестью крапивницу обычную. Впрочем, для кого как. Находкой хотелось похвалиться, показать и рассказать кому-то заинтересованному и понимающему. Но, к сожалению, — просится обкатанный оборот, знакомых таких у меня не было. И боюсь, меня бы не поняли все трезвые, погруженные в бытовые заботы люди. «Вы? Ловите бабочек?» И улыбка, ну, та самая, понимаете какая? «Хм. Ловите бабочек.. Интересно.. Забавно..» Интуиция же говорила точнее: вот дядя дурит, «крыша» что ли поехала? — как говорят ныне. Я скрывал свои увлечения. И даже сачок иногда маскировал удочками. На рыбака обращают самое малое внимание. Он-то по-ня-тен. Могла порадоваться моим коллекционным успехам жена. И она даже делала вид, что ей интересны мои находки. Чуть-чуть, наверное, и были интересны в самом деле — ведь я постоянно лез к ней с определителем, к кому еще было? И терпеливая женщина с большой пластичностью находила для меня столь необходимую всякому собирателю разделенности. А вдруг я напрасно обижал ее? Вдруг крапивница «Л-альбум» была и ей интересна?

Недавно, читая так поздно открытого мной Набокова в книге «Другие берега», я нашел вот такие строки:

«Кажется, только родители понимали мою безумную, угрюмую страсть. Бывало, мой столь невозмутимый отец вдруг с искаженным лицом врывался ко мне в комнату с веранды, хватал сачок и кидался обратно в сад, чтобы минут через десять спустя вернуться с продолжительным стоном на «Аааа» — упустил дивного эль-альбума! Потому ли, что «чистая наука» только томит или смешит интеллигентного обывателя, но, исключив родителей, вспоминаю по отношению к моим бабочкам только непонимание, раздражение и глум».

И подумал, радуясь, что этим подтверждалась моя тайная озабоченность. Неужели никто? Никому не радостна и не огорчительна моя находка «Л-альбум»? И еще думал, перечитывая набоковский «Дар», что изображенный там отец писателя (назовем, конечно, сам Набоков) был истинно счастливым на Земле в поимках и в открытии мира бабочек, которого я коснулся так давно и который все еще одаривает меня главной радостью — радостью жизни.

Новой бабочкой, попадавшей в тех же местах (опушки, овраги, обочины полей, где цветет дурманно-пряное племия «сорняков», то бишь красочные малиновые и желтые бодяки, козлотородник, золотая розга, белый полевой купурь и оранжевая поздняя пижма-«крябинка»), была репейница, опять та самая «редкая», которая действительно гораздо реже крапивниц и белянок являлась мне на дворе и пустыре. Я помнил, что тогда она летала куда более шустро и споро, чем крапивницы, ловить ее было труднее, и являлась она всегда неожиданно, словно внезапно возникнув из глубины летнего неба. Помнил, и как мчался я домой за сачком, и как подкрадывался к добыче, что, бывало, и благополучно улетала.

В тот год — имею в виду начальное лето своего взрослого собирательства — репейниц везде появлялось видимо-

невидимо. В полях они облепляли все цветущие сорняки, но уже спустя неделю бабочек совсем не было. Из чего я сделал простой вывод — репейница не то кочующая, не то перелетная нимфалида. Другого объяснения не находилось.

Благодаря первым простеньким бабочкам, я научился различать и знать многие растения, особенно те, что росли близ дома, на пустыре, постоянном месте моей самой близкой охоты. Ехать за город не всегда доставало времени, и я любил побродить час-другой на пустыре, кое-что тут попадалось на крапиве и цветущих высоких лопухах.

Сколько помню себя, я любил эти растения. Появляются они на свет вместе, сообща с молодой и зубастожучей, жизнерадостной словно, крапивой. Крапива всегда кажется мне, особенно ранняя, острой на язык бабенкой-хохотушкой, а в старости совсем злоязыкой старухой-ягой, не попадайся — отбреет! Зато, коль следовать антропоморфным сравнениям, молодой лопушок — деревенский парнишка — «ванятка», маленький, серенький, белесый, очень скоро делается Ванюшкой, а там Иваном — детской в полный рост, станет и свед, и крепок, и бабочек налетит на его хмельной колючий цвет!

Люблю репы, особенно какие растут привольно по задач строениям и околицам, вдоль сохранившихся кой-где еще жердевых прясел, а нет, так редких, но будто не подверженных временному тлению листовых столбах — в старину деревни огораживались, а наезде встречал пугника голубец-столб с ликом святого заступника. У каждой деревни, а наче села, был он свой. Теперь нет заступников, нет и околиц, и ладно, если вековые репы растут вдоль их бывшего следа, ладно, если репы. Незаурядная это трава. И трава ли, коль на хорошей почве обгоняет всех, а цветы свои, сразу когтистые, плотно-малиновые, что пахнут только тихими утрами, пресным медком, полевой глубиной под блаженным благом вечных небес, распускает уже к июлю. В сажень рост, и лист выгоняет в аршин, и сколько существ отдыхает и кормится на нем, приглядитесь, подойдите. Сколько бабочек, мух, шмелей, пчел, полосатых усачей, иной раз вбирает медвяный сок, и не брезгает им и пчела, если сыто жудит, танцевально касаясь колючих соцветий.

Люблю репы, люблю бурьяны, растения, составляющие их, могут ведь и кормить, и лечить. В голодные годы войны сколько было варено лебеды, крапивы и пресных корней репья. И лечат бурьяны — тоже. Испытал сам. И ту же крапиву. А еще есть там и пустырник, и мята, и валерьяна — кошачья трава, и конопля, и пырей. Что знаем мы о них! Да ничего! Ничего не знаем. А посмотрите, какая тайна — их жизнь деревенской ночью! Тогда они спят (а, может, и бодрствуют?) и во сне растут, и жадно кружат над ними, блестя глазами, бабочки-ночники, как духи ночи. Поют кузнечики. Трюкают сверчки, и бессонная птичка — камышевка — обожающая их глухую силу, глашает ночь ей одной понятными колдовскими трелями.

Посидите короткую летнюю ночь от зари до зари. Скоротайте ее где-нибудь на обрыве, у реки, у края ночного поля, у брошенной деревни (деревни брошенной, забытой!), где все заросло травой забвения. Забвения? Нет, более горькой и слезной — плакун-травой. Просидите ночь.

Ручаюсь, она запомнится навсегда. И утро запомнится возле тех репьев, где алмазом в маленький орех блестит роса в радужности лопуховых листьев, а крапива в алмазной, жемчужной ли осыпи, еще спящая своим хмельным сном, и совсем по-женски прильнула к тем репьям. Это видеть надо. Видеть..

Тогда и понимается главное в человеческом: все живое, все живет во всем, великая сила жизни разлита всюду: в тебе, в репье, в крапиве, в красавице, в жуке, и в земле, в солнце, встающем в тумане над полем, над лесом. Во всем и всюду. Во всем и везде... ЖИЗНЬ БЕСКОНЕЧНАЯ, ВЕЧНАЯ. И быть на Земле оттого становится слаще, яснее, и мудрость будто бы просыпается. А мудрость надо искать, копать. Вот такая бабочка-репейница.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ



БХАГА

ГЕОРГИЙ ГУРЕВИЧ

Е. Крутских



ПРОЛОГ

...За дверью скелет.

Он ощерил костлявую морду.

— Виноват, беспокою по службе,
Умирать ваша очередь вышла,
Явился повестку вручить...

Оказалось, что я тоже могу умереть! Кто бы мог подумать?

То есть я знал, конечно, что все люди смертны. Я человек, эрго... Но все-таки не верилось всерьез, неправдоподобным казалось: как это такое, мир существует, солнце всходит и заходит, а меня нет? Однако черед подошел, и не внезапный, обиденный. В результате тяжелой и продолжительной болезни я действительно умер, скончался, превратился в воскресенье под утро, часу в четвертом или пятом, точно не знаю, на часы не посмотрел.

Обыкновенно умер. Но так это было не вовремя, так некстати.

Дело в том, что я давно уже целился на большой фундаментальный труд. Он не сразу у меня сложился, даже не сразу задумался, сначала опыт надо было набрать. И все некогда было оформить мысли, склеить факты и выводы, будни все отвлекали: служба, семья, а в отпуск отдохнуть же надо — палатки, рюкзаки, байки у костра, не до конструирования теорий. Мысли собрал впервые, когда заболел гриппом, в постели валялся две недели. Тут и температура не мешала, даже взбадривала, шарики энергичнее бегали в мозгу. Мысли собрал, и понял, что материала у меня маловато, надо бы годик-другой посидеть как следует в библиотеке. Но где годик-другой у служащего человека? Ежедневно восемь часов в лаборатории, два часа в троллейбусе, магазины, очереди, жене помочь, то-сё. Еще дети. Сына надо вырастить, дать образование, в институт определить. Дочку надо вырастить, дать образование, в институт определить, еще замуж выдать, кооперативную квартиру ей купить. Квартиру купил, залез в долги, пришлось сверхурочную брать, лишние полставки, чтобы расплачиваться. Урывками что-то записывал, не получалось. Решил: главный труд отложу до пенсии. Дотянул. Но тут мне предложили еще три года поработать. Подумал, согласился. Имело же смысл подкопить запасец, чтобы сидеть в библиотеке прочно, сосредоточенно, не отвлекаться за каждой десяткой. Итак, отложил на три года, потом еще на годик. И после годика уговаривали меня не уходить, но я твердо сказал: «Баста!» И выдержал характер, ушел по собственному желанию с намерением приступить к самому важному, самому значительному, к делу жизни. Только малюсенькую уступочку сделал себе: позволил отложить библиотеку на месяц. Решил: съезжу на юг, поваляюсь в горячем песочке, смою усталость чистой соленой водой, загорю, здоровья наберусь и тогда уже с полной силой возьмусь, наконец...

Путевку достал, пошел, как полагается, за справкой о том, что гр. Немчинову К. К., 19.. года рождения (т. е. мне), не противопоказано пребывание... Посидел в очереди у одного врача, другого, третьего... А четвертый, поджав губы с видом укоризненно осуждающим, покачивая головой, произнес:

— Вам надо ложиться на операцию и немедленно.

(228)

Я бурно протестовал. Я требовал отсрочки, я настаивал на отсрочке. Я уверял, что после горячего песочка и соленой волны я запросто выдержу пять операций. Более того, все у меня пройдет само собой от песочка, все смое морская волна. Врач качал головой, ни тени улыбки я не мог отыскать в его сжатых губах.

— Немедленно! — твердил он.

Так я оказался в совершенно другом мире, неприличном для меня, непонятном и неприятном.

До того почти сорок лет я был уважаемым человеком, научным работником, младшим, старшим, потом начальником лаборатории. Меня называли только по имени-отчеству, студенты-практиканты искаательно заглядывали мне в глаза, выпрашивая зачет. Со мной считались, мое мнение спрашивали на совещаниях, на мои статьи ссылались, цитировали их, с указанием страницы. Здесь же, в этом новом мире, я стал рядовым со званием «больной», без имени и без отчества. У меня оказалось выговорное, строгое, чаще недовольное, склонное выговор делать за каждую мелкую провинность, ворчливое начальство по имени «сёстры». Ворчал оно потому, вероятно, что работа была грязная, а зарплата мизерная, единственное достоинство было в возможности помыкать нами — «большими», то есть. Мы льстили сестрам, мы подлаживались к ним, мы вынуждены были изучать их достоинства и недостатки. Мы знали, которая заставит ждать полчаса, а какая удовлетворится десятью минутами, какая колет легко, а после которой полчаса будешь охать, какая гордо промолчит на твою просьбу, а какая еще и обругает унизительно. Ничего не поделаешь, в такую категорию я записался: больной — личность зависимая, беспомощная, вроде ребенка-несмышлениша. При взрослых чужих, не при родителях. Над сестрами же, где-то очень высоко, витали еще врачи, существа изрекающие и непререкаемые. Они определяли судьбу и режим. Спорить с ними разрешалось, но не имело смысла, потому что они знали обо мне нечто таинственное, записанное латинской абракадаброй в совершенно секретной папке по имени «история болезни».

Хотя предполагалось, что я ничего не делаю, полеживаю себе, но у меня накапливались обязанности, довольно многочисленные, назывались они «анализы» и «процедуры». Я должен был сдавать кровь и всякое такое прочее через день, кроме того ходить на рентген, просвечивание, ультразвук, томографию, осмотры, консультации, естественно всякий раз посидеть в очереди часок, должен был еще обогреться, облучаться, класть компрессы, менять повязки... мало ли что еще. Так что в общем я был занят делом с раннего утра и до вечера, и наивные мои планы, начать «труд» лежа на больничной койке, рассыпались прахом.

Кроме того, я же не один был в палате. У меня были соседи — четверо, и не могу пожаловаться, не склочники, люди как люди, такие же больные. Один из них, шофер в прежней здоровой жизни, очень любил поговорить, а рассказывал он в основном, как он добыл, увел, унес, реже вырастил или выловил и так превкусно приготовил карасей, или поросеночка, или горячие блины с ледяной сметаной из погреба, или соленьки огурчики с травами. На фоне жидкой овсяной каши, которую нам давали в обед, это звучало увлекательно. «Поллитровочку бы к такой закуси», — вторил его сосед, вспоминая, где, как и когда он прихватил заманчивую дозу. Третий не был ни обжорой, ни пьяницей, зато он принадлежал к категории истовых пациентов: не скупясь на подробности, он всем многословно докладывал обо всех своих физиологических отправлениях и постоянно жаловался, что его плохо лечат: мало дают лекарств, инъекций и процедур; у сестер выпрашивал лишнюю таблетку и к другим врачам ходил сове-

«Аэлита-90»

товаться, надеясь уличить в противоречии. Уличал, конечно. Четвертый же был и молчаливым, и самым культурным, и он (горе мое!) не выключал радио ни на минуту с семи утра и до отбоя.

Какая там научная работа!

Потом, как и обещали, мне сделали операцию, легкую с точки зрения медицины, под местным наркозом. Так что острый боли я не чувствовал, только ощущал, как скрежут что-то, тянут, тычут, да слышал реплики хирурга: «Ассистента мне, не управляюсь же. Да где же ассистент? Глубже возьму на всякий случай. Да держите же ему руки и ноги...»

И прочее в таком духе.

И снова были анализы-анализы-анализы и процедуры-процедуры. Но в общем мне становилось все хуже и хуже. Пришел я в больницу на своих ногах, а теперь с койки сползал еле-еле. Какие там научные теории? Ни о чем я не думал. Дремать хотелось только... и теперь даже не очень мешали разговоры о поросеночке с хреном и злодеях-медиках, которые экономят рецепты с печатью для «своих» больных. Даже и визиты родных раздражали. У жены такой растерянный вид, а у детей — нетерпеливый. Ну и пусть уходят в свою живую жизнь!

Ничего не помогало мне. Казалось, сидит в теле кто-то упрямый и злонамеренный, выколачивает лекарства, пакостит наперекор врачам.

Снова назначили меня на операцию, на каталке перевезли в другую комнату с грозным названием «реанимация», что означает «оживление». На самом деле там не оживляют, просто держат серьезных больных перед операцией и после для лучшего наблюдения. Там уж дежурство врачей круглосуточно и сестру не надо разыскивать по всему этажу.

В палату меня туда перекатали, операцию назначили на понедельник, а вот в ночь под воскресенье стало мне худо, совсем худо.

Очень тошно было. Тошнило, как с перепоя, и желудок все давил вверх, будто выбросить что-то хотел, но не выбрасывал, только дышать мешал. Единственное занятие осталось мне на этом свете — дышать: воздух всасывать и выталкивать. Но это была тяжелая работа, она требовала напряжения и то не получалась как следует: собравшись с силами, надыхну-надыхну поспешно, потом отдыхаю, дух перевожу, снова сил набираюсь.

— Чейн-Стоковское, — услышал я голос врача.

— Агония? — переспросила сестра. И добавила: — Пульс как ниточка.

— Камфору! И скорее! — распорядился врач.

Я эти слова слышал, но не очень понимал, я был сосредоточенно погружен в процесс дыхания. И не видел ничего. Мутное стекло стояло перед глазами, серовато-зеленое, цвета вылинявшей гимнастерки. Противно было смотреть в эту зеленую муть, я закрыл глаза.

И увидел:

Девушку, очень юную, ясноглазую, с румяными от мороза, по-детски налитыми щеками. Чей-то палец указывает ей графу: «Ёт здесь распишитесь, невеста».

Девушка смущенно хихикает. Так удивительно, непривычно и лестно называться невестой.

Другая рука, короткопалая, с простеньким обручальным кольцом, подсовывает четвертушку бумаги. Слева: «Слушали»; справа: «Постановили». Постановили: «Исправительно-трудовые работы сроком на...»

Но я ни в чем не виноват.

Распишитесь, что читали.

Уткнулся в бороду, мокрую от слез.

— Отец, не выпендривайся!

У ручья лежал мертвый немец в белом шерстяном белье. Ветер пошевеливал красивые белокурые волосы. А лица не было, лицо сгнило все. Ссколком снесло, что ли?

Чернота и стоны. Это наша полуторка перевернулась на прифронтовой дороге. Я под кузовом. Первое инстинктивное движение: ощупал бока и ноги. Целы. На четвереньках лезу на свет, там, где щель над кюветом. И почему-то:

— Едем назад, ребята!

Зачем назад? От испуга. Испуганного тянет домой.

Обед — главное событие дня, блаженный час наполнения желудка. Занимаем место у длинного стола. Дежурный, заложив пайку за спину, вопрошает: «Кому?» Хорошо бы досталась горбушка. А доходяга из предыдущей смены торопливо сгребает в рот крошки с грязного, залитого гороховой слизью, стола.

— Как не стыдно? Что ты делаешь, кусочник?

— Это наши крошки! — возражает он с полным сознанием своего права.

Маленький, шупленький, вертлявый прыгает передо мной. Он смешон, он дергается, как марионетка, но у него в руках пистолет. Я прячусь за фонарный столб. Ругаюсь бессмысленно: «Иди на...» Фонарный столб не защита. Дружок вертлявого спасает меня. Обхватывает сзади.

— Подходите прощаться, — говорит деловито слушающая. — Мужчины, снимите венки. — И створки раскрываются, деревянный ящик, обитый красным, плавно тонет под тихую музыку.

Черный жирный дым низко стелется над бетонными квартирками умолкших.

На мокрой, черной от осеннего дождя брусчатке куча грязья. На рельсах — лента грязного мяса — бывшая нога мальчика. Мальчик не кричит, он хнычет, уткнувшись лицом в мостовую. Отчаяние раздавленной жизни. Неужели это с ним случилось?

Вот так виногретом мое, чужое, давнишнее, недавнее — вся жизнь в одно мгновение, гораздо быстрее, чем читается. Последние усилия мозга: память лихорадочно мечется в поисках спасения. Что может выручить?

Не нашла ничего. Сдалась. Оседаю. Кончаю сопротивляться. Больше не тужусь с дыханием. Слышу хрип выходящего воздуха.

И сразу становится легче. Зеленое стекло исчезает. Я вижу себя и почему-то сверху. Вижу осунувшееся лицо, противно-тощие руки на сером больничном одеяле. Это я. Неприятно видеть себя таким. Доктор наклонился над кроватью, веко приподнял, проверяет реакцию зрачка. Сестра держит шприц на весу и смотрит на доктора вопросительно: стоит ли вкалывать? Лица у обоих обеспокоенные и беспомощные. Мне их жалко. Зачем копошатся? Мне же не больно, мне совсем хорошо. Не дышится, ну и не надо дышать, напрягаться, трудиться еще. Снисходительнозираю сверху вниз с потолка на всю эту светливую медицину. Хочу крикнуть: «Кончайте эту ерунду, товарищи! Мне легче, мне совсем хорошо». Не слышат, не обращают внимания, не догадываются головы поднять. Ну и ладно, не до них. Лично я не намерен задерживаться в этой осточертевшей реани-

мации. Где тут выход? Ага, вон он, под самым карнизом. Живые его не видят, конечно.

Коридор, точнее, колодец, бревенчатый сруб с оклизылыми, обросшими плесенью бревнами. Великолепный букет опенок у самого входа. Колодец все-таки, а не тоннель. Про тоннель я читал в книге этого американского доктора, фамилия которого пишется Моудей, а по-русски произносится неприлично. Помню, что в минуты клинической смерти мне полагается плыть или лететь по этому коридору-колодцу на тот свет. О коридоре читал, от наших сектантов слышал, что при радении они несутся по колодцу. Видимо, деревянное зодчество ближе моей душе, я вижу бревна, а не бетонные плиты. Но эти мысли задним числом. В тот момент я лечу, вверх или вниз, не очень понятно куда, лечу с чувством облегчения, избавился от тошноты, желудок не давит на горло, дышать не обязательно. Лечу и лечу к чему-то новому, любопытному, привлекательному, увлекательному. Помню, по записям этого самого Моудея, что в конце коридора умершего ждут покойные друзья, родные, любимые или что-то солнечное, светлое, согревающее, радующее. Что именно, пережившие клиническую смерть не могли объяснить толком. Кого же я там встречу? Не отца ли с матерью?

И вот он — выход из длинного колодца. Свет. Просторная палата, огромная, пустая, а в самом центре ее на деревянном, резном, но не слишком удобном троне кудлатый старик лет шестидесяти, крепкий, широкогрудый, с проседью в рыжеватой бороде, лохматыми бровями и желтым латунным кругом над головой.

Боже мой! Так ты существуешь, Боже?

— Как видишь, — сказал он хриловатым голосом. Он восседал основательно, положив на подлокотники крепкие загорелые кулаки. Я заметил еще, что трон не слишком роскошный, простоватый, прямоугольный, примерно такой, как у Ивана Грозного на скульптуре Антокольского. На сиденье не было мягкой подушки, только коврик («Геморроя опасается», — мелькнуло невольно). А за высокой спинкой справа и слева стояли могучие длинноволосые воины с блестящими медными шлемами, украшенными перьями страуса, и с перламутрово-радужными, очень красивыми, но явно непригодными для полета крыльями. И все это выглядело торжественно и театрально-бутафорски. Но это я потом все оценивал, а в первый момент был только потрясен:

— И ты на самом деле существуешь, Боже?

— Если глазам не веришь, пощупай. Вложи персты, Фома неверующий. Ведь ты же неверующий, конечно, только одну материю признаешь.

— Если на самом деле существуешь, значит, материален, — возразил я, подумав. — Материален по определению. Материя — это все, что существует вне моего сознания.

— Я тебя призвал не для философских споров, — проворчал он недобольно. — Существую или не существую, тебя не касается. Но я ведаю этой планетой и творю на ней суд. Ты на суде раб божий, Кирилл. Кайся!

— Но ты же всезнающий, — сказал я, — так что следствию все известно.

По реплике моей видно, что я чувствовал себя совершенно здоровым, даже и забыл, что умирал только что.

Старик на деревянном троне нахмурился, молнии метнул из-под бровей. Я вздрогнул, как от слабого тока. Понял, что шутить неуместно.

— Кайся! — повторил он. — Или воображаешь, что ты безгрешен?

— Человек как человек, — признался я. — С большими недостатками.

— Назови самый большой.

Тут мне не потребовалось долго думать. Все месяцы в больнице вздыхал о главном своем упущении.

— Откладывал, — признался я. — Откладывал важное, занимался второстепенным. Восемь часов отсиживал в лаборатории, еще по горам с рюкзаком лазил, свадьбу дочке устраивал, квартиру ей покупал, долги отдавал, копил на спокойную жизнь. Все условия создавал для главного труда... и так и не взялся. Проворонил.

— Нет, я спрашиваю не про упущения, — возразил старик на троне. — Заповеди мои нарушал?

Я честно признался, что не помню все десять наизусть.

— Первая: пусть не будет у тебя другого бога, — напомнил он.

— Эту не нарушал, — сказал я быстро. — Я же не верил в богов. Даже и сейчас не очень верю в тебя. Ты на самом деле существуешь?

— Вторая: не сотвори себе кумира, — продолжал он.

— И эту не нарушал. Терпеть не мог кумиров. Великих людей уважал: Ньютона, Эйнштейна, Пушкина, Толстого, Менделеева, Сеченова, Павлова, Фрейда. Уважал, но не поклонялся, считал возможным критиковать, не соглашаться. Сам знаешь, если ты всезнающий, что я хотел написать теорию психологии человека. Теория — это не повторение и не изложение, это синтез, осмысливание.

— Третья заповедь, — продолжал он. — Не упоминай имя господя своего всуе.

— Кажется, это означает «не божись!» Нет, Боже, не божился. Чертыхался нередко. Матерился, не без этого. Но ведь я, Боже, в призывном возрасте в кавалерии служил, а лошадь без мата не воспринимает как следует. Грешен.

— Четвертая. Соблюдай день субботный...

— Опять грешен, не соблюдал, Господи, ни суббота, ни воскресный. Такая хлопотливая жизнь! Все семейные дела на выходной. А иной раз срочная работа или сверхсрочная, халтурка выгодная. Нет, не соблюдал. И отдых на пенсию откладывал. Думал: сам себе хозяин буду, установлю режим, буду придерживаться...

— Пятая заповедь. Чти отца своего и мать свою...

— В общем, чтил, Господи. Я очень обязан своим родителям. Они и направили меня, и помогли долго, непомерно долго. Ну и жили мы вместе. Умерли на моем иждивении. Не обижал. Уважал... Боюсь, вежлив бывал не всегда. Срывался. И эксплуатировал нещадно. Привык, что родителям ничего для меня не жалко. Не идеальным сыном был, но и не преискусным. Каюсь, на кладбище ходил редко. Но не забывал. Считал, что в памяти моей они живут.

— Шестая. Не убий!

— Не убивал, не было. Но мог бы, признаю. В армии же служил, винтовка в руках. Был бы враг на мушке, стрелял бы не задумываясь. В меня стреляли же.

— Не кради!

— Этого не было. Не тянуло.

— Восьмая заповедь. Не прелюбодействуй!

— Господи, да что же я, импотент, что ли? Что значит твое «не прелюбодействуй»? Целоваться можно? Обнимать можно? Ах да, кажется, нельзя обнажать. Обнажал! И так далее.

— Девятая. Не лжесвидетельствуй!

— И этого не было. А насчет лжи, лгал, конечно. Кто же не лжет? Иной раз неприлично говорить правду. Зачем же дураку говорить в глаза, что он дурак? И не поймет, и обидится.

— И десятая. Не пожелай жены ближнего своего, ни раба его, ни вола, ни осла.

— Ох, Господи, кажется, тут я безгрешен. Раба



не желал, вола не желал, осла — никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах. Жену ближнего? Бывало, бывало в молодости... но ведь я своей не изменял, ты сам знаешь, Боже, если твое всезнание на эти грешки направлено.

— Ну что ж, — сказал бородатый задумчиво. — Нового ты ничего не сказал мне, рядовой грешник, но в общем человек ты искренний, даже добросовестно искренний. Это подходит.

И замолчал задумчиво. Очевидно, и он думал не мгновенно. А я ждал. Ждал, какое выпадет решение. Для рая вроде бы не гожусь, в ад не хочется. Лучше бы отправил он меня назад на Землю. Уж тогда, сам себе клянусь, откладывать не буду ни на час, как вырвусь из больницы, бегом в библиотеку.

А он все молчал. И тогда в голову ко мне закралось сомнение. Болен же я. Может, чудится мне все в бреду. То зеленое стекло было, то воспоминаний калейдоскоп, а теперь сказка о том свете. И потихонечку потянулся я, чтобы пощупать край его плаща, надежным осязанием проверить легковверные глаза.

Он сразу заметил мои поползновения. Рывнул:

— Персты убер!

Я отдернул руку. Струхнул, сказать откровенно. Всемогущий, да еще обидчивый. Не ужогу, гадость учинит какую-нибудь.

— Ладно, вопрошай, — махнул он рукой. — Глаголом вопрошай лучше, чем перстами тыкать впустую. Три вопроса твои. Потом я буду спрашивать.

— Почему ты такой... человекообразный? — полюбопытствовал я. — Зачем тебе ноги, вездесущему? И борода? И проседе в бороде? Ты что, стареешь?

— Я такой, как вы меня рисуете на иконах, — ответил Бог. — Как представляете, таким и являюсь вам. Вездесущего ты и увидеть не смог бы. Если же такой тебя не устраивает...

Не просто отшатнулся я, отскочил на три шага; такое страшлище явилось передо мной. Голый гигант, загорелый дочерна, шестирукий, четырехногий с коровьими рогами на лбу и кабаньими бивнями, торчащими из пасти.

— Я Бхага, — проревел он. — Бог даров у ариев. Таким меня видели три тысячи лет назад. Не подходит? Страшно и старомодно, да? Тогда вот тебе другой образ, посовременнее.

На коврике, поджав коротенькие ножки, сидел противный уродец, со скользкой лягушечьей кожей, головастый, словно больной водянкой мозга, с огромными фасеточными глазами и длиннющими не то пальцами, не то щупальцами. Они все шевелились, сплетаясь в узлы и петли. И петельки образовывали буквы, наши, письменные, так что я мог прочесть: «Я пришелец. Я посланник сверхцивилизации. Мы опередили вас на миллионы годичных оборотов вашей планеты. Мы можем...»

— Ах, ты опять морщишься? Пожалуйста, вот тебе другой символ.

На зеленой лужайке, поросшей зонтичными, сидела, болтая босыми ногами в звонком ручейке, милая женщина в венке из роз, круглолицая, большеглазая и улыбчивая. Мне она показалась похожей на Рембрандтову Саскию.

— Я Природа, — сказала она, кокетливо улыбаясь. — Я не богиня, я образ всего естественного, природу ты же не отрицаешь, материалист. С природой сможешь говорить накоротке.

Очень миленькая была эта Природа, я тут же рассыпался в комплиментах. И немедленно она возразила хриплым мужским голосом.

— Да, не получится у тебя серьезный разговор, ты грешник седьмой заповеди. Я же читаю все твои мысли. Ты уже отметил, что эта Природа в твоём вкусе, только в талии полновата, но в положении ли? Успел спросить себя: «А что эта природа собирается родить? И если любезничать с ней, не будет ли

(232) снисходительнее?» Уже взыграл, грудь выпятил, картинную позу принял. Распетушился. А перед тобой видимость, маска, я таких масок понаделаю тебе больше, чем в кино.

— Какой же ты настоящий? — воскликнул я в отчаянии.

— А настоящий я невидим, — возгласил знакомый уже хриплым голосом.

И сцена исчезла. Все исчезло: и трон, и полянка, и ручей. Густая темнота, хоть руками ее разгребай, ночное купанье она мне напомнила. И за спиной возник свистящий шепот: «Я здесь». Обернулся. Ничего. «Я здесь» — свистящий шепот у самых ног. Здесь, здесь, здесь! — эхом со всех сторон сразу. И во мне самом, не в голове, а где-то над желудком: «Как разговаривать будем? Не лучше ли образ и подобие человека?»

Я кивнул головой, ошарашенный. Крепкий старик-патриарх воплотился на своем деревянном кресле.

— Вопрошай, — напомнил он.

Я перевел дух. Подумал, что зря израсходовал один из трех разрешенных мне вопросов. О внешности мог бы и сам догадаться. Теперь надо существенное выяснить, имеющее отношение к моей судьбе.

— А у тебя тот свет есть тут, Господи? Загробная жизнь, как обещано. Рай и Ад?

— Но, кажется, ты материалист, — усмехнулся он. — Что бывает с материалистами после смерти?

— Ничего, — сказал я со вздохом. — Совсем ничего.

— Вот так и будет — ничего.

— А с верующими? — не удержался я.

— Ты же материалист, — повторил он.

Итак, ничего не будет. Я содрогнулся, представив себе смоляной погреб, ватную тишину в ушах, плотную тишину, оглушительную тишину, ни дыхания, ни сердцебиения, ни тепла, ни холода, совсем ничего. А впрочем, у меня бывали же в жизни обмороки. Тоже зеленая муть, тошнота, тошнота, безглазие... потом просыпаюсь на полу. Что было со мной? Не помню. Ничего не было. Вот и тут будет так же... но не проснусь на полу.

— Слушай, отпусти ты меня на Землю, — взмолился я. — Очень хочется пожить еще немножечко. Недоделанное сделать, наверстать упущенное. Честное слово, грешить не собираюсь, каждую минуту буду ценить, ничего откладывать не стану. Отпусти, что тебе стоит, ты же всемогущий вроде бы.

— Умолять будешь? — усмехнулся он. — На колени станешь, ладони сложишь, припомнишь слышанное, вычитанное: «Иже еси на небеси». Ну давай, давай, кланяйся, целуй прах у моих ног!

«Экий фанфарон! — подумал я. — Такое мелкое тщеславие при всемогуществе. И что ему в моем унижении? Цапнул кот мышонка, еще и издевается». Но все-таки, признаюсь, заколебался я. Даже и оправдание себе нашел: уж если здесь этикет такой, что мне стоит встать разок на колени?

— Значит, признаешь этикет такой? — усмехнулся бородатый садист. — А как насчет того, что «лучше умереть стоя, чем жить на коленях»? Впрочем, я и не предлагал «жить на коленях», только постоять полчасика.

Я молчал, пристыженный. Не сразу собрался с духом:

— Слушай, кончай измываться! Что ты хочешь от меня?

Он почесал бровь. Типичный человеческий жест. Но неужели у богов чешутся брови? Смакует артистизм.

— Я отпущу тебя, если ты сумеешь ответить на три вопроса.

— Три загадки? — переспросил я. — Как в сказках? Попробую, хотя я не слишком сообразителен. После смерти в особенности.

— Не сообразительность важна, а честность. И вдумчивость, и откровенность. Не торопись, взвесь, изложи четко, немногословно и честно.

— Господи,— вздохнул я.— Да что тебе мои слова? Ты же мысли читаешь, я уже заметил.

— У вас, людей, сумбур в мыслях. Мысли — это краски на палитре. Их сначала надо положить на холст, нужную краску на нужное место, да еще оценить, как смотрится, уточнить, подправить. Зачем я буду следить за процессом твоего рассуждения? Мне нужен готовый, отшлифованный ответ. Итак, я спрашиваю. Вопрос первый и серьезный. Почему люди перестали верить в меня?

Я задумался. Думал долго... и честно. Дипломатические смягчения отринул. Помнил, что он читает мои мысли, ложь заметит. Но с другой стороны, всякому, богу тоже, наверное, приятна лесть. Что же нужно ему — лесть или обличение? Едва ли для лести призвал меня. Для лести выбрал бы какого-нибудь священнослужителя.

— Уважаемый боже,— решил я наконец.— В тебя не верят потому, что разуверились в твоей справедливости. Нам говорят, что ты всемиловитив, зачем же столько страдания на Земле: мучительные болезни, тоскливая старость, голод, ураганы и землетрясения? Говорят, что это наказание за грехи. За чьи грехи? Еще Вольтер писал: за что Лиссабону поголовное наказание, разве он был грешнее Лондона или Парижа? И почему детям наказание за грехи родителей? Грудным младенцам болезни, несмышляшкам? В нашей стране ежегодно пять тысяч детей гибнет под колесами. За что?

В памяти всплыл тот мальчонка, хныкающий, уткнувшись лицом в мостовую. И воспоминание мое отразилось тут же на сцене, за троном, все как было — мокрая от дождя черная брусчатка и грязная лента мяса на рельсах.

— Видишь, что ты наделал, всемиловитивейший? — воскликнул я.— Хорошо получилось?

— Отрока того исцелить невозможно, конечно,— сказал старик не без смущения.— Непростое дело. Ты же даже имени его не ведаешь. К тому же давно было. Если жив остался, взрослую жизнь прошел, семью приобрел, захочет ли в детство вернуться?

— Пять тысяч ежегодно,— напомнил я безжалостно.

— Но не могу же я каждого неслуха за руку переводить через улицу,— проворчал старик недоброливо.

— А в церкви уверяют, что ни один волос не упадет без воли божьей,— я уже увлекся полемикой.

— Да, без моей воли не упадет, если я волю направлю на тот волос. Но не буду же я заниматься всеми волосами всех людей. У меня хватает дел поважнее, кроме этих парикмахерских. Хорошо, допустим на первый вопрос ты ответил. А почему же,— вопрос второй,— несмотря на разочарование, несмотря на все ученые труды вашей братии — материалистов, люди все-таки верят в меня?

Тут я ответил быстро. Думал об этом не раз.

— От бессилия верят,— сказал я.— От несостоятельности, от неразрешимости важных жизненных проблем. Ты посмотри, кто больше верит. Женщины. Потому что пассивны они биологически, потому что их счастье в семье, но не от женщины одной зависит удачное замужество и удачные дети. Верят надеющиеся, и потерявшие надежду верят: старые девы, вдовы, одинокие старухи, которым на Земле ждать больше нечего. У земледельцев вера крепче, ибо урожай зависит от дождичка, а дождь не в их власти, дождь в распоряжении неба. А вот ремесленные народы, с древних греков начиная, знали, что успех зависит от их собственных рук: нужную глину возьми, да замеси как следует, да как следует слепи на гончарном круге, да огонь разведи и обожги, как

1231

полагается. Недаром пословица сложена: «Не боги горшки обжигают». Не боги! Люди! Собственными руками. Но дождь посылают не люди. Кто же? Не бог ли? И наконец, проблема старости и смерти. Смертны люди. Кончается жизнь, а умирать неохота. На что тут надеяться? Только на себя, Господи, на твой загробный мир. Отними надежду на воскресение, число верующих сразу уменьшится вдесятеро, в десять раз. Но ведь это иллюзия, того света нет на свете. На обмане держится твоя религия.

Признаю, последние слова я произнес с вопросительной интонацией. Мне очень хотелось жить. И я согласен был, чтобы опроверг меня этот мнимо-бородатый, вытасил бы из рукава хоть какое-то продолжение.

Но он не отозвался, хотя, конечно, услышал мои мысли.

— Хорошо, допустим, и на второй вопрос ты ответил. Не верят от разочарования, верят от бессилия. Ну и что же вы хотите от меня, бессильные, какой помощи?

Мальчик на рельсах, перевернутая машина, кривляка с пистолетом, процедуры и уколы, разлуки и одиночество, крыши обрушенные, снега-снега до горизонта, гроб, опускающийся в подземелье, черный дым из трубы крематория...

— Горя на земле много,— сказал я.

— А горе-то у каждого свое,— заметил патриарх в кресле.

И как это он извлек из моей памяти две спины в одинаковых плащах. Извлек и показал на экране. Так давно это было, так давно, а на сердце ссадина. «Нет, я не пойду с вами в кафе»,— сказал я тогда. Не пошел потому, что был третьим лишним. Не пошел, чтобы не унижаться. Ведь в кафе он платил бы — мастер спорта, а у меня, студента, осталось полтора рубля до стипендии. И они оба были в модных плащах, а я в старом свитере и с какой-то дурацкой фанеркой под мышкой с прижопленными эскизами. В кафе с фанеркой! Не пошел, проводил глазами спины. Стихи написал:

«И иной раз вижу в майский вечер пряный,
Как другой уходит под руку с желанной».

— А с тобой пошла, у него бы горе,— заметил он с усмешкой.

— Надо, чтобы ни у кого не было горя,— упрямо твердил я.

— Не могу же я каждому устраивать свидание,— возмутился он.— Кто я, по-твоему, бог или сводник?

И тогда я сказал, подумав:

— Боже, Господи, или кто ты есть на самом деле, вот уже в третий раз ты произнес «не могу же я...» Значит, ты не всемогущий. Могучий, но не всемогущий. Так может быть, я толковее отвечал бы на твои вопросы, если бы ясно понимал, что ты можешь и чего не можешь, что можно у тебя просить и что нельзя.

Старик призадумался, положил бороду на кулак.

— Пожалуй, ты прав,— сказал он после долгой паузы.— Уж если я призвал тебя для беседы, следует ввести тебя в курс дела полностью. Ну что ж, смотри и слушай внимательно. Разговор будет долгий.

Глава I. ВЫПУСКНОЙ КЛАСС

Моих ушей коснулся он,—
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет...
А. Пушкин. Пророк

— Видь и внемли, человеце, внемли со всем вниманием, тебе откроются сокровенные тайны непостижимого, деяния и помыслы светозарных,— такими напыщенными словами начал рассказ Бог-Бхага-При-

«Аэлита-98»

шелец-Природа-Невидимка. Но я не буду стараться дословно передавать его торжественную речь, переполненную архаическими славянизмами. Такая задача! Конечно, интервью с Богом записывать надо было бы текстуально, но никак не догадался я взять магнитофон в реанимацию. По памяти приходится восстанавливать. Да к тому же церковнославянский вовсе не был органичен для Бхаги. С верующими он так привык разговаривать, а беседа со мной, очень быстро перенял современный разговорный.

— Внемли и виждь,—повторил он. И сразу же тронный зал исчез. Невидимые силы свернули в рулон, как декорацию, деревянный трон, закатали туда же и ангелов со всеми их медными касками, рубахами до пят и радужно-перламутровыми крыльшками, заодно и чертей с крыльями кожистыми, как у летучей мыши. И передо мной открылся совсем другой зал, дворцовый, выложенный паркетом, парадный или танцевальный, с корпулентными тосканскими колоннами и высокими окнами в духе XVIII века. А на паркете повзводно стройными рядами стояли молодые люди в белых вытуженных брюках и белых же куцых мундирах с цветными воротниками. Груды у всех были выпучены, румяные лица выражали торжественность и усердие.

— Наш выпуск,—пояснил старик, отъехавший в сторонку.—Первый выпуск школы богов.

— У богов школа?—переспросил я с недоумением.

— А там наши девушки,—продолжал он, указывая на дальний взвод.—Богини любви, материнства, плодородия, цветов, искусства, музыки, танца... Танца,—повторил он, и на губах его мелькнула умиленная улыбка. Видимо, и его божественное сердце тронула в те времена какая-то богинечка.

— А это я, вон там, второй в первом ряду.

Нипочем не узнал бы я сегодняшнего патриарха в этом старательно вытяннувшимся юнце с наивным круглым лицом, щекастом и с вытаращенными от усердия глазами.

— Значит, все-таки мы созданы по вашему образу и подобию?—назойливо спросил я.—Ведь вы же все до единого похожи на людей.

— Очень уж ты непонятлив, человек,—проворчал старик.—Ты бы еще сделал вывод, что боги все разговаривают по-русски. На русский я перевожу для тебя свои мысли. И перевожу наш облик на понятные тебе формы. Сообрази сам: могу ли я, вездесущий, выглядеть как человек? И что понял бы ты, если бы я показал тебе парад вездесущих. Не задавайся, не создан ты по образу и подобию бога, это я изображаю человекоподобие для твоего понимания. Выглядеть-то это все совсем иначе, но суть была аналогичная: шел торжественный выпуск школы богов. И я там среди них был—второй справа в первом ряду. А рядом со мной тоже знакомая тебе фигура. Наш отличник, светлый ум, надежда школы.

Высокий бледный лоб, тонкие черты лица, длинный горбатый нос, острая борода, выражение уверенного превосходства. Разительная разница с наивным старанием юного Бхаги.

— На Мефистофеля похож, пожалуй. Но ему черным быть полагается.

— Да, это он. Мефистофель, Дьявол, Дьява в индийском пантеоне. А светлый он и с голубыми петлицами потому, что был богом неба в древности, богом дневного света, даже главным богом, светозарным Люцифером. Это даже в этимологии слышится: «Дьё»—по-французски «бог». Деос, Теос, Зевс—того же корня, как и литовское—Диева. Отсюда же английское слово «дэй» и ваше русское «день». А иудейский Ягве от меня—от Бхаги, Бхагвы. И ваше славянское «бог» тоже.

— И ты действительно сбросил Люцифера с неба?

— О нет, не такие отношения между богами. Это

[234] все вы, люди, придумали. Олицетворили природу, как обычно. День сменяется ночью, свет сползает под землю, сброшен—кем? Очевидно, более сильным богом. Но ты слушай, не перебивай меня, этак мы не доберемся до сути. Ты смотри на сцену. Я же не зря тебе показываю.

Я умолк, пристыженный.

— Смирнаааа!

Ряды подтянулись, подбородки задрались, груды выпятились еще сильнее. Заслоняя строй, выдвинулся некто коренастый, с генеральскими эполетами. К сожалению, лицо главного бога мне не показали, я видел только плотную спину, обтянутую гладким, белым с золотом мундиром.

— Товарищи курсанты,—раздался начальственный голос,—поздравляю вас с окончанием первого образовательного училища богов.

Тройное: «Ура! Ура! Ура!»

— Перед вами, товарищи курсанты, поставлена важнейшая вселенская задача. Вы знаете, что на долю нашей цивилизации выпала особая роль. Мы первый и единственный разум в пределах ближайших галактик. Не буду перечислять наши успехи и достижения, вы знакомы с ними по курсу истории. Но наука утверждает, что успехи эти были бы больше, разнообразнее, богаче, стремительнее, если бы мы имели возможность вступить в общение с другими разумами, сравнивать наши пути с другими путями. И вот вам, вашему выпуску, и предстоит начать величественный труд по созданию иного разума, наших разумных братьев, разумных учеников, разумных соратников, не последователей, а соратников. Но мы много раз говорили вам об этом на лекциях, нет смысла повторять. Желаю вам успеха!

Ура! Ура! Ура!

Вероятно, церемония длилась достаточно долго, но старик не стал мне показывать все подряд. В следующей сцене я увидел только, как в строй возвращался Дьява. Пристукнул левой, пристукнул правой, четкий поворот на каблуках, замер.

— Второе место—Бхага!

Румяный и краснощекий с выпученными глазами чеканит свои три шага. Вытянулся. Ест глазами начальство.

Кто-то невидимый, вероятно, командир взвода, докладывает:

— Курсант Бхага, отличник боговой подготовки. Всемогущество—пять, всезнание—пять с минусом, всесозидание—пять с минусом, вездесущность—пять, творчество—пять с минусом, гуманность всемиловейшая—пять. Курсант Бхага, готовы ли вы посвятить себя торжеству разума во вселенной?

Чеканит наизусть:

— Принимая с глубокой благодарностью даруемое мне звание бога-координатора, я даю торжественное обещание не помрачить честь сословия, в которое вступаю. Клянусь во всякое время способствовать по лучшему моему разумению зарождению, росту и развитию разума во вселенной и никогда ни в каких обстоятельствах не применять данное мне доверие разуму во вред.

Снова генерал. Все со спины его показывают.

— Курсант Бхага, вручаю тебе всемогущество.

— Курсант Бхага, наделяю тебя вездесущностью.

— Курсант Бхага, вручаю тебе волшебный дар всесозидания.

— Курсант Бхага, подключаю тебя ко всезнанию.

Четыре коробочки принимает юный бог, три кладет в наружный карман, волшебную палочку оставляет в левой руке.

— Курсант Бхага, тебе присуждается звание младшего бога-координатора второй ступени.

— Служу вселенскому разуму!

Повернулся. Щелкнул каблуками—и в строй!

— И тебя распределили на нашу Землю? — догадался я.

— Да, распределили. Но одновременно послали и друга моего, вечного соперника — Дьяву, поручили разработать два проекта независимо, «альтернативных», у вас любят это ученое слово.

Глава 2. РАЙ

В первые минуты
Бог создал институты,
И Адам студентом первым
был.

Студенческая песня

Земля ваша очень понравилась мне, пришлось по душе. Сочная планета! Этакая игра красок, столько жирной зелени, густой синевы в небе, желтого простора песков, шумных волн, крутых обрывов, тенистых ущелий. Разнообразная планета и юная, полная жизненной энергии со своими вулканами, ураганами, смерчами, водопадами, наводнениями, погонями и прыжками, воем, визгом, воплями. По-детски подвижная, по-детски жизнерадостная и по-детски жестокая, бурливая, драчливая. Увлекательная планета. Так и тянуло поработать с ней, засучив рукава.

Перед отбытием предупредили нас с Дьявой, что у нас был предшественник, неудачник, которого снимают как не справившегося с заданием. Впрочем, пожалуй, и винить его нельзя, перегрузили бога, назначили куратором трех смежных планет, всех на разных стадиях развития, с жизнью зарождающейся, развивающейся, развитой, преждевременно угасающей, водной, донной, выходящей на сушу, безусловно-рефлекторной, условно-рефлекторной; все они требовали пригляда. Вот он и приглядывал за ними, обходя все по порядку, как шахматист на сеансе одновременной игры, всем уделял равное время для обдумывания следующего хода и не учел, что главная партия — земная — играет в темпе «блиц». Здесь уже незрело сознание, а сознание разрастается быстро, мгновенно с точки зрения космической. На Земле тот куратор сделал ставку на струтиомим — если знаешь, это поздние динозавры, двуногие с длинной шеей и длинными руками. Ваши палеонтологи назвали их струтиомимами, страусоподобными. Двуногих-то немало было среди динозавров, но обычно передние конечности у них атрофировались за ненадобностью, пасть заменяла руки. Однако у страусоподобных как раз была не пасть, а клюв, не слишком большой, а руки длинные и загребущие. Дело в том, что питались они яйцами всяких там трицератопсов и даже страшных тиранозавров. Вот им и нужны были руки и даже с длинными пальцами, чтобы осторожно вынимать яйца из гнезда и уносить, не помявши скорлупы. Очень ловкие, очень умелые оказались руки, так что за каких-нибудь три тысячи лет эти ненасытные ящеро-страусы ухитрились уничтожить все потомство динозавров, весь их род загубить, загубили пищу и сами вымерли от голодухи. И когда тот куратор закончил свой обход по кругу, увидел он опустошенную планету: ни морских гигантов, ни сухопутных, ни болотных, ящерки да сумчатые крысы, пожиратели падали.

Я знаю, ваши ученые по сей день рассуждают, почему это внезапно вымерли на Земле динозавры. Каких только причин не напридумали: естественный отбор, вытеснение ящеров млекопитающими крысами, и наклон земной оси, и оживление вулканизма, и временное похолодание Солнца, и прохождение сквозь туманность Ориона, и перемагничивание, и падение комет, недавно какую-то невидимую Немезиду изобрели еще. А на самом-то деле вся суть была в неумеренном аппетите любителей сырых яиц.

На всю жизнь запомнилось мне, как сдавал нам

1231

дела куратор-неудачник. Невидимый был, как все мы, на экране его не стоит показывать. Динозаврам являлся он динозавром — с тощей шеей, клювом, разбивающим скорлупу, и цепкими лапами с длинными пальцами. Струтиомимы-то его называли по-своему, но у них членораздельной речи еще не было: клекот, свист и щелканье. Клекот и щелканье вам ничего не скажут, а наше собственное электромагнитное имя вы не услышите, оно для вас беззвучно. Будем говорить: «прабог». Итак, этот прабог сдавал дела двум молодым, младшим по званию богам, понимаешь его двусмысленное положение. Он — бывалый, мы — новички-сосунки, но он потерпел фиаско, нам исправлять. Он имел полное право уйти с обидой, дескать, не доверяете, ну и расхлебывайте, как сумеете, однако считал своей обязанностью сообщить все, чему научился. И мы слушали без особого внимания: мол, все это ерунда, пустые слова, саморазрушение провалившегося. А он, такой же всепроницающий, как и мы, конечно, читал наши мысли, но все-таки повторял и повторял подробности. И в конце концов я стал прислушиваться, а Дьява даже и не старался прикидываться внимающим. Он с самого начала решил всю здешнюю жизнь уничтожить и начать на пустом месте, так, чтобы полный простор был для его дьявольского творчества.

Позже он сказал мне пренебрежительно: «Старикан проиграл партию, а теперь оправдывается, утешает себя, что у него были удачные замыслы: «Если бы я пошел не конем, а слоном...» Пустое дело перебирать «если бы... если бы...» Наша игра — новая игра».

Я же, не столь уверенный в себе, все-таки прислушивался, кое-что запомнил и кое-что заимствовал. Решил, что и на чужих ошибках невредно ума набраться.

Основная идея прабога была: не надо спорить с природой! Жизнь на вашей Земле складывалась миллиарды лет, сложилась переплетенная, взаимосвязанная и уравновешенная. Всякое существо, придуманное нами, будет инородным телом. Необыкновенно трудно предвидеть все препятствия, с которыми оно встретится: тяжесть ли невыносимая, легкость неуместная, излишек озона, недостаток кислорода, микробы, микроэлементы — это же все на опыте надо выверять, заранее все не вычислишь. Поэтому разумнее взять за основу какое-либо земное животное, природное, природное, миллиардами лет приспособленное к земной жизни. Которое? Прабог выбрал струтиомим; его прельстили развитые руки, с длинными пальцами, уже подготовленные для производства орудий. Но вот упустил он время, и руки эти расхитили яйца, прежде чем мозг додумался до инкубатора, хотя бы лепешками догадался замесить яичницу. Так или иначе струтиомим больше нет. Надо взять за основу другого зверя, желательного двуногого, с освобожденными для труда конечностями. О кенгуру подумал я прежде всего, поскольку они и внешне напоминали пресловутых струтиомимов. Но отказался... Все-таки сумчатое, млекопитающее из примитивных, слишком много возни с пераделкой мозга, да и передние лапки коротковаты, уже редуцируются. Белочки привлекали меня: приятный зверек, смывленный, орехи так ловко умеет в лапках держать, шишки шелушить, да и глазомер и мозжечок великолепный; без первоклассного мозжечка с дерева на дерево не прыгнешь. Но мелковаты. Не должно разумное существо жить в вечном страхе, перед каждой кошкой трепетать. А увеличь размер, и потерялось бы все: и изящество, и ловкость. Сам знаешь, носорог по веткам не прыгает... ломит вслепую.

О медведе подумывал я — всеядный зверь, и смывленный, и достаточно могучий, от кошечек улестывать не будет. Но вот лапы когтистые, неподхо-

«Аэлита-50»

дядий инструмент для труда. А переделаешь когти в пальцы, оставишь хищника без добычи. Так что остановился я, как ты сам догадываешься, на обезьяне. Почему-то в ученых ваших трудах принято уверять, что это была не обезьяна, а общий предок человека и человекообразных обезьян. Очень любите вы играть словами: и обезьяна, и вроде бы не обезьяна — общий предок. Общий предок, но не обезьяна; легче на душе человеку, венцу творения.

Но и потрудился я над этим общим предком основательно. Четыре сотни признаков сменил: шерсть убрал за ненадобностью, выпятил подбородок, а губы сократил ради членораздельной речи, выпрямил позвоночник, мозжечок увеличил, чтобы равновесие сохранял безупречно и при ходьбе и при беге на двух ногах, это же не шутка — на двух ногах балансировать; ноги удлинил, а руки укоротил, чтобы не было соблазна бегать на четвереньках; лоб выпуклый сделал над бровями, поместил там волю — орган целеустремленности, власти над порывами, извилины процарапал в мозгу, чтобы клеток коры натолкать туда побольше. В общем, потрудился основательно. Разумное и красивое получилось существо. Я был доволен собой. Совершенно справедливо сказано в вашей «Библии»: «И увидел бог дела рук своих, и сказал: «Это хорошо!»

Главное, что коллессия Совета Богов тоже сказала: «Это хорошо! Это мы примем за основу с последующими доделками». И куратором вашей Земли назначили меня — младшего бога, бога-новичка. А проект Дьявы отклонили, хотя он много чего там придумал интересного. Почему отклонили? Потому что при всей его оригинальности в нем не было оригинальности. Дьяве всегда хотелось все смести и на голом месте начать с самого начала. Но что ему придумывалось, отличнику школы богов, потомственному богу? Невольное продолжение нашего собственного разума. А нам — народу богов — хотелось же иметь дело с разумом чужим, развивающимся пусть при нашей поддержке, но на иной основе. Непохожест нам нужна была для сравнения, для вариантов, для спора. И в результате богом-координатором назначили меня, а Дьяву прикрепили ко мне для помощи, всего лишь консультантом. Впрочем, впоследствии ему отвели и отдельную пустую планету — опытный полигон.

— А он, обидевшись, решил вымещать зло на людях? — предположил я.

Блага покачал головой укоризненно:

— Опять вы лепите богов по своему образу и подобию, люди. Не приписывайте нам своих грехов, пожалуйста. Просто у нас были разные позиции с Дьявой. Мы спорили, он возражал, опровергал, высмеивал меня, издевался даже. Все твердил: «Ах, какая свежая мысль пришла тебе в голову, Бхага! Додумался же: божественный разум засунул в тело обезьяны!» И предсказывал: «Ты еще наплачешься, Бхага, со своим гибридом, распутывая противоречия ума и тела. Увидишь, обезьяна подавит божественное, тебе усмирять ее придется непрерывно. Нарочно что ли трудности нагородил для себя?» И все подзуживал: «Давай устроим потоп, смоем все начисто, подсушим и начнем на просторе сначала».

Нет, я Дьяву хулить не буду, он бог талантливый, с острым умом и острым взглядом, недостатки видит с лету, вот и осуждает все подряд. Я к нему прислушивался всегда, так же, как в свое время со вниманием слушал и прабога, нашего неудачливого предшественника. Слушал, вносил поправки, не упрямялся. Дьява же, со своим легким умом, с легкостью и подчеркивал начатое, решительно отказывался от собственных планов, сдувал формы, сматывал атомы и начинал заново. Поэтому на его планете так и нет ничего толкового, все эскизы да заготовки.

И на Земле он тоже напутал немало. Он считал,

[236]

что я зря держусь за один-единственный сухопутный вид разума, предлагал и другие стихии все заселить: воздух, воду, земные глубины и огонь. Сотворил всяких огненных змеев, водяных, леших, русалок, гномов, саламандр, кикимор болотных. Но они повыверли все, оказались нежизнеспособными, не выдержали борьбы за существование с человеком.

Итак, не ленился я вносить поправки, совершенствовать человека, увязывать его с земной природой. Пожалуй, и весь мой дальнейший рассказ — это история исправлений.

Но об исправлениях я задумался позже. А пока что со старанием я готовил уютное гнездышко для моего новоявленного светоча разума. Мне хотелось, чтобы у него были все условия для беспрепятственного духовного развития, чтобы ничто не отвлекало его от размышлений: ни опасные хищники, ни суровая непогода, ни зной, ни холод, ни мелочные заботы о ежедневном пропитании.

Я подобрал для него уединенный островок неподалеку от Цейлона. Ни тигров, ни змей на острове, только птички да черепашки. Вечное лето двенадцать месяцев в году, зной смягчается морским ветерком, закрытая лагуна для безопасного купания, пляж с белоснежным коралловым песком. Белков и витаминов вдоволь: насадил я кокосовые пальмы, бананы, фиги и финики, хлебное дерево, бобы, кофе и какао, грецкие орехи, чтобы жиром обеспечить, ягоды всех сортов, южные и северные, не посчитался с ботаническим районированием. В общем, полноценное питание обеспечил, но вегетарианское. Решил: пуская мое создание обойдется без мяса, без кровопролития. Цветы перечислять не буду, такую оранжерею устроил, школа эстетики. На орхидеи нажимал, главным образом, каждый цветок расписывал по-другому.

Но самым главным моим произведением было дерево Познания...

— Познания Добра и Зла, — не удержался я. Очень уж хотелось мне показать свою осведомленность.

— Нет, почему же, не только добра и зла. Дерево всякого Познания, — поправил он недовольно. — Это хорошо, что ты, материалист, не поленился познаться с «Библией», но там же все искажено. Естественно: изустное предание как игра в испорченный телефон — кто-то недослышал, кто-то недопонял, кто-то истолковал по-своему, в соответствии с собственным вкусом, взглядами, моралью. А ты никогда не задумывался, ведь то, что написано в «Библии», противно всякой логике: господь Бог сажает в Раю два волшебных дерева и почему-то запрещает пробовать плоды. Если запрещает, почему же сажает? Сам же вещает: «Не веди во искушение!» Чистейшая провокация. Церковь пыталась объяснить, запуталась в своих объяснениях, придумала демагогическое оправдание любой нелепости: «Пути господни неисповедимы».

— В старой «Библии», что досталась мне от прадеда, написано: «Господь посадил эти деревья для украшения», — вставил я.

— А в чем заключалось Добро и Зло, которое полагалось скрыть от Адама и Евы? — продолжал Бхага. — Оказывается, Добро, если верить авторам Священного вашего писания, в том, чтобы не показывать половые органы. В фиговом листочке Добро, в наготе Зло. Видать, большие сладострастники были твои предки, человек. Как увидят голое тело, так и кидаются насиловать. Недаром в «Библии» целая глава отведена греху обнажения: «Тетю свою не обнажай, свояченицу не обнажай, мать тоже не обнажай!»

Нет, совсем не так было, не в наготе был смысл познания.

Посадил я на том благодатном острове дерево

«Аэлита-90»

12371 мудрости, и каждый плод начинил старательно главами учебника жизни. На нижних ветвях поместил простейшие сведения — о растениях и животных, о землях и звездах, чуть повыше грамоту и четыре правила арифметики, выше законы физики, биологии, физиологии, психологии, далее ветки для этики, эстетики, философии, истории, божественной истории, конечно, ваша не возникла еще. Все это я продумывал неторопливо, отбирал самое необходимое, отбрасывал вторичное, каждый плод начинал по отдельности, старался последовательность выдержать. В общем, составил полный учебный курс по развитию разума. Любовно составлял и со старанием, самому интересно было свое всезнание упорядочить. С любовью развешивал плоды по веткам, как елочные игрушки, и каждый раскрашивал по-своему, ярким цветом ли или узором, знаками какими-нибудь помечал. А на самую макушку, куда труднее всего было добраться, навесил я плоды Бессмертия. Не отдельное дерево Бессмертия, а плоды на дереве Знания. И не запрещал я их пробовать вовсе... если запрещать, к чему же и создавать? Поместил же я их на самый верх как бы в награду за прилежное учение. По-моему, рассуждал вполне логично: сначала стань богоравным по разуму, потом уже получай и заслуженное бессмертие. Бессмертие ни к чему полужнайке, вчерашней обезьяне. Мы же товарищей для себя хотели создать, а не вечных дурачков.

И еще одну предосторожность предусмотрел я. Знал я, что мозг у вас ограниченного размера — полторы тысячи кубиков в среднем — и ограниченной мыслепроводимости, способен впитывать столько-то бит в секунду, семь фактов за один присест. Значит, надо было обезопасить первого человека от мыслеперегрузки, чтобы не обьялся знаниями до головной боли, до воспаления мозга. Поэтому сделал я плоды познания горькими, не отвратительными на вкус, но горьковатыми. Пусть откусит кусочек, переварит основы, буквы для примера, смочет горечь каким-нибудь фруктовым соком, отдохнет и продолжит: примется за слоги и слова.

Наконец готова моя райская квартира, оборудована райская гимназия, ожидают жильца и школьника. Дух перевода, берусь за создание человека по модели... не из глины, конечно, но по глиняной модели из белков, нуклеинов, углеводов, жиров. Заготавливаю клетки сначала, потом монтирую из клеточных тканей, из тканей органы. И вот стоит он, вот он ходит по кущам и рощам, красавец-мужчина, нагой и кудрявый, образцовый натурщик для фрески Микеланджело в Сикстинской капелле, первый человек, образцовый человек, прекрасный человек.

И увидел Господь Бог дело рук своих и сказал: «Это хорошо!»

Да, доволен был я делом своих рук, да, любовался, да, гордился, как скульптор и как отец. Да, то и дело заглядывал в рай, хотя забот было полно и на других материках, даже и за пределами планеты. Но я уже говорил тебе, что наша физиология позволяет вездесущность. Можно пребывать и на Марсе, и на Солнце, но частично оставаться и на Земле. Так что обычно я держал и в Раю частичку своего Я, чтобы сообщала она всему моему существу, что будущий наш сотоварищ жив, здоров, хорошо спит, хорошо питается, кушается в меру, загорает и не переутомляется: чаще полеживает в тенечке, посасывая какой-нибудь витаминами начиненный персик.

Посасывает персики, финики жует, орехи грызет... но к дереву Познания не притрагивается. Один только раз сорвал самый яркий плод огненного цвета, надкусил его и тут же выплюнул — язык жжет. И правильно, должен был жечь язык, потому что в том плоде были слова. Вот Адам плевался, плевался и научился говорить. А огненным цветом я окрасил

тот плод потому, что в нем был скрыт еще и секрет разведения огня. Все-таки Рай раем, на экваторе, но ночь-то двенадцатичасовая, непроглядная, а под утро прохладно. Так что с первого кусочка усвоил Адам самое наиважнейшее: речь и огонь.

Но более к дереву Познания он не подходил ни разу. Запомнил: горько!

Честно говоря, не я это заметил. Это Дьява мне подсказал. Я-то относился к делу рук своих восторженно, а он — великий скептик — все искал, к чему придрачиться, и он сказал мне:

— Лентяй этот твой биологический робот. Ест и спит, спит и ест. Животное. Ну у животных лень-то оправдана; они пищу добывают с трудом, с опасностью для жизни, надо беречь энергию, не растрачивать ее в пустой беготне. Но твой-то помещен в тропическую теплицу, запасы ты ему наготовил на тысячу лет, чего ради экономить?

И посоветовал выжечь лень до тла, чтобы и духу лени не было.

Но я не люблю этой разудалой размашистости: «всех утопить», «всех распылить», «выжечь до тла!» Я божество, склонное к умеренности, к терпимости, к компромиссам даже. Знаю, что вам умеренность не по вкусу, вы предпочитаете Дьяву с его крайностями: «черное — белое», «святое — преступное», «рай небесный — ад крошечный», «гений — кретин», «идеал — гнусь», «любимый друг — безжалостный враг» и «если враг не сдается, его уничтожают». У вас даже и в религии Люцифер светоносный мгновенно превращается из ангела в изувера и садиста — владыку ада. Но эта неуважаемая мною умеренность ваша проистекает из непонимания сложности. На самом деле в природе нет доблестей и пороков, есть свойство, унаследованное от обезьян, а обезьянами аж от инфузорий, свойство, полезное для экономики пищи и вредное для учения. Даже и Адаму в его сытном и безопасном раю незачем было надеяться до отвала, а потом носиться туда и обратно, чтобы утратить излишек жратвы. Так что лень я ему укоротил, но все же оставил. А укоротил лень инъекцией доброй порции скуки.

Глава 3. ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ

Потом он встретил Еву
И бегать стал налево,
И Бог его стипендии лишил.
Та же студенческая

Изобрел я скуку, сделал Адаму инъекцию, во сне, конечно, безболезненно, и наутро увидел, как слоняется он, бедняга, по берегу и зевает, рот раздирает, аж губы лопаются на уголках.

Не я придумал зевоту, Адам получил ее вместе с обезьяньим своим телом. Любопытный жест, тоже полезный физиологически. Животное проснулось, надо к деятельности приступать, вот оно и зевает рот пошире, чтобы больше кислорода вдохнуть, мозг снабдить щедрее.

То же и при скуке: получай мозг усиленную порцию кислорода, придумай, чем заняться!

Итак, Адам зевал, что есть силы, мозг насыщал кислородом, но мыслей не рождал. Неоткуда ему было брать мысли, еще не заполнил извилины. А к дереву Познания не тянуло: горько!

И он очень обрадовался, когда увидел меня.

— Боже! — воскликнул он. — Вот хорошо, что ты явился вовремя. Давай покалякаем, а то у меня язык присох к небу.

— Поговорим, — согласился я. И приготовился изложить ему содержание хотя бы самых нижних плодов с дерева Познания.

Но Адам по-своему понимал беседу. Ему хотелось не лекцию слушать, а самому языком трепать.

Попутно отмечаю еще один ваш людской недостаток, беду, пожалуй. Вы очень любите делать то, что легко дается, с наслаждением занимаетесь легким и привычным. Горорить Адам умел, ему и хотелось говорить, а не мозги напрягать, в новое вслушиваться.

И Адам начал плести:

— Слушай, Господи, какой мне сон приснился. Будто бы зашел я в море, глубоко зашел, так что по грудки. И вдруг в лицо мне волна. Обдала брызгами, я губы облизал, а брызги сладкие. Каждая брызга — ягода, тутовая, только без пупырышков. Господи, а в самом деле, ты для чего сделал море соленое? Ты его лучше вкусным сделай, как апельсиновый сок... или еще лучше — ананасный, я ананасный больше всех люблю. А от соленого у меня изжога. Зачем ты, Господи, придумал изжогу? Ты сделай так, чтобы изжоги не было совсем.

Вот такие у нас пошли беседы: спал, пил, ел, переел, изжога, отрыжка, жарко, прохладно, мягко, жестко, бок отлежал... И сделай, Господи, ты, переделай другое. Как будто я у него личный семейный врач и заодно камердинер.

А только отлучишься, тут же вызывает:

— Господи, где ты? Господи, я так давно тебя не вижу. Господи, мне без тебя скучно, мне без тебя страшно одному.

И это прародитель галактического разума, родоначальник сотоварищей богов!

Кроме всего мешал он мне отчаянно со своей скукой. Я же отвечаю за всю планету, должен поддерживать порядок в климатических зонах, во всех регионах. Ведь природа-то, она слепа, совершенно непохожа на ту милую девицу в венце из роз, которую я тебе показал как символ. Природа все время норовит нарушить равновесие: то у нее извержения по разломам, то материки налезают на материки, громоздят горные цепи, вулканы выбрасывают углекислый газ, известняки глотают углекислый газ, солнечные пятна с магнитными бурями, озонные дыры, ледники наступают, ледники тают, астероиды грохочутся то и дело, запыляют атмосферу. Всюду глаз да глаз, этакая планетарная служба ГАИ, а тут какой-то зевающий лодырь тнет за рукав:

— Нет, ты скажи, Господи, почему ты прячешься от меня? Какие такие дела у тебя, Господи? К кому ты еще шастаешь? Ах, тебе скучно со мной. Ты сотворил меня себе на потеху, а теперь я надоел уже? Ты меня не уважаешь, да?

— Уважаю, уважаю, честное божественное слово!

— А если уважаешь, почему не хочешь дослушать?

Уважаешь, не уважаешь, уважаешь, не уважаешь! Бессмертная тема! И это будущий собеседник богов!

Да к тому же собеседник этот сделал самостоятельное без моего ведома открытие. Соки ему все нравились: ананасный, персиковый, виноградный. Напьется до отвала, иной раз еще и про запас жмет. Ну вот и нажал он виноградного сока, оставил, забыл, потом выпил забродившего... И выслушал я еще один монолог об уважении уже на пьяной основе. А тут как раз некогда было заниматься перевоспитанием, вся моя вездесущность потребовалась на Совете Богов, мне надо было отлучиться на год-другой и чем-то занять болтуна, только бы не вином.

— И ты сотворил Еву из его ребра? — подсказал я.

— Однако, неплохо ты помнишь «Библию», материаллист, — усмехнулся снова божественный. — Да, сотворил Еву, не из ребра, само собой разумеется. Нет, женщину я делал заново, с полнейшим старанием, и, наверное, сделал лучше, чем мужчине, прочнее во всяком случае. Опыта накопил, неточностей не повторял. Но исходный материал был тот же самый: тело самки-обезьяны, шкуру долой, выпуклый

лоб и острый подбородок для подвижности языка, для дикции членораздельной, тонкие набровные дуги, лицевые мускулы для мимики, бедра пошире, талия потоньше. Такая получилась крепкотелая, полногрудая, с широким задом и светлой косой до колен женщина-мать, здоровая прародительница здоровых детишек.

Колоритная встреча была у них — у Адама с Евой. Простодушный Адам удивлен был прежде всего. Рот раскрыл, так и забыл закрыть. И все палец тянул пощупать: что это такое, живое или не живое, мягкое или кусается? Ева же освоилась сразу, немедленно вступила в игру, демонстрируя показной испуг: «А ты не злой? Ты меня не обидишь?» Польстила тут же: «Ты такой могучий, сильнее тебя никого на свете нет. Наверное, ты меня на одной руке унесешь». Напросилась «на ручки».

И не требовался я в Раю более. Больше Адам не зывал ко мне: «Боже, приходи, поговорим».

Я нарочно наделил Еву повышенной разговорчивостью, чтобы тему не подыскивала, сначала рот раскрывала, потом уже думала, что именно сказать. Так что Адаму ее словоохотливости хватило с лихвой. Еще добавил я Еве повышенное любопытство. Надеюсь, что из любопытства не пропустит она древа Познания, заставит Адама лезть за все новыми плодами, выше и выше, пока не доберутся они оба до вершин познания, до бессмертия самого.

В общем, отлучившись в Галактический центр, я оставил идиллическую картину. Ева плела венки и гирлянды из орхидей, маков, роз, сирени, лилий желтых, белых и оранжевых с черными разводами, прикладывала их к волосам, накидывала на плечи, на пояс и пропускала между грудей, принимала позы одна другой картиннее и все выпрашивала: «Идет мне? А что больше идет? Какие лучше — желтенькие или лиловенькие? А что в причесе влести — белое или алое? А так я тебе нравлюсь? А как больше нравлюсь? Наверное, разонравилась, ты на меня не смотришь. Любишь, да? А если любишь... достань мне ту махровую розу. Нет, не ту, совсем другую. Фу, какой недогадливый! Ах, противная роза, она меня уколола. Гадкий мальчик, поцелуй сейчас же пальчик! Еще и еще раз, пока не пройдет. И этот тоже. А ты совсем не боишься колючек? Ну тогда сорви мне еще...»

И я удалился успокоенный. Я понял, что Ева не обойдет своим вниманием пестрое дерево Познания.

— Змей подговорил ее, — напомнил я. — Дьява в образе змея.

И опять не угадал.

— Ах, люди-люди, все зло да коварство в ваших мыслях, — вздохнул Бхага. — Повторяю тебе: боги выше зла. У богов есть свои мнения, свои позиции, но вредить друг другу они не станут никогда. Пако-сти богам и в голову не придут. Никакого вмешательства не потребовалось, все шло естественным порядком. Первые люди жили себе в Раю, забавлялись, миловались. Ева частенько отсылала Адама с поручениями, ей очень нравилось давать поручения. Она чувствовала себя такой могучей, команднее самым сильным на свете существом, ведь сильнее Адама в Раю-то не было никого: пташки, черепашки да олешки. И Ева все распорядилась: «Достань мне то, достань другое!» В конце концов дошла очередь и до дерева Познания: «Достань мне то клетчатое яблоко!» Напрасно уверял Адам, что плоды этого дерева горькие и жгучие. Ева не верила или притворялась невежущей. Изображала обиду: «Ты жадный, ты эти плоды для себя одного бережешь. Нет, я хочу, я хочу именно это клетчатый, никакой другой. Тебе жалко для меня, да? Такая твоя любовь?»

И Адам полез и сорвал клетчатое яблоко, где была таблица умножения, всего-навсего, да четыре действия арифметики и простейшие корни

Ева откусила кусочек, проглотила таблицу умножения, сморщилась и заплакала:

— Ой, гадкий, ты отравил меня нарочно, да? Ой, у меня головка болит. Ой, я ничего не понимаю. Знаки какие-то перед глазами. Загадки бессмысленные, недоговоренности: дважды один два, дважды два — четыре, дважды три — шесть. Какие два, какие шесть? Ничего не сказано. Стучит и стучит в голове, никак не выкинешь. Адамчик, миленький, я не хочу видеть это противное дерево. Я не хочу слышать про эти безликие пустые тройки и шестерки. Я догадываюсь, что они предназначены, чтобы вытравить настоящее чувство, подлинную нежность, истинную любовь. Или будут играть жестокие равнодушные люди, поклонники голого разума (и откуда Ева выкопала такие слова?). Адамчик, если ты настоящий мужчина, если любишь меня на самом деле, ты должен срубить это гадкое дерево.

И Адам решил проявить себя настоящим мужчиной, доказать подлинную любовь. Срубить могучее дерево он не мог, топора у него не было, он еще не стал животным, производящим орудия, но плод познания огня вкусил, не раз уже восхищал Еву, разжигая костер в прохладные вечера. И он решил спалить дерево Познания. Даже очень гордился, какой кострище сумел разложить. Собрал огромную охапку сухого хвороста, взгромоздил кучу плавника, высек искру из кремня...

Как раз, когда я вернулся, дерево пылало вовсю. Пламя выло, пожирая сучья и ветки. Съезжались и обугливались плоды познания, в бессмысленные угольки превращались с такой любовью, таким старанием запрограммированные мною учебники алгебры, геометрии и высшей математики, механики, термодинамики, оптики, электротехники, атомистики, вакуумистики, космологии, темпорологии, биологии, ботаники, зоологии, цитологии, генетики, генопроектики... Ах, да к чему перечислять все науки, известные тебе и неизвестные? Если доводилось тебе видеть, как горит твой дом, который ты строил годами, во всем себе отказывая, может быть, ты поймешь меня. Я строил школу Разума для будущих сотоварищей, а они играючи превратили его в тлеющие головешки.

Я говорил тебе, что мы — боги — не знаем злости и мести, но чувства есть и у нас, мы тоже живые существа. Я ощущал разочарование, я был опустошен и подавлен и пристыжен тоже, признаюсь честно, мне хотелось как следует наказать этих дурачков безмозглых. Да тут еще Дьява крутился рядом, сыпал соль на рану: «Я, дескать, предупреждал, с этими заплатами на животной основе ничего не выйдет. Обезьяна так и останется обезьяной, хотя ты и обрил ее. Надо было все стереть и начать заново на пустом месте. Давай, решайся, я подмету планету в одно мгновение. Ах, не хочешь? Ну конечно, ты всепрощающий, все терпеливейший. Молча утрешь, вырастишь второе дерево, потом третье и тридцать третье. Перетерпеть думаешь, добротой преодолеть глупость? Давай, приступай, посмотрю, на сколько тысячелетий тебя хватит».

Да, собиравшись я приступать к восстановлению, думал, даже утешал себя, что по второму разу легче будет: схема продумана, план в голове, подробности только вспомнить. Подумал, но растить не стал. Все равно, Адам будет от горечи отплевываться, а у Евы от таблицы умножения головка заболит. Потому что нет у них стимула для усилий, не нужны им эти познания в Раю, им и так хорошо: солнышко и тень, фрукты и цветочки, да милые любовные забавы: что еще требуется для полного счастья?

И порешил я изгнать эту парочку из Рая.

— Послал ангелов с огненными мечами, — опять я щегольнул цитатой.

Бхага пожал плечами:

[239]

— К чему эта бутафория: ангелы, огненные мечи. Все было сделано естественным путем: организовал небольшой торнадо из тех, что подметают атоллы ниже пылесоса. Пальмы я ломал, как спички, бананы выдрал с корнем, скосил всякие там розы и лозы. Смоковницы кружились у меня в воздухе, словно бабочки, гонимые ветром. И гром барабанил, как в рок-оркестре, и молнии фехтовали в тучах. Возможно, Адам с Евой и приняли их за огненные мечи, а ангелов пририсовать с перепугу было уж совсем нетрудно. В общем, от Рая оставил я кучу кораллового песка да щепки, а Адам с Евой бежали, куда я и гнал их ветром, по цепочке островов, которые и ныне именуют Адамовым мостом, бежали на обширный материк с колючими чащобами, ядовитыми болотами и раскаленными пустынями, населенный и тиграми, и змеями, и слонами, и микробами.

— Значит, ты наказал их все-таки, Господи!

— Ничуть! Нисколечко. Просто я пришел к выводу, что в тепличном Раю разум не разовьется. Для развития нужна нужда — материальная заинтересованность.

— И сказано было: «В поте лица своего будешь ты добывать свой хлеб», — процитировал я.

Глава 4. НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Сытое брюхо к учению
глухо.
Проголодаешься,
хлеба достать догадаешься.
Нужда скачет, нужда
пляшет,
нужда песенки поет.

Русские пословицы

И материальная заинтересованность сработала. Не сразу, постепенно, даже довольно медленно. Я-то рассчитывал свое древо Познания на десятилетний курс — на полную среднюю школу, а потребовалось не десять и даже не четыре тысячи, как по «Библии», добрых сорок тысяч лет, чтобы дойти до современного уровня, едва ли это половина дерева. Но зато потомки Адама научились своим умом доходить.

И не попрекай меня, что я выбросил из Рая голого человека на голую землю. Не голые были люди, я вооружил их с самого начала Огнем и Речью. Огонь спасал от холода, от тьмы и от зверей; самые кровожадные хищники боялись огня. Что же касается Речи, это оружие Ева пустила в ход, как только торнадо перестал завывать, крутить сломанные деревья в тучах и швыряться кокосовыми орехами. Чуть утихло, Ева выглянула из ямы, где они прятались между вывороченными корнями, и сказала жалобно:

— Адамчик, здесь очень холодно.

Адам выбрался из той же ямы на четвереньках, начал собирать сушняк. Дров я наломал предостаточно — и с зелеными стволами, и с засохшими; вскоре огонек заплясал над хворостом. Люди почувствовали, что жизнь еще не кончилась.

— Адамчик, я покушала бы, — сказала Ева, робко улыбаясь.

Адам принес гроздь бананов. Вокруг валялись целые стволы фруктовых деревьев, выбирай на завтрак самые спелые плоды.

Насытившись, Ева повеселела.

— Адамчик, но здесь дует ужасно, — сказала она. — Укрой меня чем-нибудь.

• Фиговые листочки в качестве плаща не годились. Адам принес Еве огромный лопух того же сломанного банана, и Ева завернулась в него — изобрела прообраз сари из зеленого листа.

— А где же мы будем спать, Адамчик? — продолжала она. — Неужели прямо на земле? Тут так

сыро и грязно после дождя. И гады какие-то ползают. Еще укусят во сне.

Адам припомнил, как обезьяны устраивают гнезда на деревьях, на сук с развилкой кладут ветки, на ветки траву. Ева осмотрела висячий дом без одобрения:

— Адамчик, я же свалюсь отсюда, исцарапаюсь вся. На одну ночь полезем, но утром придумай что-нибудь получше.

Утром Адам предложил построить шалаш. Однако Ева забраковала «рай с милым в шалаше». Она уже думала о младенце, а для младенца шалаш не жилище, дымно и простоудно.

— Адамчик, разве это защита от зверей. Нам нужен надежный дом... для троих.

— Третий? У нас будет ребенок... сын? — Адам расцвел от гордости.

— Будет,— обещала Ева.— Но для ребенка нужно надежное жилье. Я видела, тут звери живут в пещерах. Адамчик, ты не мог бы выгнать зверя как-нибудь?

— Выгоню. Огнем напугаю,— обещал Адам.

Вот так двинулся вперед прогресс. Голод диктовал, Ева требовала, Адам что-нибудь придумывал. В Раю Адам с Евой были приучены к обезьяньей фруктово-ореховой диете; недаром и по сей день истинные йоги питаются только фруктами и орехами. Но в Райском саду позаботился о плантациях я; на материке съедобные плоды надо было разыскивать среди несъедобных, лезть за ними или палкой сбивать. Палка служила заодно и примитивным оружием, потом к ней приделали каменное острие, потом камнями научились обкалывать, потом, когда плодовые заросли иссякли, научились охотиться на крупного зверя с огнем, с копьями, с луками и стрелами. Всего этого в «Библии» нет. По «Библии» сразу же сыновья Адама — земледелец Каин и пастух Авель. А на самом деле до скотоводства и хлебопашества дошло едва ли тысячное поколение потомков Адама.

— Тысячное поколение? Так что, не Каин убил Авеля?

Бхага возмутился почему-то.

— В этом вашем «Божественном откровении» намешано всякого, не разберешь, чего там больше — униженной лести или клеветы на меня. Ну посудите сам, к чему мне нужны были жертвы Каина или Авеля — колосья и ягненок. Мы же бестелесные, и уж во всяком случае не мясом и хлебом заряжаемся. Разве не ясно тебе, что легенда эта придумана пастухами? Они, дескать, милые и добрые, а злой и завистливый землепашец убивает робкого брата своего. Ведь на самом-то деле, это ты и по истории должен бы знать, именно скотоводы во все века были агрессорами, лихие конники, вооруженные пастухи, привычные к походам, к переездам и к грабежам. Им много земли нужно для пастбища, им всегда тесно было в самых просторных степях в отличие от земледельца, которого кормила какая-нибудь полянка. Впрочем, в другой библейской легенде, более поздней, дается противоположное решение. Голодный охотник Исав, без толку гонявшийся за дичью, отдает свое первородство надежно ситому земледельцу Иакову за чечевичную похлебку.

Кто же на самом деле изобрел убийство? Да многие, в разных местах, в разных странах. Перешли от фруктов к мясу, научились охотиться, убивать, проливать кровь антилоп, оленей, быков, медведей, мамонтов. Убивали и хищников, обороняясь, а потом пожирали прожорливых, не пропадать же мясу зря. Убивали сообща, деля добычу, спорили: «Ты забрал себе самое вкусное, ты отхватил кусок пожирнее». Спорили, а дубинки в руках, копья в руках, долго ли замахнуться? Я не зафиксировал, кто был самым первым убийцей. Это была бы формальность, как «пяти-миллиардный житель Земли». Решили считать пяти-

миллиардным младенца, родившегося в городе Загребе после полуночи. На самом деле много было первых каинов. Как это говорится у вас: «Идея носилась в воздухе».

Я даже допускаю, что идею подала которая-нибудь из прапрапраправнучек Евы, неустанно внушавшая своему мужу — прапрапрапрадедите, что он растяпа, разгильдяй и трус, добрый для чужих дядей, уступчивый за счет своих детей; из-за такого никудышного отца они недоедают, голодают, болеют, плохо растут, всю жизнь мучиться будут. И лопнуло в конце концов терпение какого-то незадачливого Каина, чьи дары не Бог отверг, а собственная жена осудила. И когда некий нахал, пользуясь своей завидной мускулатурой, вырвал у него сладкую печенку убитого оленя, обделенный робкий трахнул своего бидчика по черепу. А жена не осудила. Она же поняла, что муж ради нее решился на преступление. Ради нее! Ради детей! Ради любви к ней! За любовь все можно простить.

Так они рассуждали в первобытные времена.

— Это непривычная какая-то точка зрения,— заметил я с некоторым недоумением.— Мы обычно считаем, что женщина куда добрее мужчины — символ нежности и участия.

— «Добрее-злее» — понятия относительные,— неожиданно объявил Бхага. На диалектику вдруг повел этого бога.— Женщина добрее к близким, к своей семье, черствее ко всем остальным.

Еще прапратерь Еву я наделил повышенной требовательностью, наделил не случайно, и никогда не жалел об этом. Заботливая мать и должна настойчиво требовать, чтобы мужчина достал для ребенка все необходимое и про запас, хорошее, лучшее, наилучшее. Должна и будет требовать, просить, умолять, настаивать, клянить, нудить, упрекать, напоминать, пилить, твердить, что если мужчина — настоящий мужчина, пускай он принесет. Вынь да положи!

Могу повторить, что ненасытность эта в сильной степени способствовала прогрессу. Выносливый мужчина мог выспаться в яме, или же на ветках, или на голой земле, еще и щеголять своей неприхотливостью. Женщина не соглашалась держать ребенка на ветке («Еще свалится во сне!»). Женщина потребовала надежной пещеры и не просто пещеры, а удобной, безопасной и сухой, не просто сухой, а еще и с чистой проточной водой, а если не пещеры, то каменной хижины, или шатра, или чума, или шалаша. И не «лишь бы, лишь бы», не какогo попало, а прочного и теплого, обитого шкурами, устланного шкурами и не какими попало шкурами, а выскобленными, обработанными, да еще сшитыми так, чтобы получился узорный ковер.

И то же было с одеждой, то же было с утварью, то же с мебелью. Не только вещь, но еще и удобная, еще и красивая, так чтобы самой смотреть было приятно, а соседкам завидно, чтобы, наулыбавшись для приличия, те бегом бежали бы к своему мужу с претензией: «Почему ты из всех мужей самый никудышный? Почему другой может, почему другой руки приложил, а ты у меня, горе ты мое...!»

Согласись, что и в ваше время женщины — главные потребители, главные знатоки обстановки и интерьера, мебели, ковров и обоев, главные ценители красоты, главные хранители эстетики, слушатели музыки, посетители театра, обожатели театра, обожатели теноров и поэтов. Сознайся, что без женщин захирело бы все ваше искусство...

— Да, но... — начал я, несколько задетый.

— Да, но... — согласился Бхага тут же.— Да, согласен, женщины, способствуя развитию культуры... технику развивали в меньшей степени. В ваше время женщина с охотой садится за руль, с удовольствием ведет машину, даже и лихо ведет, за гачный ключ берется без большой радости. Женщина — потреби-



тель, так я ее задумал. Изобрести, изготовить, отрегулировать, исправить, смазать — все это мужское грязное дело, грубое, неэстетичное, даже недостойное. Недаром еще у праматери Евы от цифр «головка болела». Цифры Ева воспринимала как некое необходимое удобрение для сада. Ничего не поделаешь, удобрения полезны, но кто же напоминает о навозе, угощая гостей сочной клубникой. Напоминать об этом не просто невежливо, это цинизм дурного тона.

Итак, мужчины обеспечивали материальную основу жизни, женщины думали об улучшении и украшении. Естественное разделение труда.

Но нет лица без изнанки. Даже и боги не могут обойти этот двуличный закон природы.

Женщины требовали, требовали достать любыми средствами, мужчины доставали. Но всех средств в их распоряжении было два: добыть и отнять. И отнимали при всяком удобном случае. Дрались, грызлись, глушили друг друга дубинками. Сначала у охотников драки были еще эпизодическими, не очень кровавыми. Ведь не было смысла проламывать череп соратнику из-за куска мяса, из-за одного обеда; к тому же и тебе могли проломить. Но в эпоху скотоводства выгодно стало «отнять». Угнал стадо и обеспечил себя на целый сезон, если не на всю жизнь. Тут игра стоила свеч, риск себя оправдывал. Но кто рискует, тот и проигрывает. Недаром Магомет разрешил иметь четырех законных жен, да еще наложниц столько, сколько прокормишь. Как ты думаешь, откуда взялась эта цифра «четыре»? Не я подсказал ее, подсказала демография аравийская. Из четырех юношей только один доживал до зрелости, до возможности жен взять. Рождение девочки считали бедствием, нередко закапывали в горячий песок новорожденных заживо. Спасением было для женщины четырехженство.

Чтобы иметь мужа, хоть одного на четверых, восточная женщина пошла и на стеснительные унижения, согласилась не появляться на улице с открытым лицом. Муж видел жену впервые на свадьбе, «покупал kota в мешке», в подлинном смысле покупал — за деньги... Если давал промашку, должен был снова копить деньги на другую жену. Женщины терпели, страдали... но и в том был смысл. Чадра избавляла их от конкурса красоты, невест сватали заочно.

Но это я зашел далеко вперед. У первобытных охотников тоже был недостаток женихов, и тоже сложился конкурс красавиц. Были и «мисс Людоетки», и «мисс Дикарки», мисс «Оленья шкура», мисс «Тюленья шкура», всякие. Все старались украсить себя, если сама природа не создала красавицей, и все старались выглядеть совсем-совсем молоденькими, почти девочками.

Надо ли объяснять, почему молоденькие считаются самыми красивыми? Это я установил, я привил вам такой вкус. Вообще-то красота условна, но тут нужно было рациональное основание. Если бы красавицами считались зрелые матроны, у них была бы вереница обожателей, а молоденькие простаивали бы десятилетиями, поджидая седины и красивых морщин.

Рассказывая, Бхага попутно демонстрировал мне сценки выставки-распродажи в ателье доисторического мод на открытом воздухе. Судя по разнообразию материала и покрою, выставки эти проводились в разных землях, но всюду манекенщицы, подобранные по росту, стати и цвету волос, прохаживались взад и вперед по вытоптанному площадкам, приподнимая платье и виляя бедрами, так чтобы видна была одежда в движении. На крайнем юге манекенщицы сегодяля пышными юбками из стеблей травы разного оттенка, от соломенного до ярко-зеленого и обязательно с красноватыми, как у ивы, стебельками. Другие показывали плащи и накидки из листьев, скрепленных гибкими веточками. Были также одежды из луба,

плетеные, как лукошки для ягод, невыносимо жесткие, но чего не вытерпишь ради красоты. Были одержы из тюленьих кишок. Но всего наряднее выглядели композиции из шкур в желто-коричневой гамме, иной раз сложнейшая мозаика из треугольничков, квадратиков, полосочек, сшитых сухеными жилами. И, наконец, последнее достижение заграничной текстильной промышленности — дерюга из некрашенной овечьей шерсти.

Манекенщицы прохаживались, крутя плечами и ягодицами, знатоки-закройщицы заглядывали сбоку и снизу, модницы морщили лбыки, запоминая фасон. Наизусть запоминали, поскольку выкройки не прилагались в ту пору и журналы мод еще не выходили. Меховых магазинов не было тоже; каждая «ева» сама прикидывала, как бы заставить своего «адамчика» раздобыть неопишемую пятнистую или полосатую шкуру, так чтобы всех соседок своей пещеры сразить наповал.

— Я нарочно наделил женщин повышенным интересом к красоте, — продолжал Бхага, — не только к своей собственной красоте, но и к красивой одежде, утвари, мебели. Красота — это чистота, а чистота — здоровье детей. Но у вас, у людей, удивительный талант все хорошее выворачивать наизнанку. Женщины стали говорить: «Мы — украшение природы, мы — цель творения. Мы лучше понимаем красоту, чем мужчины, мы сами носители красоты и изящества, наше вселенское назначение радовать мир красотой». И естественный вывод: красоту надо оберегать, охранять трудолюбиво, беречь нежное лицо, беречь фигуру, талию тонкую. А что портит талию больше всего? Роды, конечно. Детей иметь рекомендуется, без детей нет смысла в жизни... но не слишком много: двух детишек, лучше одного. В муках рожать, да еще фигуру портить! Это же просто преступление против высшего назначения женщины.

— А зачем же ты повелел в муках рожать детей своих? — попрекнул я Бхагу. — Допустим, Ева провинилась перед тобой, разочаровала, таблицу умножения выплюнула, а внучки-то ее за что страдать должны?

— Опять клевета! — пожал плечами Бхага. — Я повелел в муках рожать? Да ничего подобного. Тут не ко мне претензии предъявляйте, к Дарвину с его естественным отбором. Ведь внучки-то жили не на Райском острове, на материке, а в ту пору тигры, слоны и носороги еще не числились в Красной книге. Рожали легко широкобедрые, без всяких мук рожали, но они плохо бегали, неуклюже, чаще попадали в когти, чем длинноногие. Вы же до сих пор считаете длинноногих красавицами, восхищаетесь: «Ах, какие длинные, какие стройные ножки!» Ну вот природа и отобрала, естественно, стройноногих, узкобедрых, туго рожаящих. Они-то и подняли крик: «Ах, дети портят фигуру! Ах, достаточно одного ребеночка, скажите спасибо и за одного!» Девственность возвели в культ, храмы весталок понастроили. Бездетность! — ставка на вымирание, тоже мне идеал!

И в результате, сам можешь догадаться, род людской начал иссыхать. Времена были дикие, тигры невоспитанные, в клетках еще не сидели в зоопарках. Плохо бегали не только широкобедрые, но и маленькие детишки, они попадали в когти чаще. Физиология женщины как рассчитана? Десять родить в среднем, чтобы из десяти хоть двое смогли вырасти, потомство дать. А тут вместо десяти один.

Понял я, что надо мне вмешаться, принять меры против этой эпидемии бездетности. И не только о количестве позаботиться, но и о качестве, чтобы каждое новое поколение было лучше предыдущего.

И переходя на торжественный библейский стиль, Бхага заключил горделиво:

— И была ночь, много — тусклых ночей, и был день седьмой. И на седьмой день создал Господь

(242)

«Аэлита-90»

Бог любовь, и увидел дела рук своих, и сказал: «Это хорошо!»

— Это ты придумал хорошо,— согласился и я, смертный.

Глава 5. ВЫБОР

О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои, как два голубя, волосы подобны козочкам, спускающимся с горы, зубки — белоснежные ягнята, вышедшие из реки, один к одному, словно одна мать их родила. Алая лента — уста твои, а речь твоя слаще меда.

Песнь Песней

— С любовью это ты придумал хорошо,— повтори я.— Красиво придумал. Но я не совсем понимаю, при чем тут улучшение рода человеческого?

— Вот тебе на! — подивился Бхага.— Неужели такие вещи надо объяснять специалисту-психологу, кандидату наук? Любовь — это и есть выбор. Невеста-девушка выбирает отца для своих детей, самого наилучшего, самого подходящего. Всех прочих гонит с яростью, с презрением, всех, кроме одного-единственного, своего избранника. Недаром же изнасилование считается у вас, у людей, самым противным из преступлений. Девушку ограбили, у нее отобрали самое важнейшее жизненное право — право выбрать подходящего отца своих детей, силой навязывают какого попало, неизвестного, с бездарной или нездоровой наследственностью. И конечно, вы кидаетесь на помощь... если у вас хоть капля совести осталась.

Мужчина не столь разборчив. Ему и проще найти подругу, и риска меньше. У него хоть сотня детей может быть, вот он и не артачится особенно. Молоденькая, хорошенькая, здоровая, ну и ладно, согласен осеменить. Но у женщины сколько детей может быть? Десяток-полтора во всей жизни, обычно меньше. И каждому надо посвятить по меньшей мере лет десять-двенадцать. Тут осторожность нужна, чтобы не плакаться все эти годы. Ты вот представь себя на месте девушки-невесты...

— Никогда не мог себе представить,— возразил я с раздражением.— Что за роль? Сиди и жди, чтобы к тебе начали приставать. И еще горюй, если не пристаёт никто, не соблазнился.

— А ты войди в роль, господин психолог,— настаивал Бхага.— Вообрази: тебе девятнадцать лет, а можешь и восемнадцати еще нет. Ты юная, неопытная, людей мало знающая, а спутника надо выбрать на всю жизнь. Смотришь на него и прикидываешь: какие дети будут у вас, стоящая ли достанется им наследственность, и хорошим ли будет он мужем и отцом, сумеет ли вас с детьми защитить и сумеет ли прокормить? И надежный ли он человек, не подведет ли, не передумает ли, не надоеет ли ему трудиться шесть дней в неделю, не бросит ли тебя, погнавшись за другой молоденькой, хорошенькой?

— Девушка не рассуждает так цинично, девушка сердцем выбирает,— возразил я с возмущением. Очень не понравились мне эти генетически-экономические расчеты.

— Безусловно, выбирает сердцем,— охотно согласился Бхага.— А сердце-то как выбирает? Ведь это я программировал сердце девичье, я составлял для него инструкцию, правила выбора суженого. Точнее, не правила, а приметы. Нужны же какие-то внешние приметы, если рассудок молчит. И сердце девичье знает их отлично.

Первые: приметы хорошей наследственности. Какие? Молодость и красота. Красивый — это и значит здоровый, так организовал я ваш вкус, люди.

Молодой — значит, долго проживет еще, не скоро выйдет из строя, много лет будет кормильцем.

— Я знаю тысячи исключений,— не утерпел я.— Знаю хилую молодежь и крепких кряжистых стариков, знаю жалостливых женщин, которые влюбляются в слабых, слабодушных, болезненных, жалких даже, знаю юных красавиц, обожающих седовласых львов.

— Не перебивай ты меня со своей тысячью исключений,— возмутился Бхага.— Ты знаешь тысячу исключений, а я дал правила для миллиардов. Правило гласит: сердце девушки тянется к молодому мужчине, чаще не к ровеснику, не к зеленому юнцу, а к парню постарше ее лет на пять-семь, уже набравшему силу и опыт. Правило второе: признаки для исправления наследственности; ради этого сходятся противоположности. Блондинкам нравятся жгучие брюнеты, брюнетки тают перед голубоглазыми, толстушкам нравятся тощие, костлявым — полные, тем и другим — приезжие-иностранцы. Почему? У непохожих наверняка запас новых генов, они дополняют фонд девушки, исправят недостатки, детискам предоставят более щедрый выбор генов. И любятся противоположности, стараются обеспечить золотую середину. Такие же правила и с темпераментом: бойкие сходятся с молчаливыми, смиренные с активными.

— Очень уж расчетливо у тебя получается, девушки так не рассуждают.— Я все отстаивал свободу сердца.

— Не рассуждают, но так чувствуют,— сказал Бхага.

— Важно, чтобы любовь была настоящая,— упорствовал я.

— Ну да, настоящая, верная и долгая. Но как ее распознать? Словам поверить? Услышать: «Я тебя люблю больше всех, больше всего на свете, люблю до гроба, люблю больше жизни...» Но ведь слова эти так стерлись от частого потребления. Девальвация у вашего слова «любовь». Вот представь себе: твердят, твердят, твердят тебе про любовь, твердят в шутку и всерьез и от скуки, а ты — девушка — решать должна, распознавать...

— Да не могу я представить себя девушкой...

— Не можешь представить, хотя бы посочувствуй!

И что же придумал этот хитрец, что он извлек из моей памяти? Извлек румяную, густобровую и горбоносую девицу, никогда не тянулся к таким, довольно плотную, грудастую, широкобедрую, с низким голосом и чуть сероватой кожей,— короче говоря, Лену извлек — дочку мою собственную.

Мне хорошо запомнился тот вечер. Именно тогда дочка огорошила меня, объявила: «Папа, я выхожу замуж». Я пришел с работы усталый и сразу был оглушен. У Лены собрались гости: «междусобойчик», как это сейчас именуется, ребята отдыхали в неслыханном гвалте: был включен «маг», одновременно и «телики», кажется, и «стерео» заодно. Молодое поколение чувствует себя спокойнее в диком грохоте. Кто может, кому легких хватает, всех перекрикивает; шептаться тоже удобнее; и на виду, и никто не слышит. Впрочем, парочек я не заметил по углам.

— Кое-что я перемонтировал в сценке,— пояснил Бхага.— Убрал несущественные фигуры. Хотел показать тебе, как выбираются женихи.

— Разве это все женихи? — подивился я.

— Если не женихи, то кандидаты, стажеры-практиканты. Лет с пятнадцати обе стороны ведут прикидку, зубки точат...

Зубки точились со страшным гвалтом, пожалуй, и точильный камень заглушили бы. В разгаре была свистопляска, которая в наше время называется молодежным танцем. Плясали все, кто во что горазд, на ходу придумывая коленца посмешнее. Дочка же моя визжала под люстрой, где ее крутил, держа на

вытянутых руках, некий малый почти баскетбольного роста с малиновым от напряжения лицом.

Наконец, спустил на пол. Раскрасневшаяся девочка взглянула на него с улыбкой... восхищения, если не ошибаюсь.

— Если бы так на кольцах работал, чувак, быть бы тебе с медалью,— закричал, хохоча, Евгений — подвижный парень в желтой майке, далеко не такой могучий.

Герой пробормотал, что раз на раз не приходится, кольца — они круглые. Не догадался сказать, что медаль оторвал бы обязательно, если бы Лена на него смотрела. И дал возможность парасуджидать желтой майке о ненадежности спортсмена. Краток век чемпиона. В тридцать лет уже пенсионер. Ненадежный муж.

Вспышка радостного визга оповестила о появлении еще одного «жениха». Круглолицый, коренастый, с маленькими глазками и рябушками до самых ушей, преподнес моей красавице букет роз — семь розовых и одну алую.

— Восемь, Лена,— сказал он.— Сегодня восемь месяцев, как мы познакомились.

— А через месяц — девять. А через два — десять? А сколько же это будет к пятидесятилетию? — загалдели вокруг. Соседка же моей дочери, дурнушка с унылым длинным носом, прошептала грустно:

— Наверное, это настоящая любовь. На твоём месте я не колебалась бы, Лена.

Балагур в желтой майке не замедлил сбить расстроганность.

— Паша, а ты штаны не порвал на этот раз? Я же знаю, твоя мать розы растит за колючей проволокой. За каждый букет штаны покупать, никаках оранжевой не хватит. Подумать: двенадцать пар в год! Ты же за год Ленку не уговоришь, она у нас гордая.

Паузой меж тем воспользовался гривастый парень в вельветовой куртке с явно заграничной нашьепкой. Он включил тягучую музыку и повел мою дочь в обнимку, лицо к лицу, три сантиметра до поцелуя.

— На Западе рок уже выходит из моды,— серьезно делился он важной новостью.— Рок бацают только в портовых забегаловках. Летом отец возьмет меня в круиз, я устрою инспекцию по всей Европе. И дисков притащу под завязку. Нет, не порно. Порно — это для тех, кому за тридцать, утешеньице для выходящих в тираж.

— Твоя дочка явно пользовалась успехом,— заметил Бхага,— у нее был большой выбор.

— Разве это выбор? — возмутился во мне ревнивый отец. Я же их знал всех, этих ребят, мои студенты в большинстве. У гимнаста не было ничего кроме роста, в институте его держали за спортивную славу, а слава-то шла на убыль — двадцать четыре года, почти «старичок». Паша на самом деле был совсем не щедер, расчетлив и даже скуповат, привыл со своей матерью торговать цветами, вот и здесь выторговывал невесту за букеты из своего сада. Сын капитана одевался по моде; невелика заслуга, если отец полгода в заграничных рейсах. Женя же балагур, мастер подковырки и свежего анекдота; у него всегда в запасе последние сплетни об известных людях, создается впечатление, что он дружит знаменитостей. А вот «уменького» Лена не замечает, того, что сидел в сторонке, спорил о всяких «измаха».

Этого парня я сам познакомил с Леночкой. Он пришел ко мне консультироваться с другого факультета и показался мне вдумчивым юношей, хотя и самонадеянным по молодости. Собирался, представьте себе, отменить старость вообще, всем на свете даровать вечную юность. Доказывал, что старость специально запрограммирована организмом, чтобы обеспечить смену поколений, необходимую животным для развития вида, обещал все это перепрограммировать.

(244)

Но занимался основательно сверх программы, всерьез. Нет, я не уповал, что сам как будущий тесть получу в подарок вечную молодость, но мне импонирует размах этого юноши, размах в сочетании с практической деловитостью. Лена сказала, однако:

— Жутко нудный он со своей хваленой наукой. И вообще, кому нужно это тоскливое бессмертие? Сейчас мне двадцать и в сорок лет будет как бы двадцать, и в шестьдесят. Несправедливо! Жизнь должна идти вперед. Мама была девушкой в свое время, потом вышла замуж, стала мамой, я выйду, тоже стану мамой, а она бабушкой, внуков захочет нянчить. В жизни надо все перепробовать, а этот твой доктор будущий какой-то застой придумал. Ни шагу вперед, никакого развития.

— Умненький Лене казался скучным,— заметил Бхага.— Ее не волновали ученые разговоры. А другие четверо нравились, каждый по-своему. Спортсмен — ловкостью и силой, с модником приятно было ходить под ручку — хорошо одетые люди идут в театр на хорошие места. Паша трогал ее упорным ухаживанием, надежностью. Выбрала же она, сам знаешь, самого интересного, веселого, остроумного. Молодая девушка — весело жить хочется.

— Ей веселье, мне заботы,— заворчал тесть (я).— Веселый за словом в карман не лез, знал, как к кому подлаживаться.

— Папа,— передразнил я его,— папа, чтобы брак был прочным, надо, чтобы Лена не ощущала ущербность, не жалела ни разу, что выбрала меня. Но я не вошел еще в силу, ты нам помоги, папа, устроим свадьбу как следует. Пусть это будет мой долг.

И потом:

— Надо, чтобы Лена не ощущала ущербность. Ты нам помоги, папа, с кооперативной квартирой. Пусть это будет мой долг. Я его выплачу, вот увидишь.

— Ты нам помоги, папа, с машиной. Я расплачусь, не сразу, постепенно...

— И ты помогал, конечно,— не то спросил, не то констатировал Бхага.

— Помогал,— вздохнул я. Можно сказать — потакал. И все за счет дела. Откладывал главное, откладывал и дооткладывался. Не знаю, кто теперь будет одалживать Жене, кого он будет похлопывать по коленке, кому заглядывать в глаза.

— Что же ты характера не проявил? Понимал же, что это все ему нужно, не дочке.

— Видишь ли, Бхага, да впрочем, ты все видишь лучше меня. Ленка как-то слилась с ним, растворилась совершенно. Я не знаю, что он сделал с девочкой. Как студентка она выделялась, мысли высказывала смелые, оригинальные даже. Ничего не осталось, ничего! Только: «Женя сказал, Женя считает, Жене необходимо, Жене нужно срочно...»

— Но это и есть любовь,— изрек Бхага.— И дочка твоя счастлива, что ей досталась подлинная любовь, не суррогат. Ты это понял?

— Понимаю, потому и уступил. Но видел, что парень-то нестоящий. Языкатый, хитроватый, поверхностный. Положения добьется, а выдать ничего не выдаст полезного. А ты никак не мог сделать, Бхага, чтобы девушки не приметили ума видели бы, а подлинный ум, подлинную силу?

— Тут мы и выходим на главную трудность,— вздохнул он.— Что-то неправильное в вас, люди, ищите вы все мои улучшения. Вот я поместил Адама в Рай, создал ему все условия для обучения, он бездельничал и болтал. Дал женщинам красоту, чтобы они мужчин привлекали, они начали себя тряпками украшать, увлеклись украшением ради украшения, даже твердят, что мужчины не понимают ничего в одежде. Дал им возможность выбора «по сердцу»: полюби самого сильного или самого доброго, или самого умного! Умному дал способность говорить,

«Алига-90»

выскажись, прояви себя. Нет, идет болтовня ради болтовни, жонглирование ради острого слова, выбирают не умного, а нахального, насмешника, зубоскала.

Слушая Бхагу, я и сам невольно начал придумывать предложения:

— Может быть, ум демонстрировать на диспутах — кто кого переспорит? А силу — на стадионе, на честных спортивных соревнованиях? А потом что? Девушка автоматически влюбляется в чемпиона, избравшегося на треугольный пьедестал почета? Смешно! Пошло!

— До подлинной силы люди додумались тоже, — вздохнул Бхага. И, свернув в рулон вечеринку с дочкой и всеми ее поклонниками, извлек из моей памяти нечто неожиданное.

Деревенскую изгородь увидел я — неровные горбатые жерди, скачущие по овражку, вечерний сумрак синевы чистой, глаз радует эта чистота красок. И три тени с трех сторон, четвертая от калитки сзади, так что отступать некуда.

— Вот что, студент, — цедит сквозь зубы одна из теней, та, что правее. — Приехал, пожил и уезжай по-хорошему. А к нашим дедам не клейся, они не про тебя. Лучше намывься отсюда попроворнее, пока мы тебе районную больницу не обеспечили. — И при этом выразительно помахивает гаечным ключом.

Глава 6. ДВАЖДЫ ДВА

$$\begin{aligned} 2 \times 2 &= 4 \\ 5 &> 4 \\ 10 &> 5 \\ 1000 &> 100 \end{aligned}$$

Учебник математики для 1 класса

В каждой серии главный выигрыш падает на один номер, остальные номера той же серии получают 1 рубль.

Правила лотереи

— Потомки Адама, — пояснил Бхага, — довольно быстро догадались, что два человека сильнее одного, четверо — тем более. Сильнее же всех тот, кого слушаются эти четверо.

А дальше рассказывать почти и нечего. Дальше на все века действовали простые правила: вооруженный сильнее невооруженного, из двух воинов сильнее тот, у которого оружие лучше, но сильнее всех многочисленнее. Таковы правила на три тысячи лет, остальное — иллюстрации.

И покатила перед моими глазами иллюстрированная история войн, очень пестрая, очень красочная и очень кровавая. Даже удивился я задним числом, почему взволновал меня тот мальчик на рельсах. Тысячи тысяч мальчиков, раздавленных, затоптанных, искалеченных, изуродованных, валялись по всей сцене.

Сначала с воплями и гиками пронесли колесницы. Два коня и два воина, один правил, другой махал мечом. Непонятно было, как он мог устоять, да еще и сражаться. Шаткие планки со сплошными колесами без спиц вихлялись на каждом бугорке. Но мчались и мчались озверевшие зубастые кони; не от меча, от коней бежали в ужасе смуглые и курчавые пешие воины.

— Между прочим, ваше изобретение — индоевропейское, — заметил Бхага. — Привезли из прикаспийских степей, напугали Индию, Иран, Египет даже.

И снова мчалась конница, верховые на пополах, еще без стремян и седел, оскаленные, с вытаращенными глазами...

Потом шагала греческая фаланга — внушительно и организованно, живая крепость, оцетинившаяся

пятиметровыми копьями, по три воина держали каждое. И беспомощно вертелись перед копьями всадники со своими короткими мечами, вили в ярости. Фаланга раздвигала их, утюжила равнину, а летящие изнутри стрелы, стрелы, стрелы нанизывали всадников и коней.

И этому действию противодействие: бронированные слоны с заточенными клыками, яростно трубя, хоботом через копьё за головы, за шлемы выхватывали из рядов и тумбами-ногами размазывали кровавые лепешки в грязи. А еще через некоторое время (столетия так и мелькали за спиной у Бхаги) против разукрашенных ревуших слонов солдаты в ржаво-красных мундирах выкатили пушчки на деревянных ящиках, вовсе несолидные на вид пушчки, но дымом наполнилась сцена и, толча своих, побежали окровавленные слоны. За пушчками несолидными высунились солидные, по диагонали протянулись длиннорылые дальнобойные стволы. Застрочили во всех углах пулеметы; давя их, вылезли первые танки, медлительные, неуклюжие, угловато-прямолинейные; почему-то они казались страшнее, неумолимее современных — притких, все крушащих, ломающих стволы деревьев, стены разваливающих с ходу. Над ними загудели басисто и заунывно самолеты — железные птицы Апокалипсиса, роняющие взрывчатые яйца. Распались стены домов, обнажая обою жилых комнат... А там и восстал на горизонте ослепительный, все заливший громогласными красками, ядерный гриб.

Бхага сказал:

— Вот в этой истории вашей я окончательно потерял логику. Когда-то солдаты нанимались в наемники, на риск шли, чтобы пограбить, ясная цель грабителя. В современных миллионных армиях солдаты не получают же ничего. Их просто мобилизуют поголовно, ничего не обещая, только убеждая, что жизнь отдать надо. Ну их обманывают... понятно; вы, люди, с готовностью поддаетесь на обман. Но что получают от победы властители? Ведь теперь уже и не полагается заводить гаремы, щеголять в короне и мантии, даже дворцы не принято строить. Современный властитель ходит в пиджаке, руки пожимает всем подряд, живет в казенном, по должности причитающемся доме. Одна жена, один дом, одежда простая. Ни удовольствия, ни чести от показа. Что осталось? Почет. Шепот за спиной: «Это тот самый, который! Это самый могучий!» Да ведь и не самый могучий, самый ли? Уже и силами помериться нельзя, сами знаете: в ядерной войне победителей не будет. Так что же у него есть, у властителя? Златолюбие скупого рыцаря: «В седьмой сундук, в сундук еще неполный, горсть золота заветного насыпать». И ощущение власти: не трачу, но могу истратить. Не начинаю войну, но мог бы и начать. Возможно, кто-нибудь с ключом или с шифром заветным поглаживает заветные кнопки. «Не нажму, но могу нажать. И весь мир в тартарары! Могу!»

А что, если нажмет как-нибудь сдуру? Понимаешь ты, что останется тогда от вашей планеты?

— Ты же знаешь, что наша страна принимает героические усилия, — напомнил я. — Вносят предложения, одно за другим, ведут энергично переговоры. В общем, до людей уже доходит, что ядерной войны Земля не переживет. А ты что скажешь, всеведущий, провидящий будущее? Начнется?

Бхага уклонился от ответа.

— Дьява, мой друг и консультант, считает, что вмешиваться не следует, пусть все идет своим чередом. Он твердит, постоянно твердит, в который раз повторит, что вы, прямые потомки обезьян, слишком много животного сохранили в натуре, слишком много неразумного. Вот вооружались без счета, бомб накопили сверх меры. Кто-нибудь где-нибудь по ошибке или с пьяного куража нажмет кнопку, и мы с Дьявой получим великолепный полигон, не заму-



[246] соренный жизнью. Некоторое время он будет радиоактивным, но мы же — боги — со временем не считаемся, для нас переждать сотню веков не проблема. За эти века мы обдумаем все досконально, учтем ошибки и спроектируем другой безупречный разум. Так предлагает Дьява. У него даже интересные заметки есть.

— Ну, а ты как? Согласен.

Бхага тяжело вздохнул:

— Думаю, что Дьява рассуждает правильно, логика у него безукоризненная, но живое не поддается железной логике: плохо — хорошо, черное — белое. Вот и пророки ваши, судя по «Книге «Пророков», все пытались отделить овец от козлищ, но это не получилось потому, что каждый из вас овца и козлище в одном теле. Вы своеобразный вид, и были бы интересными партнерами при освоении вселенной. Лично я предпочел бы иметь дело с вами, непредсказуемыми, а не со штампованными копиями логичного Дьявы. Но вот запутался я с вашими противоречивыми чувствами, не знаю, за какую ниточку дергать.

И снова переходя на торжественный тон «Библии», Бхага продекламировал:

«И было утро, и день, и вечер, и год далеко не первый. И осмотрел Бог дела рук своих и сказал: «Это нехорошо!» И тогда призвал он обыкновенного человека, уже в могилу сойти готового, и спросил его последним вопросом:

— Почему нехороши дела мои, человеке? Что бы ты на моем месте сделал, смертный?»

Глава 7. ПРИКАЖИ!

Вели идти в твой дом просторный,
Я буду следовать покорно,
Я не отстану ни на шаг.

Скажи, что я твоя отрада,
Прекраснейший цветок из сада,
Я буду слушать не дыша.

Неси меня в руках могучих,
Я лягу, как тебе получше,
Тебя за шею обниму.

Внеси меня в свои палаты,
Я буду подчиняться свято,
Я все твои дары приму.

— Господи! — воскликнул я. — Господи, или, если разрешишь называть тебя, уважаемый Бхага, я очень благодарен, что ты не кичился передо мной, разговаривал, как человек с человеком, несмотря на твое почтивсемогущество, почтивсезнание, явное надо мной превосходство. Но уж коли ты спрашиваешь моего мнения, я скажу одно слово: «Прикажи!» Я в твою божественность не поверил, но люди на Земле верят, большинство, даже подавляющее большинство считает, что есть на небе кто-то мудрый и справедливый, за все отвечающий, все заранее предусмотревший. Так сотвори какое-нибудь чудо для убедительности и продиктуй новые заповеди, не десять, а сорок, сто сорок, четыреста сорок. И не одни только запреты: «Не убий, не укради, не пожелай ни жены, ни вола, ни осла!» Дай указания: «Делай так, и так, и вот так!» Верующие послушаются.

Бхага усмехнулся в усы... кажется, горько усмехнулся, под усами трудно было разобрать. Но в голосе его явно слышна была ирония.

— Ты правильно сказал, человеке: люди хотят, чтобы на небе был авторитет, принимающий за них решения, верят, что есть такой авторитет, сами за себя решать не берутся, друг друга не почитают. Все верно, но есть тут одна сложность. Верующие охотно слушаются богов, когда им приятно слушаться. А если неприятно, очень даже сомневаются... начинают подозревать, что это не я им приказал, а нашептал Дьява.

Вот ты, например. Ты упорный атеист, ты в мою божественность не веришь, но в могуществе убедился. Поверил, выслушав мою историю, что я желаю вам, людям, добра. И вот представь себе, я скажу тебе: «Друг мой, для спасения человечества нужно, чтобы ты сейчас же прыгнул отсюда на землю без парашюта». Пожалуй, ты даже прыгнешь. Решишься. Понадеешься, что я передумаю, удержу тебя, как Явве-Йегова удержал руку Авраама, которому он приказал (очередная клевета на богов!) принести в жертву своего собственного сына Исаака. Понадеешься, что я передумаю, пошлю тебе вдогонку архангела, чтобы подхватить и спустить благополучно на зеленый лужок. Хорошо, изменим условия опыта. «Я предлагаю тебе взять топор и для спасения человечества отрубить себе руку. Правую». И вот уже ты колеблешься. Рубить больно. Жить калекой противно и трудно. Почему же это нужно человечеству? Ты начинаешь сомневаться. Ты в глубоком сомнении. Полно, бог ли придумал такое изуверство? Едва ли бог этот Бхага, бог такое не затеял бы. Человек — образ и подобие божие; божественное подобие надо чтить. Человек без руки уже не подобен богу. Руку рубить противоестественно, это святотатство.

Бог внушил, бог просветил, бог повелел... то, что мне хочется. Лучше всего, если нашлась цитата в Священном писании. «Ура, вы же видите, сам Бог за меня!» Если же не нашлась, если перетолковать текст никак нельзя, есть и добавочная уловка: «В моей голове родилась идея, это Бог подсказал ее мне! Бог внушил, Бог озарил!»

И люди слушают с почтением:

— Бог вещает его устами!

С почтением слушают, если Бог вещает желательное.

Например: это Бог велел мне завоевать и ограбить чужую землю. Давай сюда Палестину, Землю Обетованную, давай хватай, очищай от неверных Сирию, Иран и Египет, или Гроб Господен, или Америку, Северную и Южную.

Нет, не лепил я вас по своему образу и подобию, это вы лепили меня, это вы пририсовали мне руки, ноги, брови, усы и ненужную мне бороду колечками с проседью. Это вы навязывали мне свои привычки, свои нравы, свои заботы и даже свои грехи. Вспомни хотя бы греческих богов, так принято восхищаться ими высококультурному человеку. Это же подобие земных беспардонных властителей, которым все дозволено, потому что сила у них и власть. Глава богов Юпитер — сластолюбивый бугай, который не пропускает ни одной смазливенькой девчонки. Европу он увозит, превратившись в быка, Леду соблазняет в образе лебедя, Данаю под личиной золотого дождя, то ли дождь подразумевается, то ли золотые монеты. А ревнивая и сварливая Гера злобно мстит... кому? Не мужу, конечно, а соблазненным им соперницам. Бедняжку Ио, и без того превращенную в корову, гонит из страны в страну вечно жалающим оводом. Нежная Афродита изменяет мужу с кем попало, а хромой рогоносец ловит ее с любовником в сеть. Боги обидчивы, самодовольны и безжалостны. Музыкальный Марсий посмел хорошо играть на флейте, за это Аполлон содрал с него кожу с живого. Ниоба, мать-героиня же, справедливо гордилась своими двенадцатью детьми. Бездетная Диана перестреляла всех двенадцать. «Не зазнавайся, баба!»

Нечего сказать, хорошего мнения были о своих богах греки. Могучие беспринципные эгоисты. Их надо было опасаться, надо было льстить, угождать, одаривать. Кому-то они помогали за взятку, кому-то по родственным связям. Перед такими заискивать можно было... никак не уважать. И когда люди возжаждали справедливости, культ античных богов выдохся. Ни Диоклетиан со своими казнями и пытками, ни

247

Юлиан Отступник не смогли восстановить иссякшее.

Итак, сначала вы меня сделали властителем, а потом все-таки борцом за правое дело.

Впрочем, поправлюсь — не потом. О нравственности на Востоке задумались раньше, чем в практической Греции. Справедливости хотелось людям, и в Иране сложилось представление о вечной борьбе Добра и Зла, бога доброго — Ормузда, в греческом произношении, с богом Зла — Ариманом. Единственная трудность, надо было еще разобраться, что есть добро и что есть зло. Тут точки зрения расходились. Если бы помимо истории войн вам в школе преподавали еще и историю идеологии, может быть, кто-нибудь и заметил бы, что иранцы дивами называли злых духов, а индоарийцы — добрых. Видимо, отразились воспоминания о давнишних войнах: чужие добрые духи, помощники наших врагов — они наши злейшие враги.

Опять-таки на Востоке, в Египте, а потом и в Иране, богу навязали еще одну должность — быть еще и судьей. Мало было воевать за добро, нужно было еще и оценить участие человека в этой борьбе — доброго наградить, злого — наказать... на том свете, после смерти. Видимо, тогда люди уже поняли, что на этом свете справедливости не дождеешься. В Египте праведных награждали вечной жизнью, грешников просто уничтожали. В Индии, наоборот, уничтожение считалось наградой, а грешников заставляли жить дальше, но в каком-нибудь скверном образе — в собаке, в червяке, в рабе. У иудеев же вообще сначала не было загробной жизни, там наградой считалось многочисленное потомство, «как песка морского», а наказанием — беды этому же потомству, «проклятие до седьмого колена». Не генетические ли болезни подразумевались?

Возражать не приходится. В каждом государстве свой Свод Законов, своя система наград и наказаний. Но почему люди на меня перекладывали все эти должности: и властитель, и распорядитель погоды, и воитель за добро, еще и судья...

А потом еще и адвокат. Бог-Адвокат.

Это уже изобретение христиан, и нельзя сказать, что необоснованное. Из практики войн известно, что неразумно уничтожать всех пленных поголовно, сопротивляться будут яростнее, до последней капли крови. И вот если грешник, закоренелый грешник думает, что уже заработал загробное наказание, зачем же ему исправляться? Все равно вечных мук не минуешь. Значит, надо было оставить ему хоть какую-то надежду. Христианство и предложило ее: покаяние, прощение, заступничество Христа, Девы Марии, святых, монастырей, индულгенции, пожертвования...

Не я придумывал все эти уловки. Две тысячи лет богословы ломали головы над ними, вырваться из противоречия так и не удалось.

Если согрешил, покайся и ускользнешь от наказания.

Но с другой стороны: если есть возможность ускользнуть от наказания, не грех и согрешить.

Как разрешить это противоречие? Я бы мог подсказать. Уберите идею вечных мук, введите сроки для пребывания в аду повышенного режима и без всяких там амнистий к юбилейным датам. Но зачем мне вмешиваться? Я никогда не играл в эти игры с загробным воздаянием. Не я придумал ад с его примитивными котлами и райские оазисы на небесах. Нет их, нет! Не моя вина, что вам так нравятся себя обманывать.

— А может, все-таки устроить? — предложил я. — Ты не мог бы смонтировать по проекту Данте — рай с девятью небесами в космосе, а под землей — ад, где-нибудь под твердой земной корой — в мантии или даже в плазме земного ядра. Мне кажется, ты бы смог это устроить. И все получили бы по справедливости.

«Азита-90»

Признаюсь, я сказал это потому, что очень уж мне не хотелось умирать окончательно, раз и навсегда ложиться в черное ничто. Ради дальнейшей жизни я даже согласен был на умеренное наказание. Ну, отсижу я за атеизм, сколько мне там причитается, десять или двадцать пять со строгой изоляцией в аду, но ведь они кончатся когда-нибудь. И снова будет жизнь, я буду дышать, буду думать и читать (без библиотеки не мыслю Рая, подать мне библиотеку!), а может быть, даже возьмусь за свою упущенную, отложенную книгу о Человеке. Тем более, что прибавятся новые материалы, наблюдения за поведением душ в Раю и в Аду.

Но Бхага отказался:

— Нет, я не буду строить загробный мир по Данте, нет, я не буду строить загробный мир по Мильтону или по Анатолю Франсу, или по Марку Твену. И по твоему проекту тоже. Слишком много пришлось бы строить, чтобы всем угодить. Я же знаю, что сейчас у каждого человека свое понимание справедливости, а у каждого интеллигента свой собственный бог, послушный его вкусам. Да взять хотя бы твоих знакомых...

И Бхага тут же извлек из моей памяти несколько разговоров, совсем даже недавних.

— У природы должна быть цель,— сказал один из моих друзей.— Некое назначение, и некое разумное начало, ведущее к совершенству. Не бог, не обязательно бог, но смысл... нечто, противостоящее бездарной, все уравнивающей энтропии.

— Бог—это справедливость и равновесие. Это натурогомеостаз,— сказал другой.

— Сыночков моих сподобил бы бог увидеть на том свете,— молила старушка, мелко крестясь на пороге церкви.— Только бы узреть, какими взял их—молоденькими, когда поменял сыночков на похоронки.

— А ты поверь,— сказал подслеповатый Пал Палыч, только что осужденный «как не изживший религиозных предрассудков».— Поверь, если он есть там, спасется.

— Неверующий мертв,— сказала Таня.— Это труп человека. Потому что бог это любовь. Люди рождаются для любви.

— Нет, продолжать такую жизнь я не хотела бы,— сказала другая Таня.— Пусть будет другая, легкая, праздничная, порхание со звезды на звезду, с цветка на цветок.

— Бог накажет эту гнусную спекулянтку,— сказала третья Таня.— Обдурила меня на целую четвертную.

— Так каким же богом прикажешь мне быть?— спросил Бхага.— Или так спрошу. Ну и что же вы, люди, хотите от меня? Что вы хотите вообще?

Глава 3. И ЧТО ЖЕ ВЫ, ЛЮДИ, ХОТИТЕ ОТ МЕНЯ!

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня!
М. Лермонтов

— Ну вот я призвал тебя, Человек, и спрашиваю: «Что же вы, люди, хотите от меня? Что вы хотите вообще?»

— МИР нужен нам,— объявил я не задумываясь.— Можешь ты сделать так, чтобы ядерные бомбы не взрывались вообще?

Интересно, что я не в первый раз обращался к Небу с этим главнейшим для XX века вопросом. Несколько лет назад довелось мне побывать в Тбилиси с экскурсией. Водили нас, гостей, по Старому городу со свеженькими балкончиками, навешанными на древние стены, мимо сиропов Лагидзе и храма Сиони. И вдруг взволнованный экскурсовод прибежал с сенсационным сообщением: нашу ученую груп-

пу согласен принять патриарх всея Грузии. Нас привели в кабинет, похожий на министерский, но только с фресками, посвященными святой Нине. Патриарх был благообразен, благороден и вежлив... Он вежлив, мы вежливы, и тут оказалось, что говорить-то нам не о чем. И тогда я брякнул: «Как вы считаете, господь Бог допустит атомную войну?»

Патриарх ответил уклончиво, как и полагается предсказателю. Сказал, что Бог предоставил возможность людям склоняться к Добру или же ко злу. Не очень понятно, почему он при всем своем всемогуществе (в отличие от Бхаги) не захотел сделать их сразу безупречными, всё испытывает, как кубики в лаборатории—на сжатие, разрыв, на изгиб и на скручивание. Почему не захотел? Богословие уже две тысячи лет не может ответить на этот вопрос. И еще подумал я тогда, задним числом правда, что я бы не постеснялся ответить: «Нет, не допустит!» Это было бы в пользу религии... а если бы патриарх ошибся, я бы не имел возможности предъявить претензии.

Что-то в сторону меня заносит! Не о патриархе речь.

— Можешь ты сделать, чтобы ядерные бомбы не взрывались вообще?—спросил я Бхагу.

— Могу, конечно,—сказал он.— Для меня это довольно просто. Техника не по твоей части, но думаю, и ты поймешь. Ты же слышал, наверное, что атомная бомба взрывается, когда соединяются две половинки. В одной реакция затухает. Но я могу так видоизменить вакуум, чтобы реакция заглухла и в двух половинках. Надо полагать, что и ваши ученые додумались бы, если бы позволили себе задуматься всерьез. Конечно, точная автоматика должна быть, но в результате бомба упадет, как обыкновенный камень. В худшем случае крышу пробьет, а то и просто завязнет в болоте.

Я заулыбался радостно, представляя себе такую заманчивую картину: где-то некий генерал, гордясь своей исторической миссией, торжественно нажимает кнопку, на часы взирает, ожидая сообщения со спутников, считает минуты, секунды, триумф представляет... а железная дура сидит в болоте. Хорошо!

— Это ты хорошо придумал, Бхага,—похвалил я.— Но!—возразил он тут же. И плечом показал на сцену, дескать, посмотри, что у меня там за спиной

А там мелькали картины, несколько сразу. Одно время в моде был такой многоэкранный показ: мельтешит, все рассмотреть не успеваешь, но общее впечатление остается—пестроты или мрачности, гибели или расцвета.

Общее впечатление воинственности осталось от этих картинок.

Шагающий отряд запомнился. Гусиный шаг, колонка прямая, носочек оттянут, ступня печатает по асфальту. Рука вперед до пояса, назад до отказа. Лица суровые, надежные, безжалостные. Подметки хлоп-хлоп, все раздавят, что попадет под ноги.

Со вкусом одетая дама с аристократически изысканным лицом и тонкими длинными пальцами пианистки.

— Безопасность моей страны,—говорит она нежным голосом,—гарантирует только ядерное оружие. Бритоголовые в желтых рубашках и с полосатыми воротничками вопят, вытянув руки в гитлеровском приветствии:

— Цветные, вон! Бей цветных! Швеция для шведов!—Или же «Швейцария для швейцарцев!»—не разобрал толком.

Сидя на завалинке, дед с желтыми от табака усами горделиво повествует о былых подвигах:

— В ту пору я молодец был, ох и молодец! Рука твердая, аккуратная! Одним ударом мог развалить всадника надвое—от плеча до седла. Так и падали половинки—одна налево от коня, другая—направо.

— Я могу сделать, чтобы бомбы не взрывались,— повторяет Бхага.— Могу сделать, чтобы не взрывались и снаряды. Но мне кажется, что это далеко не всем хочется. К тому же, кроме снарядов, есть еще танки, тачанки, ружья, шашки и гаечные ключи.

И добавляет:

— Не торопись, приведи мысли в порядок.

Как я возражал? Может быть, и не лучшим образом.

— Бхага, ты сам мне рассказывал, что убийства на Земле начались от скудости, мяса на всех не хватало, дрались до смерти из-за еды. Скудно на Земле и сейчас: не хватает хлеба, не хватает места, не хватает работы на всех. И вооружаются как раз не бедные, не голодные, а именно сытые, боятся, что поделиться заставят. Так не можешь ли ты сделать, Бхага, чтобы скудости не было на Земле, достаток во всех странах, чтобы никому не надо было ехать на заработки ни в Швецию, ни в Швейцарию.

— Это я могу,— сказал Бхага.— Напрактиковался в лаборатории чудотворчества. Обыденная генетика, чуть усложненная. Ты же знаешь, что вся программа любой ягоды, любого животного, человека даже записана в ядрышке одной клеточки. А тут записываешь в ядрышке программу выращивания любой готовой вещи. Но ведь это нормальная генная инженерия. Вы уже знакомы с ней. Развивайте, тогда получится такое.

И он показал мне на сцене сказочную рощу, где кусты были увешаны калачами, румяными, мукой обсыпанными, так хорошо они надевались на веточки. На других были плитки шоколада или торты в картонных коробках, где-то из земли торчали кресла, или же мягкие диваны, всех же плодоноснее выглядели мануфактурные деревья, где на раздвоенных ветках-плечиках висели платья, кофточки, пальто, плащи, пончо, накидки, шубы, не очень тут нужные, блузки, пояса, шляпки... И все это перебирала Ева, переходя от ветки к ветке, снимала, встряхивала, прикидывала, отклоняя голову, рассматривала себя в большой гладкой луже (видимо, металлические зеркала все-таки не получились на генетической основе).

— Рай-Универмаг. Мечта женщины,— заметил я.

Что же касается Адама, он и вовсе разочаровал меня в том Раю. Адам стоял на берегу. Обломал ветку посудного деревца, он сосредоточенно запускать блюдечки рикошетом. У него хорошо получалось: десять, двенадцать, один раз даже семнадцать подскоков.

— Ну вот тебе вариант Рая для современности. Оборудование иное, а люди все те же. Бездельничают, если нет стимула — «материальной заинтересованности», сказал бы ты.

— Как же нет стимула? Ведь Древо Познания стоит в том Раю. И плоды Бессмертия на верхушке.

— А ты уверен, что все люди мечтают о бессмертии?

И снова сомнения свои Бхага подкрепил картинкой из моей памяти. Повторил заявление моей дочери: «Зачем это нужно все? Сейчас мне двадцать, и в сорок лет будет как бы двадцать, и в шестьдесят как бы двадцать. Неправильно! Несправедливо! Мама была девушкой в свое время, потом вышла замуж, стала мамой, теперь моя очередь любить, я выйду замуж, тоже стану мамой, а она бабушкой, внуков захочет нянчить. Жизнь должна идти вперед, а твой доктор какой-то застой придумал. Ни шагу вперед, никакого развития...»

— Молодая она еще, мало в жизни видела,— возражал я.— Влюблена, погружена в любовь, ничего знать не хочет, сегодня счастлива, думает, что так и будет всегда. А люди зрелые все отдали бы за молодость. Ну если не все, подавляющее большинство.

— Если бы люди хотели бессмертия, они бы под-

держали твоего молодого доктора,— сказал Бхага.— А то ведь он мыкается по канцеляриям, прошения подает в сотом варианте: «Позвольте мне, пожалуйста, разрешите попробовать найти путь для вечной вашей молодости».

— Раскачиваемся мы долго,— вздохнул я, вспомнив главный свой грех.— Откладываем все. Натуру человеческую менять надо.

— Ну и меняйте. Кто мешает?

И тут я подумал нечаянно,— такая мелькнула у меня непрощенная, черновая, необработанная мысль,— подумал я, а почему это Бхага отказывается от всех моих предложений. Сам же поставил вопрос четко: «Что вы, люди, хотите от меня?» Я называю одно, другое, третье... И ни разу не услышал: «Сделано!» На все находят возражения, уклончивые сомнения, опровергающие примеры. Полно, да хочет ли Бхага выполнить мои пожелания? И главное: может ли? Вот возится он с человеком миллион лет с лишним, копается, как неумелый скульптор, что-то отсекает, а что-то прилепывает. Методом «тык» работает: получится — не получится? Заблудился в трех соснах. Тоже мне бог!

Подумал я такое и перепугался. Вспомнил, что Бхага читает же мысли, читает всякие: черновые, грубые, необработанные, не облеченные в деликатную форму. А как выразить их, чтобы не обиделся? Или не выражать вообще? Промолчать? Может, и не замечал.

С опаской глянул я на него исподлобья. Брови сдвинуты, морщины на лбу, но, кажется, лицо не гневное. Скорее усталое, даже грустновато-усталое, подавленное. Можно понять его: миллионы лет трудов, а венец творения так и не получился.

И сразу вспомнилось, то ли вспомнилось, то ли сам Бхага повторил мне сценку из своей молодости. Вот в конце мезозоя боги-юнцы, многообещающие отличники принимают дела у старого динозаврового бога, «отстраненного от должности, как не справившегося со своими обязанностями». Что-то он пытается объяснить, ссылается на земные трудности, делится опытом во имя самооправдания. Но не слушают его самоуверенные преемники: остролицый горбоносый Дьява, с трудом сдерживающий ироническую улыбку, и молодцеватый Бхага в белом мундире с начищенными пуговицами, образцовый выпускник школы богов.

— Молчал я из вежливости,— говорит затем Дьява другу-сопернику.— Жалкий старик, болтает пустое, время тянет. Если провалил дело, надо хоть уходить с достоинством. Ни единого слова я не запомнил, все ерунда. Выжечь, забыть и начинать заново!

Бхага все же добрее, хоть и выглядит простецким рубашкой, строевым офицером.

— Нет, я слушал внимательно,— говорит он.— Уловил и рациональное зерно. Надо вписывать разум в здешнюю живую природу. Так будет и быстрее и легче.

— Легкой жизни захотелось,— кривит губы Дьява.— Начнешь легко, потом заплачешься. Запутаешься в противоречиях и зря потеряешь миллиончик лет. Все равно придется освобождать планету. Ты меня позови, я чистоенько подмету, пройдусь нейтронами по всей поверхности, ни одной биомолекулы не оставлю.

— Может быть, Дьява и был тогда прав до некоторой степени,— вздыхает Бхага.— Жалко все-таки! Конечно, жалко ему: себя жалко, трудов своих жалко, наверное и нас всех жалко: столько возился с нами, столько души вложил. Да... запутался. До того дошел, что человека позвал на совет. Дошел до последней крайности.

— Неужели нельзя придумать что-нибудь? — вырвалось у меня.

(249)

«Азита-90»

— Вот и придумай. Говоришь, что люди хотят быть лучше. Может, и хотели бы, но не очень стараются. Ты предложи такой стимул, чтобы старались, рвались бы к совершенству.

— А зачем же обязательно стимул? Нельзя без стимула? — брякнул я.

Последовала пауза. Видимо, такая постановка вопроса была новинкой даже для Бхаги.

— Без стимула не получается,— произнес он задумчиво.— Тело-то у вас от обезьяны, оно тормозит разумное, если стимула нет. И сносит вас все время на стимулы ради стимулов: наслаждение без размножения, не любовь, а игра в любовь, красота ради красоты, спорт ради спорта, власть ради власти, деньги ради денег. Какие же стимулы придумать вам, чтобы вы стремились приблизиться к богам, какие плетки, какие пряники?

— О, Господи, Господи! — воскликнул я.— Уж если ты повел со мной разговор на равных, позволь противоречить. Ты хочешь, чтобы мы стали товарищами богов, богоравными, тогда зачем же такой снисходительный подход: даю такой стимул, даю другой стимул, кнут, пряник, отшлепаю, конфетку суну. Нет, мы не обезьяны, нет, мы не собачки дрессированные, не капризные детки-несмышлениши. Мы взрослые люди в конце концов, и разговаривай с нами, как со взрослыми, объясни по-человечески, мы поймем, что требуется. Мы же в жизни умеем делать, что НАДО, умеем терпеть, сдерживаться, подавлять сиюминутное, даже если сию минуту голодно, холодно, даже если боль невыносимая, даже если смертельно опасно...

— И больно, и смертельно опасно? — переспросил он.

— Ты же сам знаешь. Привести исторические примеры?

— Бывало,— согласился он.— Шли на жертвы и даже напрасные.

— Но ты сделай так,— тут же я внес поправку,— так сделай, чтобы «Надо» доставляло удовольствие, чтобы люди не скучали бы, не ворчали бы, взбираясь на новую ступень, чтобы ликовали, как... — поискал пример,— как мать ликует, возясь с младенцем. И ничего ей не противно, не жалко отдать, все радостно... Если мать нормальная,— добавил я все-таки.

— И ты уверен, что люди поймут «Надо»? — переспросил он.

— Безусловно. Разумные люди понимают слова.

— И захотят совершенствоваться, менять свою человеческую натуру?

— Захотят. Если не все, то подавляющее большинство.

— А не следует ли спросить это подавляющее большинство?

— Как ты спросишь? Референдум объявишь? Анкету разошлешь?

— Спрошу. Есть у меня такая возможность,— усмехнулся он.

Я ждал, в уме уже составляя параграфы анкеты.

— Кажется, ты говорил, что хотел бы пожить еще на Земле? — спросил он неожиданно с подчеркнутой небрежностью.

— Конечно, хочу. Еще как! Очень даже хочу.

— Ну и живи!

Я вопросительно глядел на Бхагу. Что он имел в виду, этот мнимобородатый, мнимобровастый, мнимоседой квази-Саваоф. Что означает: «Ну и живи!»?

И тут борода и суровое лицо, вся могучая фигура на простецком деревянном троне стали как-то блекнуть, словно при отключении телевизора. В лицо мне дунул сильный ветер, я зажмурился и почувствовал, что меня куда-то тащит задом наперед, тянет и всасывает в темную дыру, а за ней знакомый уже колодец, с мокрым от сырости срубом, заляпанным

1250 блестящими слизистыми грибами. Бревна замелькали быстрее-быстрее-быстрее, меня несло вниз. Куда?

В узкую, крашенную маслом в светлый цвет реанимационную, где над кем-то, прикрытым серым одеялом, склоняется молодой доктор.

Сначала я увидел его спину и почти одновременно — лицо. Лицо выражало брезгливую нерешительность. Ему предстояло сказать: «Ничего не поделаешь, летальный исход». Но очень уж не хотелось произносить эти беспомощные слова.

Сестра взяла лежащего за руку. «Пульса нет», — вздохнула она и с жалостью посмотрела на молодого доктора. Не лежащего, а доктора жалела она, понимала, как неприятно докладывать будет ему о летальном исходе на дежурстве. А тому, что под серым одеялом, было уже все равно.

— Четвертый случай на этой неделе,— сказала сестра, утешая доктора. Дескать, служба такая, у всех неудачи.

Доктор нерешительно протянул руку, приподнял лежащему веко, чтобы убедиться, что зрачок не реагирует на свет. Это было не больно, но неприятно. Неприятно же, когда чужие пальцы тычут тебе в глаза; я отвернулся чуть.

Врач отшатнулся. Сестра всплеснула руками.

— Ну, доктор, вы просто маг и волшебник,— воскликнула она, глядя на него влюбленными глазами.— Обязательно опишите этот случай в своей диссертации.

И вст я живу.

Случай мой действительно описан в диссертации, кто сомневается — может проверить.

Живу. Хожу. Спрашиваю:

— И как же мы хотим жить? И какими хотим быть? И все ли считают разумным то, что я назвал разумным? И сами войдем в разум или так и будем ждать второго пришествия?

Слова говорю. Доходят ли?



НЕ ОТПУСКАЯ РУКИ...

Анна БЕЛОШИСТАЯ

На вопрос дочерей: «Ваше любимое занятие?» — Маркс отвечал: «Рыться в книгах».

Хочу спросить вас, читатель, когда вам в последний раз посчастливилось порыться в книгах, среди которых была надежда найти что-то по душе? Боюсь, вспомните вы совсем другое: как давились в озерной очереди; как таскались с неподъемной макулатурой, карауля момент, когда появится талон на то, что вам хотелось бы приобрести; как заплатили 35 рублей за модавское издание Крапивина в «договорных ценах»... или 25 за сказки братьев Гримм... и теперь вам страшно дать эту книгу в руки своему ребенку или (не дай бог!) его приятелю...

Два года прошло с тех пор, как я писала о катастрофическом состоянии вопроса о детском чтении вообще и о доступности (вернее, недоступности) для детей их любимого жанра — фантастики. Две толстые папки с письмами вручил мне редактор отдела фантастики «Уральского следопыта» — и я поняла, читая эти письма, что раз сказано «А», уже нельзя замолчать, надо говорить и делать «Б»!

Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто нам написал, кто поддержал и, думаю, будет поддерживать нас и дальше. Спасибо всем! Теперь я убеждена: выбранный в мае, на «Аэлите», новый ВС КЛФ должен работать свой срок под девизом: «ДФС — быть!»

Если наша 25-томная «БСФ» стала образцом добрых сериалов для всего мира, пусть новая «Детская фантастическая серия» тоже станет таким образцом. А насколько эта затея реальна, зависит и от всех нас... Прежде чем привести список, получившийся в результате, мне хотелось бы объяснить, каких принципов мы придерживались при отборе.

Читая этот список, каждый из вас заметит, что в него вошли не всегда лучшие вещи того или иного писателя. Это произошло потому, что верхний возрастной предел читателя этой серии мы решили ограничить примерно 14—16 годами: к этому возрасту «сознательный читатель» уже, как правило, сформирован и дальше, как говорится, «пробьется» сам. Главная наша цель — помочь такому читателю сформироваться, а для этого нуж-

но, чтобы более-менее соответствующие возрасту книги попадали в руки вовремя. (Все, конечно, относительно: один читает «Таинственный остров» в 7 лет, другой — в 12, а я, например, до сих пор с наслаждением перечитываю «Вини-Пуха»). Второе — это, конечно, проблема объема. Я тоже, как и многие из вас, не представляю себе книжной полки своих сыновей без «Одиссеи капитана Блада», без Оцеолы и Кожаного Чулка... Но ведь мы создаем ДФС! — и потому, хотя сердце и обливалось кровью, убрали и «Робинзона Крузо», и «Дочь Монтесумы», и всех перечисленных и непечисленных выше... Хотя прекрасно понимаем, что ни книга из «Библиотеки приключений», ни «золотая рамка» практически никогда не упадут в руки нашему с вами ребенку.

Объем и без того получился внушительный. 70 томов — это почти две книжные полки. При этом мы приняли сторону большинства читателей и теперь тоже считаем, что эти томики должны войти в каждый дом, где есть дети, и там остаться — детям, детям, внукам... А это значит — тираж 5—6 миллионов. Да, цифры из области фантастики. Но «скупой платит дважды», а при сегодняшнем уровне духовности, интеллигентности, культуры советского человека экономика на детской книге приведет нас очень скоро к необходимости платить вдесятеро. Наука говорит, что генофонд нации можно загубить в течение трех-четырех поколений. Сколько надо поколений, чтобы полностью утратить культуру? Тем, кто родился в 70-м, сегодня двадцать: «поезд ушел». Тем, кто родился в 80-м, сегодня десять, это критическая точка, еще 3—5 лет, и этот «поезд» уйдет тоже... Два поколения. Сколько надо? Три? Поколение, родившееся в 90-х, будет третьим. Мы должны успеть. Это наши с вами дети и внуки!

Отбирая книги для ДФС, мы придерживались мнения, что книга для ребенка не должна обязательно быть источником информации. Главное — она должна нести максимально возможный эмоциональный заряд. Давая все новую и новую информацию, мы крадем у ребенка время, отведенное ему природой для игры и естественного процесса познания жизни. Малыш познает

жизнь через игру, и этой игре («ролевой игре», как называют ее психологи) учит ребенка не только окружающая его действительность, но в большой мере книга. Вспомните детство, читатель, — мы с вами играли не только в доктора, продавца или летчика, но в Ивана Царевича и Кощея Бессмертного, в Робин Гуда и Чингачгука...

Эти игры давали нам возможность придумать самим массу невероятных, пусть и воображаемых приключений. Но помните! — всем хочется быть благородными разбойниками, спасать, защищать, а если казнить, то по справедливости... А заметили вы, что сегодня дети не играют в литературных героев? Вообще не играют! Даже малыши 5—7 лет! Наши дети даже в игре, в воображении не тренируются в совершении нравственных поступков, благородных, милосердных, щедрых поступков. А часто ли в жизни встречается им ситуация, где можно проявить эти качества?

Между тем, навык вырабатывается путем многократного повторения. Но как может вырабатываться «навык» нравственности без тренировки одной даже в воображении?! Именно поэтому мы настаиваем на большом тираже и качественном исполнении ДФС — эти книги должны выдерживать многократное прочтение не самыми бережливыми читателями. Это совершенно необходимо, иначе возникает проблема типа «Учебник».

Те, у кого есть дети-школьники, знакомы с этой проблемой более чем близко: когда дома нет учебника — нет и возможности что-то повторить, вернуться к пройденному, осмыслить с точки зрения новых знаний. Но ведь художественная книга — это тоже учебник, учебник нравственности.

У каждого есть любимые книги, которые он может перечитывать и пять, и десять раз. По-настоящему глубокая книга от этого только выигрывает, как и читающий ее: каждое такое прочтение высветливает какую-то новую, ранее не замеченную грань. Да и просто чтение любимой книги доставляет вам удовольствие, радость, не так ли? Почему лишены этой радости наши дети? Если у вас, читатель, есть ребяташки, вы наверняка заметили, что малыш готов слушать одну и ту же сказку чуть не каждый день

неделю и две подряд, а через месяц, другой — снова: хоть из ваших уст, хоть с пластинки. Это характерная особенность не только маленького ребенка, но и подростка.

Лишая малыша возможности перечитывать любимые книги, мы рубим сук, на который нам так хочется сесть, мы отбиваем у него желание сознательного чтения.

Человек, которого кормят чем попало, а не тем, что он любит, вряд ли будет испытывать удовольствие от этого процесса. Вынудив ребенка читать то, что случайно попадает в руки, лишив его возможности выбора (а в условиях вопиющей нищеты наших библиотек слова «свободный выбор» звучат почти издевательски), мы не имеем права рассчитывать на то, что из него вырастет ЧИТАТЕЛЬ!

Сегодня даже авторы программ и школьных учебников вынуждены признать, что школа с задачей воспитания ЧИТАТЕЛЯ не справилась и не справляется. Школьный курс литературы способен напрочь отбить желание читать даже у первоклассника (загляните в «Книгу для чтения» или учебник по русскому языку для первого класса).

Сегодня наши дети смотрят телевизор и ходят в кино с большей охотой, чем в библиотеку. Это закономерно. Кино, телевизор, видео с лихвой покрывают недостаток качества широкой информативностью, звуком, цветом, движением. И даже тут, обратите внимание, понравившийся фильм подросток может смотреть и десять раз, а один и тот же мультимедийный фильм смотрит столько раз, сколько покажут. Почему? Да потому, что ребенок не только и не столько смотрит знакомый фильм, сколько переживает его: мысленно отождествляя себя с героем, живет там, в той жизни, совершает те поступки — сам. Именно поэтому любимый сюжет подростка — авантюрный. Он более всего соответствует состоянию психики в этом возрасте: резкие колебания настроения, жажда самостоятельности, жажда деятельности и полная невозможность реального воплощения всего этого...

Этими вопросами занимался советский литературовед М. М. Бахтин. Он писал, что в авантюрном сюжете взаимосвязи действующих лиц и событий, участниками которых они являются, не predeterminedены и не ограничены социальным миром с его жесткими закономерностями.

Про авантюрного героя нельзя однозначно сказать: кто он? У него нет твердых социально-типических и индивидуально-характерологических качеств, из которых слагался бы устойчивый абрис его характера. С ним все может стать, и он всяким может стать. Он — прямая противоположность героя реалистиче-

ского, семейного или биографического романа, ибо полностью исключает из своей жизни социальное благообразие. Человечность авантюрного героя не конкретизирована ни социально, ни классово, ни сословно...

С помощью таких жанровых ограничений, влекущих за собою известные потери, достигается захватывающий интерес повествования, завлекательность коллизий, вводится исключительность в гущу повседневности, выражается демократическая симпатия ко всем униженным и оскорбленным, всем слабым мира сего.

Такой сюжет и такой герой — бальзам на душу ребенка, мечущуюся из израненную столкновениями с острыми гранями реальности. Авантюрный роман позволяет сохранять в себе и лелеять дух человечности, минуя хитросплетения социальных и культурных учреждений, «правил поведения» классовых и семейных отношений. Самая острая потребность в подобной нише у подростка, поскольку он жестче, определеннее привязан к социальной реальности, сразу освоить которую в должном объеме и с взрослой рассудительностью ему просто не под силу.

Однако авантюрный герой, как правило, лишен и четких нравственных рамок, что только усиливает его привлекательность для подростка. Мы учились и это: составляя списки книг для 8—12 и 12—14 лет, мы постарались отобрать максимальное количество «авантюристов» с благородным уклоном. При этом, на наш взгляд, довольно удачно мы «вписали» в сериал и лучшие — доступные подростку — образцы лирической (О. Ларионова, Р. Янг...), психологической (А. и Б. Стругацкие, А. Громова, М. Анчаров...) и философской (Г. Гор, С. Вольф...) фантастики, не забыв и юмор (Г. Каттнер, Д. Пристли...), и пронзительно-чистую романтическую сказку самой высокой пробы (А. Грин, А. Сент-Экзюпери...). Заканчивая серию книгой И. Ефремова «Час Быка», мы сознательно «отрубаем» и «взрослых» Стругацких, и «Мастера и Маргариту», и «Игру в бисер», и многое-многое другое, то, что стояло в наших списках под рубрикой «от 16 и дальше»...

Дальше — сами!.. Мы берем за руку 2—3-летних и вводим их в мир дивный, необыкновенный и прекрасный. Десять лет мы будем идти рядом с ними, возвращаясь, когда понадобится, назад, останавливаясь в полюбленных местах — вместе, не отпуская руки... И наконец, расстанемся, вручив им «Час Быка» — книгу-Кассандру, опередившую время на 20 лет, книгу, которая твердой рукой незабвенного Ивана Антоновича вводит человека в такое

благополучное с виду «сегодня», на самом же деле — это страшное «позавчера», грозящее превратиться в еще более страшное «послезавтра». В этой книге ты должен разобрататься сам. Иначе зачем мы десять лет неотступно были рядом с тобой, мы — книги с твоей полки, твои друзья, учителя, неизменные и не изменяющие никогда спутники и советчики?!

ДЕТСКАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ Проект состава

Раздел 1: от 2 до 10 лет

1. А. Пушкин. Сказка о золотом петушке; Сказка о мертвой царевне и семи богатырях; Сказка о царе Салтане.—К. Чуковский. Доктор Айболит (проза); Бибигон; Федорино горе; Тараканище; Телефон.

2. А. Волков. Волшебник Изумрудного города; Урфин Джюс и его деревянные солдаты; Семь подземных королей.

3. Д. Родари. Путешествие Голубой Стрелы; Торт в небе; Джельсомино в стране лжецов; Приключения Чиполлино.

4. Н. Носов. Приключения Незнайки и его друзей; Незнайка в Солнечном городе.

5. А. Толстой. Золотой ключик.—А. Линдгрен. Мио, мой Мио!

6. Э. Хогарт. Мафин и его веселые друзья.—Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья; Дядя Федор, пес и кот; Гарантийные человечки.—С. Прокофьева. Лоскутик и Облако.—О. Пройслер. Маленькая баба-яга.—Г. Остер. Зарядка для хвоста.—В. Аксенов. Сундучок, в котором что-то стучит.—Е. Борисова. Спешите, пока горит свеча.—Х. Андерсен. Дикие лебеди; Огниво; Русалочка; Гадкий утенок.

7. С. Лагерлеф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями.—Т. Габбе. Город мастеров.—М. Дрюон. Тисту — мальчик с зелеными пальцами.

8. Д. Крюс. Тим Талер, или Проданный смех.—Ю. Олеша. Три Толстяка.

9. Ю. Дружков. Приключения Карандаша и Самоделкина.—Я. Бжехва. Академия пана Кляксы.—В. Медведев. Баранкин, будь человеком! —С. Сахарнов. Гак и Буртик в стране бездельников.

10. Р. Киплинг. Маугли.—Ф. Зальтен. Бемби.—Т. Трункатов. Приключения Гука.

11. Я. Ларри. Приключения Карика и Вали.—Д. Свифт. Путешествия Гулливера (адаптированный вариант).

12. М. Метерлинк. Синяя птица.—Л. Кэрролл. Алиса в Стране чудес.—П. Трэверс. Мэри Поппинс.

13. Т. Янсон. Муми-тролль и комета.—Л. Керн. Фердинанд Великолепный.—Э. Распэ. Приключения ба-

рона Мюнхгаузена.— Д. Барри. Питер Пэн и Венди.

14. В. Каверин. Сказки.— Ю. Томина. Шел по городу волшебник.— Л. Лагин. Старик Хоттабыч.

15. Русские народные сказки.

16. Герои Элады (адаптированный вариант).— Восточные, скандинавские, балтийские, западноевропейские сказки и легенды.

17. Американские, африканские, арабские сказки.

18. Ж. Монтеюро Лобату. Орден Желтого Дятла.— Я. Корчак. Король Матиуш Первый.

Раздел 2: от 10 до 12 лет

19. Ж. Рони. Борьба за огонь; Пещерный лев.— С. Каратов. Быстроногий Джар.— С. Писарев. Повесть о Манко Смелом.— Э. Шторх. Охотники на мамонтов.

20. М. Твен. Янки при дворе короля Артура.— Г. Гуревич. Мы из Солнечной системы.

21. Мифы Элады, Египта, шумеров, Индии, библейские сказания.

22. А. Конан Дойл. Затерянный мир; Когда Земля вскрикнула; Маракотова бездна; Отравленный пояс.

23. В. Губарев. Королевство Кривых Зеркал; Путешествие на Утреннюю звезду.— В. Обручев. Плутония.

24. А. Ломм. Ночной Орел.— Е. Велтистов. Электроник — мальчик из чемодана; Глоток Солнца.

25. А. Белаяев. Человек-амфибия; Голова профессора Доуэля; Ариэль.

26. Г. Мартынов. Звездоплыватели (трилогия).

27. Г. Адамов. Тайна двух океанов.

28. А. Казанцев. Пылающий остров.

29. К. Булычев. Последняя война; Перевал.

30. В. Брагин. В стране дремучих трав.— И. Давыдов. Я вернусь через 1000 лет.

31. Э. Берроуз. Романы о Тарзане; Дочь тысячи джеддаков.

32. Е. Войсунский, И. Лукодянов. Плеск звездных морей.— Э. Нортон. Саргассы в космосе.— С. Ярославцев. Экспедиция в преисподнюю.

33. А. Грин. Алые паруса; Бегущая по волнам; Блистающий мир.

34. Ж. Верн. 20 000 лье под водой; Таинственный остров.

35. А. Мирер. Дом скитальцев.— В. Мелентьев. Голубые люди Розовой земли.

36. Г. Мартынов. Каллисто; Каллистане.

37. Г. Уэллс. Война миров; Машина времени; Остров доктора Моро.

38. С. Снегов. Люди как боги (трилогия).

39. А. Шепиловский. На острие луча.— Г. Мартынов. Гианзя.

40. А. Абрамов, С. Абрамов. Всадники ниоткуда; Рай без памяти; Все дозволено.

41. О. Уайльд. Мальчик-звезда; Портрет Дориана Грея; Кентервильское привидение.— О. Бальзак. Шагренавая кожа.— Э. Гофман. Золотой горшок; Крошка Цахес.— А. Сент-Экзюпери. Маленький принц.

42. Д. Толкиен. Хранители (трилогия).

Раздел 3: от 12 до 16 лет

43. Ф. Пол, С. Корнблат. Операция «Венера».— К. Саймак. Все живое; Необъятный двор.— Э. Рассел. Ниточка к сердцу; Небо, небо...— А. Азимов. Сердобольные стервятники.— Т. Старджон. Особая способность.— Р. Брэдбери. Будет ласковый дождь; Здесь могут водиться тигры.— И др. рассказы о ценности всего живого.

44. М. Анчаров. Сода-солнце; Голубая жилка Афродиты.— Л. Обухова. Лилит.— О. Ларионова. Планета, которая ничего не может дать; У моря, где край земли.

45. А. Толстой. Аэлита.— А. Громова. Мы одной крови — ты и я!

46. А. Шалимов. Цена бессмертия; Когда молчат экраны.— В. Невинский. Под одним солнцем.

47. К. Саймак. Заповедник гоблинов.— С. Другаль. Василиск; Рассказы.

48. А. Кларк. Лунная пыль; Остров дельфинов; Космическая Одиссея 2001 года.

49. В. Крапивин. В ночь большого прилива; Дети синего фламинго; Голубятня на желтой поляне.

50. А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Путь на Амальтею; Страна багровых туч; Стажеры.

51. А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Трудно быть богом; Обитаемый остров.

52. О. Ларионова. Леопард с вершины Килиманджаро; Чакра Кентавра; Где королевская охота; Сната ужа.

53. С. Лем. Магелланово облако; Непобедимый.

54. И. Ефремов. Туманность Андромеды; Сердце Змеи.

55. Р. Брэдбери. 451° по Фаренгейту; Марсианские хроники; Вино из одуванчиков.

56. В. Савченко. Открытие себя.— Г. Гор. Мальчик.— С. Вольф. Завтра утром, за чаем.

57. Сказочная фантастика: Р. Янг. Срубить дерево.— Г. Альтов. Легенды о звездных капитанах.— Р. Брэдбери. Смерть и дева; Апрельское колдовство.— У. Ле Гуин. Апрель в Париже; Ожерелье.— С. Комацу. Смерть Бикуни.— К. Саймак. Театр теней.— И др. рассказы.

58. Юмористическая фантастика: Д. Пристли. 31 июня.— К. Саймак. Прелесть.— Г. Каттнер. Рассказы о Хогбенах.

59. С. Павлов. «Лунная радуга» (диалогия).

60. А. Азимов. Я, робот; Конец Вечности; Стальные пещеры.

61. З. Юрьев. Финансист на четвереньках; Белое снадобье.

62. Д. Уиндэм. День триффидов.— Д. Биленкин. Космический бог.

63. Р. Хайнлайн. Пасынки Вселенной; Зеленые холмы Земли.— Д. Уайт. Космический госпиталь.— Л. Альдани. Луна двадцати рук.— В. Михайлов. Исток; Ручей на Япете.

64. Е. Гуляковский. Сезон туманов.— С. Гансовский. Побег; Убить декабра и др. рассказы.

65. У. Ле Гуин. Планета изгнания.— С. Комацу. Гибель дракона.

66. Антология (герои — дети): А. Азимов. Уродливый мальчуган.— А. Бестер. Звездочка светлая, звездочка ранняя.— Р. Брэдбери. Все лето в один день; Улыбка.— И др. рассказы.

67. Э. Гамильтон. Звездные короли.— Г. Гаррисон. Неукротимая планета.

68. Ф. Карсак. Робинзоны космоса; Львы Эльдорадо; Горы судьбы.

69. Произведения молодых советских фантастов.

70. И. Ефремов. Час Быка.

Итак, вы ознакомились с нашим списком, читатель. Не торопитесь брать за карандаш и вычеркивать. Кто-то не найдет в списке то, что предлагал лично он, кто-то сочтет лишним то, что внесли мы от себя.. Дело в том, что мы тоже считаем себя профессиональными читателями: среди нас оказались и профессиональные литературоведы, и специалисты по детской психологии, и профессиональные педагоги. Кроме того, еще раз повторяем: мы исходили из определенных принципов и считаем, что сериал должен быть цельным по замыслу и назначению. Даже компоновка и порядок следования томов обдуман нами весьма тщательно, лишь из-за недостатка места мы не приводим здесь своих комментариев по этому поводу.

Предлагаем всем высказать свои соображения — по серии в целом, по отдельным томам. Адрес прежний: редакция «Уральского следопыта» (с обязательной пометкой на конверте: «ДФС»).

С благодарностью примем все советы по поводу возможных художников к каждому тому, ведь детская книга для 2—7-летних невозможна без иллюстраций вообще. А кто представляет себе, например, «Обитаемый остров» без рисунков Макарова или барабанщиков Крапивина — без рисунков Стерлиговой?

И главное: ищем тех, кто чувствует, что может оказать конкретную помощь — советом, делом, установлением нужных контактов. Адрес для прямой связи: 183025, Мурманск-25, а/я 2371, «ДФС».

...Да, так что же все-таки произошло из нашего «семечка» — той прекрасной идеи, которая ровно два года назад прозвучала со страниц «Уральского следопыта» в выступлении учителя из Мурманска А. Белошистой — активного фэна, члена ВС КЛФ (его детской секции)?

Семечко это, взлелеянное в парниковой — теплой, благожелательной — атмосфере фэндомы, проросло, как видите, в юное стройное деревце под кодовым названием «ДФС» — с наметившимися уже семьюдесятью веточками и предполагаемыми на них плодами (томами будущего издания). И дело теперь вроде бы «всего лишь» за тем, чтобы пересадить это деревце в открытый грунт (т. е. найти столь же доброжелательное издательство или заинтересованную мощную организацию — скажем, Детский фонд), заручиться поддержкой опытных «садовников» от полиграфии, запастись впрок всеми требующимися «удобрениями» (в виде денежных инвестиций, объемов бумаги и т. п.)...

Утопия, скажете вы?

По нашим временам — отнюдь нет! Возможен же стал куда менее необходимый (если быть совершенно честными) нашему обществу 30-томник (!) советского детектива. А детектив переводный? Посмотрите, сколь победно он шествует по ненасытному нашему рынку: десятки (!!!) одновременных массовых изданий (среди них — пятитомник, трехтомник, много однотомников) лишь одной-единственной его представительницы, Агаты Кристи! А наконец, не слишком мудро (на наш взгляд) затеянные грандиозные безлимитные подписки на классиков, чьи книги вообще-то, вопреки иным утверждениям, можно найти едва ли не в любом букинистическом магазине?!

Не-ет, есть, конечно же, есть в стране и запасы бумаги, и мощные типографии, и спонсоры, способные поднять самое-самое капиталоемкое начинание — гарантирующее к тому же скорую и немалую прибыль!

Так что же, поверим в удачливость и проливную силу нашего фэндомы? Тем более, что ВС КЛФ и ВО КЛФ уже обратились с просьбой о помощи в издании ДФС к Детскому фонду...

Теперь важно не дать похоронить идею ДФС — и мы, в унисон с А. Белошистой, призываем: давайте же поддержим сообщая эту идею! Все, кто кровно заинтересован в ее реализации, — не откладывайте наш журнал со скептической улыбкой, наберитесь мужества от отчаяния, напишите об этой своей заинтересованности в

самые влиятельные организации (в Детский фонд прежде всего, да и в Общество книголюбив, и в вершачий все подобные дела Комитет по печати), в самые популярные органы информации (в «Книжное обозрение» в первую очередь, — газету советских книголюбив)! Поддержка нужна мощная — и по всем «фронтам»!..

А сейчас — чуть-чуть о другом.

Безусловно одобряя идею ДФС и уже во второй раз высвобождая для ее пропаганды дефицитную журнальную площадь, редакция «Уральского следопыта» — подчеркнем это — к формированию проекта серии никакого отношения до сих пор не имела: занималась этим делом исключительно детская секция ВС КЛФ. И хотя, по словам А. Белошистой, наличествовали при этом и профессиональные психологи, педагоги, литературоведы, — самое время всем нам серьезно присмотреться к тому, какие же плоды программируем мы в лелеемом нами деревце? Чтобы — как, скажем, в случае с выходящим сейчас 24-томником фантастики, — не обнаружить вдруг, что растет-то у нас — гм, не то или не совсем то, что задумывалось! Коррективы на ходу, конечно, возможны, да слишком ли они действительны — на полном-то ходу?

При подготовке материала А. Белошистой уже и у нас возник целый ряд вопросов.

Объединимы ли в принципе столь разнохарактерные вещи, как, скажем, в 20-м томе — «Янки...» М. Твена и «Мы из Солнечной системы» Г. Гуревича?

Не слишком ли хрестоматийны — и уже есть в каждой семье — одни произведения (сказки Пушкина и Чуковского, к примеру) и заслуживают ли 5—6-миллионного тиража абсолютно все другие?

Вообще — насколько уместно все же в данной серии столь большое количество сказок?

Не чересчур ли много антологий и всегда ли самоочевидны их тема и состав?

Не слишком ли мало книг последних десятилетий? Не слишком ли тонки одни тома и неподъемно толсты другие?

Так ли уж целесообразно «разбрасывать» автора по разным томам, не лучше ли все-таки сосредоточить его творчество в одном томе, а ежели не вмещается — дать этот том в двух или даже трех полутамах (как это и практикуется в нашем книгоиздании)?

И, наконец, не остались ли за бортом абсолютно необходимые в данной серии книги?

Не пытаюсь покамест вмешиваться и даже вникать в дела организационного характера, вот по этим вопросам — о содержательной стороне серии — просим вас, читатели, писать на адрес редакции.

«...Я серьезно думал над ЭТИМ...»

Совсем недавно «Известия» рассказали поразительную историю о том, как незадолго до войны ленинградский литератор Ян Ларри с помощью фантастической повести, по главам пересылаемой «дорогому Иосифу Виссарионовичу», попытался убедить вождя народов, что, увы, многое в стране делается неразумно. Итог попытки: 15 лет, с 1941-го по 1956-й, Ян Леопольдович провел в ГУЛАГе...

Для подавляющего большинства читателей имя Яна Ларри связано с популярной, многократно переиздававшейся повестью о приключениях Карика и Вали в мире растений и насекомых, появившейся в 1937 году. Как же так: автор сугубо познава-

тельную книгу для детей — и вдруг критик Системы?!

Но дело в том, что «Приключения Карика и Вали» написал вполне сложившийся литератор. С первой книгой он вышел к читателю еще в 1926 году. А в 1931-м выпустил «публицистическую», по его определению, повесть «Страна счастливых». О будущем Страны Советов, блистательном, хотя и вовсе не безмятежно-розовом.

Среди многих любопытных деталей этого будущего есть и такая. «Взгляни на книжные шкафы наших библиотек! — восклицает один из героев повести. — Какое неисчерпаемое богатство мыслей! Как жизненно необходимо для каждого из

нас знать эти сокровища! Но... на кого мы похожи перед этим океаном мудрости? Сидим и чайной ложечкой пытаемся вычерпать это море...»

Герой предлагает «изумительный» выход — «дать бой» старым книгам: «Там, где стоит тонна книг, после сражения должно остаться пять-шесть тетрадок стенографической записи!»

«Придется резать и Аристотеля и Гегеля, Павлова и Менделеева, Хвольсона и Тимирязева, — рассуждает он. — Увы, без кровопролития не обойтись. Моя кровожадность не остановится даже перед Лениным и Марксом. Сталин? Придется пострадать и ему!..»

...Кто знает: не аукнулись ли автору повести и вот эти строки, когда именем «дорогого и любимого» выносился ему суровый приговор?

В. ИВАНОВ



Владимир
ДЕНИСОВ

НАШИ ДУШИ ЕЩЕ НЕ ИСПЛЕЛИ...

* * *

Застоявшись в угрюмые годы,
Не умея взлетать в стремена,
Мы на дикие степи свободы
Смотрим жадным зрачком скакуна.
Наши души еще не истлели,
Наши мысли еще не умны,
С нами делят случайно постели
Ненадежные девы страны.
Ненадежные други приходят
Рвать рубахи на тощей груди,
Как в далеком оттаявшем годе,
Что на пару эпох позади.
И уходят (куда — неизвестно),
Поднимая на лестнице пыль:
Кто на крест, кто на крепкое кресло,
Кто в Бутырку, а кто и в бутылку...
Как их метит тревожное время,
Как сноровисто ставит печать,
Ведь нельзя, соглашаясь со всеми,
В то же время со всеми молчать...
Может быть,
Отгудевшим баракон,
Что смолкал под вселенским дождем,
Дань отдав пересудам и дракам,
Мы навеки в былое уйдем.
Мы-то что, мы обычная почва,
И на ней
Для души и ума
Вырастают — пускай шлакоблочко,—
Невозможно другие дома...

* * *

Когда страны шальная сила
Зовет — ты в думах о себе...
Вон для горбатого могила —
Как поворот в его судьбе!

Тебе ж не будет поворота,
Тебе нести свои грехи
Еще вон до того болота,
До той заплаканной ольхи,

До той издерганной осины
С петлей, истлевшей до конца,
Напоминанием о сыне,
Не знавшем духа и отца...

* * *

Ты сидишь и тверезый, и строгий,
Оказавшийся вдруг не у дел,
Незаконный певец перестройки,
Потому что не вовремя пел.

Нет, в застенках тебя не пытали,
Не совали в лицо пистолет,—
Просто срок за стихи намотали
Да брезгливо сожгли партбилет.

Просто сели спокойные, в силе,
Голоснули, естественно, «за»
И — законно — ярлык наклепили,
Намекая: разуй-ка глаза...

Нынче шаткими стали законы,
Но, свершая привычный обряд,
Мимо окон проходят колонны,
Кумачовые флаги горят.

Напрягая железные жилы,
Рвет динамик свои провода,
И несутся и ные призывы,
Ты таких не слышал никогда!

Чем же праздник тебе не лекарство?
Погляди, как ликует земля!
Для великих забот государства
Маловата кручина твоя.

Время новое весело скачет,
И за новое вместе с тобой
Я, быть может, прихлопну стаканчик
И, быть может, притопну ногой.

И в глаза твои гляну босые,
Не умевшие жить, не вина:
Есть ли что-нибудь там для России,
Для тебя самого, для меня?...

ПАМЯТЬ

— Разве можно Россию любить,—
С огоньком меня бес вопрошает,—
За ее неналаженный быт,
За эстетику кваса да шанег,
За ее девятнадцатый век,
За начало двадцатого,
Если

Революцию делал не верх,
А низы, растерявшие песни?
Даже гений — и тот не нашел
Путь к добру без кнута и елеса,
Потому-то сменился престол
Той трибуной его мавзолея.
Шовинисты, державная прыть,
Сотни черных кликуш
Да Петровка...

Нынче стыдно Россию любить,
Даже русским назваться неловко!

От монгольских набегов на Русь
До отечественного ГУЛага
Горький нашей истории груз
Не выдерживает бумага.
Память помнит,
Она не умна.
Потому-то и дышит любовью,
Заплатив заблужденьям сполна
Русским словом и русской кровью.
Сколь веков эта память болит!
Вот и нынче
Лишь тот не ругаем,
Кто проворной телегой пылит,
Пока мы лошадей запрягаем...
Я рубаху отдал тебе, брат,
Я отдам и жену, и телегу.
Ты же хочешь и «Слово» забрать —
Как без прошлого
Человеку?

Вон на Западе — мор да острог,
На Востоке — острог да цунами...
Что ж, спасибо хотя бы за то,
Что история боли — за нами,
Что у этих прадедовских мук,
Где смешались и жертва, и ирод,
Не погреть ограждающих рук,
Прикипевшего сердца не вырвать...

ДУДА

Поэт эпохи триедин:
Вот Блок, Есенин, Маяковский,—
Отец, и дух святой, и сын...
Мы носим
божии обноски!
За девять лет — советских лет!—
Нам предстоит осмыслить это,—
Вино, петля и пистолет
Замкнули краткий путь поэта.
Увял торжественный венец,
И с той поры — такая жалость! —
Есть на Руси и швец, и жнец,
Вот только дудка
Залежалась.
Немой обет ей ведом был,—
Почти полвека пролежала,
Когда Некрасов уронил
Ее на смертное одеяло.
А нынче — так уж повелось —
То плач загробный, то побудка,
То кличут вкривь, то тянут вкось,
Но это всё
другая дудка...



«...ДЛЯ ЧЕГО СТОЛЬКИМ

ПРОСТРЕЛИВАТЬ ГРУДЬ?»

ИЗ ДНЕВНИКА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ТИМОФЕЕВА, УЧАСТНИКА ПЕРВОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ, А ПОТОМ СМЕННОГО МАСТЕРА ЭЛЕКТРОПЕЧИ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ЗАВОДА

*И, перевесившись через заборные
колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты
вразброд.
Старая баба — посыпанный
крупною солью
Черный ломоть у калитки жует и
жует...
Чем прогневили тебя эти серые
хаты,—
Господи! — и для чего
стольким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завyli
солдаты,
И запылл, запылл отступающий
путь...*

Марина Цветаева

30 июня 1915 г.

После командировки в Иркутскую школу прапорщиков, в которую я принят не был, потому что не участвовал в делах против неприятеля, возвратился в свою часть. Рота находилась в резерве. Сварили чаю, давай меня угощать. Из восьмидесяти новобранцев, которых привели в роту, осталось человек 10—13.

Во второй половине дня было приказано собираться. Я получил винтовку, 180 патронов, два подсумка, патронташ, запасную сумку, палатку. Мешок был.

Построились. Пошел сильный дождь, двинулись. Идти пришлось верст 10—12. Верстах в четырех от позиций выяснилось, что идем на помощь 25-му Смоленскому и 38-му Псковскому полкам, которых сильно шиплет германец.

Возле штаба Смоленского полка дождался темноты, сняли мешки — и на передовую. Местами через хода сообщения и через открытые поля, ложась на землю, как только начинает подниматься вверх ракета. Возле окопов нам объяснили задачу: нужно атаковать сопку А, которая через поле ржи в 2200 шагах. Благословясь, двинулись. И первая глупость — бегом до проволочных заграждений, когда нужно было, во избежание сумятицы, шагом. Почему-то оказалось, что батальон наступает развернутым фронтом. И, наконец, на левом фланге были германские заставы, о чем нас не предупредили.

Левый фланг первым наткнулся на германцев: бро-

сились в штыки, на ура. Нам же оставалось еще порядка 1000 шагов.

Германцы осветили нас множеством ракет и открыли убийственный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь. Мы, правый фланг, очутились под перекрестным огнем. Стреляли, видимо, и разрывными пулями, ибо кроме их свиста получались маленькие вспышки и треск, вроде выстрела уменьшенным зарядом. В наших цепях, уже редевших, случилось замешательство — свист, стоны, крики...

Начали отступать и заняли окопы на сопке Б, которая оказалась совершенно пустой, где и просидели до 5 вечера следующего дня, ничего не жравши и не спавши, под обстрелом тяжелой артиллерии, что действует на человека очень подавляюще...

12 марта 1916 г.

Узнали, что через день отправка. Оно и к лучшему. Рота все время под арестом, без отпусков и посещения посторонними лицами. Пришлось предпринять оригинальное путешествие с переодеванием в гражданское платье. И вот опять мы с Таней. Как она добра и хороша со мной. Сколько теплоты в ее словах.

13 марта.

Целый день приготовлений. Одевали, обували, деньги выдавали... Вечером удалось урваться домой, где пришлось перенести сцену прощания и благословения. На душе тяжело. Таня уехала в деревню, а с ней было бы легче.

14 марта.

Много пьяных, опрос претензий и напутствие командира батальона. В 12 дня ко мне приехали мама, Нина, Надя. В 4 дня отправление. Простился с отцом.

17 марта.

Стоим в Самаре. Напились денатурата, скверно, душе хочется на свободу. Обедали часов в 5 вечера в Сызрани.

22 марта.

Переехали Днепр. И хотя это только верховье — разлилось порядочно. Скверное настроение становится, когда проезжаешь мимо какой-нибудь железнодорожной школы и видишь ребятишек. Невольно вспоминается время, проведенное с Таней в Златоусте. Ведь она тоже учит детей.

Ночью приехали в Смоленск, выгрузились из вагонов и пошли темными и грязными переулками на разбивочный пункт...

29 марта.

Двинулись в село Схватки. Погода пасмурная, холодная. Но идти не пришлось — были подвезены поездом по вновь строящейся ж/д до самых Схваток. Как стало хорошо на душе и самому тепло и весело, когда забрался в натопленную крестьянскую избу. Здесь должны заночевать. Батюшки, как здорово подняли цены на всё. Хлеб — 20 коп., фунт молока (кварта — 3 стакана) — 25 коп. А об остальном и не спрашиваю, страшно, не по карману. Пятерик свечек — 1 рубль 25 коп. Но одну все же пришлось купить — в темноте не хотелось сидеть. Спали на лавках — тепло, свободно, спокойно, хорошо.

30 марта.

Утром двинулись на село Моховичи. Это верст 18. Местность изрыта окопами. Много братских могил, в одном месте плохо зарыты два германца, видать мундиры и сапоги, много убитых и не зарытых лошадей. Артиллерия гремит — бьют наши, а у германца пасха, и он молчит. Пришли в Моховичи, пообедали и остановились по квартирам жителей на ночлег. Ночь провел неважно, блохи окаянные сильно беспокоили.

31 марта.

Утром получили вчерашний ужин, подзакусили и отправились в штаб 8-го корпуса, потом в штаб дивизии. Приняли хорошо, мне тут же навесили крест св. Георгия 4 степени за № 5776. Штаб стоит вблизи озера Нарочь по халупам в деревне Бояры, от позиции верстах в 4-х. Долго проговорили и часов в 12 легли спать. Меня, как

прибывшего и, следовательно, грязного и вшивого, положили отдельно.

6 апреля.

Прибыли в 3 дня в деревню Гавриловичи. Стали устраиваться, здесь придется проводить праздник.

9 апреля.

С обеда готовились к празднику, наносили елок, сосеночек, убрали внутри и снаружи. Хата, как в саду. Склейли фонарь с яйцом и надписями. В 12 часов ночи раздался выстрел из миномета, засветились прожектора, все роты пошли в церковь, устроенную в одном из сараев на конце деревни. Заутреню служили на улице, а обедню — в сарае. Я стоял в стороне, наблюдая за всем и чувствуя и переживая в душе этот великий момент русского православного человека. Наружный я был тут, а внутренний витал дома: что-то там у нас творится...

10 апреля.

У квартиры начальника полка начал играть оркестр. Было так странно, эта приятная музыка, эти мощные аккорды, кроме грусти и тоски, ничего не слали. Сделалось как-то пусто на душе, одиноко. С 4-х часов играли исключительно для стрелков, которые, конечно, перетанцевали все древние и все русские танцы. Взялся писать письмо Тане. Миленькая, Христос воскрес, что ты там подделываешь?

16 апреля.

В час дня двинулись в поход. Нас 14 человек на 4 двуколки, вот и весь обоз. Вечером расположились под слиянием на краю какой-то деревни бивуаком. Развели костер и расселись вокруг котла и чай пили, как чумари. Тут и возы, и лошади, и огонь...

17 апреля.

Утром двинулись дальше, прошли верст 15. В 2 дня пришли в деревню Очитки, где стоял наш полк, выдали квартиру и расположились работать.

20 апреля.

Стоять будем неопределенное время, до особого распоряжения. Строим землянку-канцелярию. Лес сосновый, погода хорошая, природа оживает с каждым часом. Тянет домой. Как бы хорошо побывать дома в это время года. Летало несколько аэропланов, которых порядочно угостили наши артиллеристы...

18 октября 1916 г.

Перешли Дунай — границу России и Румынии, ночевали в румынском монастыре. На другой день был напутственный молебен, служило румынское духовенство на своем языке.

Весь конец октября двигался вперед. Противник отступает, отдохнуть не дает, а мы вперед и вперед.

1 ноября удовлетворился румынскими деньгами. Первую половину месяца двигались до деревни Тополул, которая и была нашим конечным пунктом в Добрудже. Поставив с неделю в этой деревне, пробовали продвинуться дальше.

Болгары прочно укрылись, и наш мощный удар разбился, как о скалу. Не помогли тут и английские, и русские броневики. Потеряли два автоброневика и порядочно людей. В этих боях принимали деятельное участие суда речной флотилии, а также две наши черноморские канонерки поддерживали огнем тяжелых батарей. Спустя неделю милые союзнички наши, румыны, сдали Букадешта. Нам пришлось отступать, дабы не остаться совсем в Добрудже. Начали отступать с 30 ноября по старой дороге, но переправу держали не у Исакиш, а у Брамлова, а потом пошли на юго-запад и остановились верстах в 70 от него.

12 декабря.

С обеда начался бой, и сильный. Перед вечером быстро уложились и давай удирать. Часов в 8 вечера проходили мимо станции Янки, где были разные запасы и припасы. Но что хорошо — стрелки не исполнили при-

каза «не уничтожать добро», а подожгли везде и всё. Не так обидно, коли враг займет голое место.

Прошли через имение румынского короля и забрали всех коров (штук 50—60), которых наше начальство отобрало. У нас провели по книгам и вышло, что купили, а денежки — в карманы, и руки потирают, живодеры, подлецы!

..Опять отступать. Какая это надоедливая штука. И как назло дожди начались. Из дороги получилось что-то вроде грязной речки с кисельными берегами. Холодный ветер и дождевые капли назойливо лезут за шиворот, рожи и руки мокрые. С каким бы удовольствием спрятали их куда-нибудь в сухое местечко, но некуда, все мокрое. Днем еще видно, а ночью идешь вслепую, прислушиваясь к шлепанью лошадиных ног и поскрипыванию колес, упадешь, встанешь и дальше идешь, проклиная того, кто виновник всех наших мучений. Так шли ночь, день и другую ночь, имея остановку лишь на 6 часов. Пришли в деревню Горичий 20 декабря. Зашли в школу. Какова же была наша радость, когда увидели в помещении большую чугунную исправную печь! От одной мысли, что сможем обогреться и обсушиться, — половины усталости как не бывало. Моментально одна парта превратилась в щепы и очутилась в печи, которая скоро начала распространять благодатную теплоту. Разделись, закурили, стали тянуть жребий, кому отыскивать колодез и нести воды на чай и суп. Я вытянул целую спичку, а «половинки» отправились за водой...

Публикация А. КАТКОВА





Кто вы, инженер Зорге?

В книгах и статьях о советском разведчике Рихарде Зорге мне бросилась в глаза одна любопытная закономерность: отец Рихарда, инженер бакинских нефтепромыслов, всюду изображался как человек с противоречивым характером и почти всегда негативно.

Вероятно, я бы не обратил на это внимания, если бы не одно случайное наблюдение. Однажды в своей библиотеке мне попала на глаза книга известного русского горного инженера профессора Н. С. Успенского «Курс глубокого бурения ударным способом», изданная в 1924 году.

Во введении я с удивлением прочел следующее: «В конце настоящей части своего курса автор приводит детальный подсчет затрат энергии на прямую и обратную промывку при бурении, взятый из указанных в литературных источниках теоретических исследований известного бакинского теоретика и практика бурения Р. Зорге. ...Эти исследования... имеют для практики большую ценность».

В странном противоречии находились эти факты с оценкой деятельности Зорге-старшего в некоторых книгах нашего времени. Достаточно привести выдержку из книги Марии и Михаила Колесниковых «Рихард Зорге» (серия «ЖЗЛ», «Молодая гвардия», М., 1971): «Сперва Зорге работал на буровой вышке, потом перешел на нефtezавод. В нефтяном деле он смыслил мало, но был прилежен и исподволь учился у местных мастеров, которые по знанию добычи нефти очень часто превосходили иностранных специалистов». А потому Р. Зорге ничего более не оставалось, как заняться скупкой и перепродажей нефтяных участков, вкладыванием сбережений в выгодные дела. Так превратился он в добропорядочного respectable буржуа.

Но в эту простенькую схему не укладывалось множество фактов. Почему старшие сыновья, Герман и Вильгельм, в отличие, якобы, от Ики Зорге — младшего брата, будущего разведчика, с большим уважением относились к отцу? Почему фирма Нобелей безгранично доверяла Р. Зорге, поручая ему приобретение бурового оборудования за рубежом, полагаясь на его инженерный авторитет и производственный опыт? Чем, наконец, объяснить, что именно в России Зорге-старший стал выдающимся нефтяным специалистом, получил инженерное и научное признание?

Эти вопросы привели меня в Центральный государственный исторический архив (ЦГИА) Азербайджанской ССР и в Республиканскую научно-техническую библиотеку имени Ахундова в Баку. Удалось ознакомиться с фондами «Бакинского отдела Товарищества нефтяного производства бр. Нобель», где сохранились страницы переписки Зорге-старшего с техническим отделом товарищества в Петербурге и его конторой в Баку¹. А в библиотеке нашлся экземпляр книги Р. Зорге, на которую ссылался профессор Н. С. Успенский.

Выяснились любопытные факты, ускользнувшие от многих авторов прежних публикаций.

Биография Зорге-старшего изучена крайне слабо. В различных изданиях ошибочно указывается год его смерти (от действительного 1907 до 1912). Существует путаница и с правильным написанием имени. Согласно немецкой традиции, полное имя Зорге-старшего звучит как

Герман Адольф Рихард Курт Зорге. В различных публикациях его называют то Адольфом, то Куртом, то Германом... К счастью, сам человек всегда лучше, чем кто-либо другой, знает свое имя: Зорге-старший все свои письма подписывал «Рихард Зорге». Вот почему Зорге-младший, до тех пор, пока он не стал разведчиком, называл себя Икой Рихардовичем. Под этим именем ему были оформлены документы в середине 20-х годов, после приезда в Советский Союз. Поселившись в 1885 году в Баку, Зорге-старший работал на нефтепромыслах и вскоре стал владельцем небольшой механической и чугунолитейной мастерской в Сабунчах. Мастерская выполняла заказы для нефтепромышленников, в том числе для предприятий фирмы бр. Нобель. Рядом с мастерскими у Соленого озера семья имела собственный дом, сохранившийся и поныне. Эпидемия холеры унесла супругу Зорге-старшего. Женитьба на русской женщине Нине Кобелевой увеличила в 1895 году семью инженера еще на одного человека: родился Ика Зорге — будущий разведчик.

Рихард Зорге работал в Баку около 13 лет. В 1898-м



¹ ЦГИА Азерб. ССР, ф. 798, № 1, ед. хр. № 42.

он с семьей возвратился в Германию, поселившись в одном из юго-западных пригородов Берлина. Однако связи с нефтяным Баку не оборвались. Товарищество перед отъездом Зорге из России заключило с ним долгосрочный договор. О содержании его свидетельствует одно из писем самого Габриеля Нобеля: «В согласии с договором, заключенным с Вами в мае 1898 года, Вы взяли на себя обязанности технического консультанта по бакинским нефтяным предприятиям. В дополнение к достигнутой договоренности Вы наделяетесь особыми полномочиями по наблюдению за всеми новинками мировой техники по нефтяному бурению, освоению скважин и эксплуатации нефтяных месторождений. На правах полномочного представителя Вам вменяется в обязанность посещать фабрики и от нашего имени выполнять заказы, покупку оборудования, новой аппаратуры и инструментов».

В письмах инженер Р. Зорге неоднократно описывает свои встречи с известным немецким специалистом Альбертом Фауком, изобретателем обратной промывки скважины при бурении, когда промывочная жидкость закачивается не в бурильные трубы, как обычно, а в затрубное пространство. Рихард Зорге до конца жизни активно пропагандировал обратный способ промывки и впервые в мире дал инженерное его обоснование. Бурение с промывкой, в отличие от господствовавшего тогда так называемого «канадского», или «сухого», способа бурения — тема постоянных рекомендаций товариществу бр. Нобель.

Инженер неоднократно посещал заводы А. Фаука и нефтепромыслы в Галиции (современная территория Львовской и Ивано-Франковской областей), участвовал в испытаниях новейших образцов буровой техники. В сентябре 1899 года в Бориславе (Галиция), где Фаук имел свои нефтепромыслы, прошел международный съезд буровых техников, Р. Зорге выступил там с докладом.

Он — участник 21-го международного конгресса горных инженеров и буровиков-техников в Гамбурге (сентябрь 1907 г.) и в том же году — нефтяного конгресса в Бухаресте. Это за несколько месяцев до своей кончины! Как инженер, он хорошо знал польский и румынский нефтяной опыт, бывал в Прахове — одном из центров нефтяной промышленности Румынии.

Особо следует сказать о последнем труде — монографии Р. Зорге, опубликованном в 1908 году на немецком языке в Берлине.

Любопытна судьба книги. Многогранная работа инженера и ученого — поездки, наблюдения, обобщение мирового нефтяного опыта — отражалась в записках и рукописях. Смерть помешала ученому завершить итоговую монографию. Работу по изданию книги в память отца взял на себя средний сын Герман.

Книга называется «Исследования по технике глубокого бурения с промывкой на нефтяных промыслах». Открывается она портретом автора. Объем монографии — 160 страниц, много чертежей, рисунков, схем, ссылок на предшествующие исследования и работы классиков гидромеханики. Научный уровень книги необыкновенно высок. Автор почти не затрагивает описательную сторону техники бурения. Главное для него — методика инженерных расчетов, доведенная до четкого и понятного прикладного уровня и содержания. Не ограничиваясь теоретическими разработками, Р. Зорге приводит экспериментальные исследования, проведенные молодыми специалистами в отделе шахт немецкого нефтяного общества. Насколько необычным было содержание этого труда, можно судить из того редкого факта, что проф. Н. С. Успенский в своей книге поместил почти дословный перевод на русский язык отдельных наиболее важных разделов.

Исследования скважиной гидравлики и обстоятельное описание опыта русского бурения в Баку, Грозном, Галиции были признаны современниками, а Зорге стал одним из крупнейших знатоков бурения.

Несколько слов о Германе Зорге, опубликовавшем

книгу своего отца. Он имел профессорское звание, в годы второй мировой войны пережил арест гестапо и тюремное заключение. Скончался в 1948 году, пережив младшего брата на четыре года.

Традиционный вопрос тех, кто изучал жизнь и деятельность Ики Рихардовича Зорге-разведчика: «Кто Вы, доктор Зорге?» — в полной мере можно адресовать и его отцу. С инженером Рихардом Зорге произошел несчастный в истории науки случай: современники ценили заслуги ученого, а последующие поколения — забыли. Чаще бывает наоборот...

Еще многое предстоит выяснить, но уже теперь можно сказать, что Рихард Зорге-старший стал в России, а затем в Европе признанным специалистом-нефтяником, ученым-новатором, до последних дней своей жизни активно участвовавшим в развитии передовой техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин.

Категоричность и крайние суждения в оценке людей нередко страдают необъективностью. Так случилось и с Р. Зорге-старшим. Не зная ни точного имени, ни проверенной даты смерти и уж совершенно не представляя себе инженерную сторону деятельности Зорге-старшего, некоторые писатели по-журналистски, наскоком упрятали его в «бюргеры» и дали нашему читателю весьма искаженный портрет выдающегося горного инженера.

В литературе фигурирует весьма неблагоприятный отзыв Зорге-младшего о своем отце, но при этом забывается, что к моменту его смерти, последовавшей в 1907 году, сыну не исполнилось и одиннадцати лет... Впрочем, уместно напомнить и другую оценку, которую дал Ика Зорге много позже: «...Семья моего отца является известным образом семьей ученых со старыми революционными традициями». Здесь он имел в виду прежде всего своего деда Фридриха Альберта Адольфа Зорге (1898—1906) — видного деятеля международного рабочего и коммунистического движения, соратника Маркса и Энгельса.

Заставляет размышлять еще одно обстоятельство. Р. Зорге-старший находился в дружественных отношениях с бакинским нефтепромышленником А. М. Бенкендорфом — владельцем фирмы «Бенкердорф и К^о». Подобно Савве Морозову в России, А. Бенкендорф отошел от дел и настолько сблизился с либеральными кругами, что помогал им материально, а позже, по преданию, сочувственно относился к работе типографии «Нина» и был неплохо о ней информирован. По свидетельству Д. И. Менделеева, посетившего в конце прошлого столетия нефтепромыслы Бенкендорфа, условия труда рабочих на них были более благоприятными, чем у других капиталистов. Такая репутация А. Бенкендорфа определенным образом характеризует и его знакомых. Р. Зорге-старший, глава большого семейства, в деловых интересах и заботах о семье, старался выглядеть истинным предпринимателем, пряча от постороннего глаза то, что впиталось им с детства от Ф. Зорге в Америке, от встреч с Энгельсом в Лондоне, и не могло не повлиять на его убеждения. Залог тому — судьбы всех его сыновей.

Нефтяной Баку хранит память о сыне и отце Зорге. В Сабунчах, во 2-м переулке Осипяна, дом 2-г (до революции — ул. Вотана, 671), где проживала семья Зорге, открыт музей. В центре города в 1981 году сооружен спорный в архитектурном, но весьма совершенный в инженерном исполнении памятник Зорге-разведчику. На улице Кагарманова, 7 (бывшая Марининская), недалеко от приморского бульвара, сохранилась вывеска, вход и помещения на первом этаже бывшей метизной лавки братьев Зорге («Магазин метизов»). А на фасаде одного из старинных бакинских домов до сих пор видно выцветшее рекламное объявление конца прошлого столетия: «Зорге предлагает кровельное железо из Ревеля». Сохранились здания бывшего метизного завода «Бр. Зорге» в центре Баку, неподалеку от набережной.

На снимке: Р. Зорге и его книга.



громный двухмиллионный Кабул, скрытый зеленью, терялся вдали в чаше гор, как всегда настороженно-угрюмых. Чистейший горный воздух приближал их высокие коричневые вершины без какой-либо растительности. Невдалеке на холме гордо красовался пятиэтажный дом с колоннами — бывший шахский дворец, а сейчас штаб 40-й армии советских войск. По вечерам, почти ежедневно, как только стемнеет, светящиеся окна штаба видны далеко вокруг. Тогда и начинается очередная серия бесконечного «кино»...

Сначала от ближнего кишлака в направлении штаба по черному, как тушь, небу обманчиво медленно начинает двигаться малиновый след «трассера», затем долетает звук выстрела душманского «бура»: «Да-дах!». Незамедлительно в ответ летит длинная пунктирная линия автоматной очереди советского «Калашникова».

Короткая выжидательная тишина. Снова из кишлака нахально медленно в том же направлении летит одинокий «трассер» и раздается вслед: «Да-дах!». От подножия штаба по невидимому противнику нервно kloкочут уже десяток автоматов. Видно, как в кишлаке, рикошетируя, пули разлетаются в разные стороны, словно искры от точильного камня. Теперь-то уж душман не посмеет нападать. Но ровно через минуту слышится знакомое «Да-дах!», и «трассер» насмешливо плывет по небу к дому с колоннами.

Владимир КИЕНЯ

ИЗ АФГАНСКОГО ДНЕВНИКА

Терпение «шурави» лопается, десятки автоматов извергаются в наглеца тысячи пуль, в бой включаются бронетранспортеры, гулко, как отбойные молотки, начинают стучать их крупнокалиберные пулеметы. Некоторое время в ответ ни выстрела, ни звука. Наступает настороженная тишина. Противники пытаются разглядеть друг друга в кромешной темноте.

И снова к ярким окнам штаба вызывающе ползет малиновый «трассер», слегка опережая неизменное «Да-дах!». Тут дружно включаются в дуэль расположенные рядом батареи и даже танк. Их частые оглушительные выстрелы перекрывают уже сплошное и яростное негодование автоматов и пулеметов. Весь огонь обрушивается на место, откуда раздались одиночные выстрелы «бура».

Сотни невидимых зрителей заинтересованно наблюдают красочный спектакль. Их симпатии явно на стороне неуловимого владельца «бура». Везде в мире «болеют» за смелых. Постепенно грохот утихает, выстрелы все реже и реже...

Проходит в тишине несколько десятков секунд, и вновь раздается неуступчивое «Да-дах!». И снова — шквал огня, но пушки и танк уже не ввязываются, считая свое участие в подобном «бое» ниже своего достоинства.

В следующий раз и пулеметы выходят из игры, только автоматы по-прежнему беснуются на методическое «Да-дах!». Но и они постепенно умолкают, гаснут осветительные ракеты, и прожектор закрывает свой лазерный глаз.

Победно звучит последний выстрел «бура», но ему отвечает лишь задумчивая тишина...

В бою наши десантники захватили в плен шесть душманов с оружием в руках. Попутно сдали их на гауптвахту в советский военный городок и помчались на БМП догонять своих, но не догнали. При переправе через стремительный желтый поток горной речки тяжелая машина ухнула в бомбовую воронку. Никто из экипажа и десанта не всплыл, да и не смог бы, так как на всех были бронжилеты, тяжелые, как гири, ботинки, магазины с патронами и гранаты. Погибли замечательные ребята, все награжденные боевыми орденами. Посмотрев, как водолаз безуспешно пытается зацепить трос за утонувшую машину, чтобы вытащить ее танками, я сел в вертолет, и через несколько минут он приземлился на площадке в центре части.

Удрученный увиденным, зашел в караульное помещение, разложил на столе необходимые документы и приготовился к опросу задержанных. Ровно через 24 часа их необходимо передать по акту местным властям для дальнейшего разбирательства. Это требование действующего соглашения между афганской и советской сторонами. Очевидцы боя погибли, установить истину будет значительно труднее. Послал солдата за переводчиком и огляделся. Мухи облепили электрические плафоны, сплошным ковром закрывали потолок просторной комнаты. «Такого и в дурном сне не увидишь», — пришла мысль, и в это время при- был переводчик.

Ввели первого задержанного. Это был мальчишка, с пушком на щеках и тонким детским голосом. Сразу выпил половину предложенной ему трехлитровой банки чая. Насратулло, сын Мохаммеда, возраст 13 лет. Отец воевал в 8-й пехотной дивизии афганской армии и год назад погиб. Дома — мать и пять братьев и сестер младше его. Главой семьи стал дедушка. В отряде «непримиримых» Насратулло находился около трех месяцев, после того, как их командир избил дедушку, а его взял к себе силой. С напарником переносил по горам боеприпасы. «Будь он проклят!» — сказал Насратулло о командире душманов Рахматулло и стал подробно рассказывать, вытирая плачущие глаза рукой, как тот пытал и убивал местных дехкан. С этим «душманом» все ясно...

Доставили Рахматулло. Брюнет с яркими голубыми глазами, что среди афганцев большая редкость. Пристальный, умный взгляд. Опустился не на стул, стоящий чуть в отдалении, а на пол возле моего стола, привычно скрестив ноги. Какая у него обаятельная, белозубая улыбка!

Бывший студент Нангархарского университета. За ним пришли ночью и насильно увели в банду. Долго били, полгода держали в зиндане. Ненавидит эту опустошающую душу, длительную войну, хотел бы продолжать учебу, мечтает о посещении Советского Союза. Уважает сильных и мужественных «шурави». На его руках нет крови. Холост. Родители в провинции Баглан занимаются сельским хозяйством...

* Как говорил красноармеец Сухов в кинофильме «Белое солнце пустыни», — Авт.

Какая-то необычная пелена доверия и сочувствия окутывает меня. Все окружающее становится размытым. В центре внимания его необыкновенные, лучистые, доброжелательные глаза. Я безоговорочно верю всему, что он говорит. Вера в его порядочность, сострадание захлестывает, на улыбку я отвечаю такой же искренней улыбкой единомышленника. Глубоко в душе нарастает протест против сказанного ранее мальчишкой об этом чистом человеке.

Внезапно резкий окрик переводчика возвращает меня к действительности. «Не улыбайся! Не улыбайся!» — громко и зло кричит тот и делает шаг вперед, загоразивая меня от Рахматулло. Затем поворачивается и говорит: «Товарищ майор! Он же применит гипноз!»

Меня как будто ударят током. Бросаю взгляд на задержанного. В его глазах откровенная ненависть и страх, руки сжаты в кулаки. Полностью овладеваю собой. Убираю автомат со стола, до которого — на мгновенный бросок. Удивленно отмечаю, что забыл закрыть металлические задвижки окна, рядом густые камышковые заросли. Командую: «Увести задержанного». Презрительно улыбнувшись, он стремительно поднимается на ноги и бесшумно, походкой молодого барса уходит в сопровождении вооруженного солдата.

Приносят ориентировку. «...Рахматулло, сын Гуляма — крупного землевладельца, 22 года, добровольно вступил в ИПА (Исламская партия Афганистана), участвует в боевых действиях против правительственных войск в течение 6 лет. Дважды прошел спецподготовку в Пакистане. Лично из гранатомета уничтожил советский и два афганских танка. Сжег три школы, расстреливал учителей. Проявляет особую жестокость к местному населению, лояльно относящемуся к конституционной власти, и особенно к пленным...» Далее идут списки уничтоженных его наемными бандитами.

Вносят китайский десантный автомат, полевую сумку с документами и японские часы «Сейко», принадлежащие Рахматулло. С этого и надо было начинать, но после гибели товарищей я проявил поспешность. Через два часа Рахматулло дает подробные показания по спискам именного состава его группы, ее кровавом пути, дислокации, структуре и личном составе спецподразделения в Пакистане. Разговор продолжается...

НЕ ПОЙТЕ ХОРОМ ПО НОЧАМ

Наше одноэтажное, похожее на спичечный коробок на боку общежитие называли «модуль». Если громко чихнуть, то желают здоровья сразу несколько голосов из разных комнат.

Два моих соседа-прапорщика, вернувшись с склада, где они днем несли службу, долго плескались под душем, неторопливо брились и, надев десантные тельняшки и пятнистые маскхалаты, выглядели бывалыми вояками. Иногда к ним приходили «чековжымалки» — женщины, которые любят за щеки «Внешпосылторга». Звуковой сценарий таких вечеров был всегда неизменен: бульканье, разговор шепотом, повизгивание. Снова бульканье, громкий разговор, русские и украинские народные песни и, наконец, богатырский храп. Многие жильцы, как и я, возвращались в «модуль» далеко за полночь и, положив по подушке на каждое ухо, засыпали, как убитые. Да и что стоит этот храп на фоне постоянной перестрелки до глубокой ночи. Приехав на несколько дней в Союз, я не мог заснуть без привычного грохота стрельбы.

Через комнату недавно поселили молодого лейтенанта, который, хотя и изматывался днем на службе, еще не привык засыпать под кабульский «оркестр». Вечером не стреляли. Но бульканье, визги и громкие разговоры за тонкой стенкой явно действовали офицеру на нервы. Когда соседи в четыре голоса затянули «Катюшу», он, вежливо постучав, приоткрыл дверь и попросил: «Ребята, можно потише?»

Картинно развалившись на стуле, красавец-прапорщик, пренебрегая нормами устава, произнес: «Пошел бы ты...!».

Остальные дружно заржали. Скромно притворив дверь, офицер ушел. Затем снова появился, неторопливо, на виду у всех разогнул усики чеки взрывателя гранаты Ф-1, бережно катнул ее по полу к ногам прапорщика и закрыл за собой дверь...

Мощно оттолкнувшись обеими ногами от пола, прапор спиной вперед стремительно вылетел в окно «модуля», вынося на плечах оконную раму. Его товарищ совершил бросок, достойный Льва Яшина, и тоже исчез. За ними «рыбкой» мелькнула полуобнаженная «чековжымалка», сверкнув ослепительно белым. И только ее «боевая подруга» застыла на кровати, напряженно глядя на гранату и подтянув сжатые колени к носу.

Помедлив, граната негромко хлопнула, и из нее потянулся небольшой дымок. Спустя секунды в оконном проеме одновременно появились растрепанные головы всех трех «певцов». Дверь в комнату снова легонько открылась, и появившийся лейтенант равнодушно-вежливо произнес: «Сейчас была учебная, в следующий раз будет боевая». Помолчав, уточнил: «Ясно, орлы?!». «Ясно!!!» — дружно ответили «герои» и их боевые подруги. С тех пор в соседней комнате всегда тишина...

РАНИЛИ СЫНА

Рано утром мои соседи по «модулю» улетали в Союз насовсем. Заранее уложили вещи в старые парашютные сумки, оформили документы и позвали меня на прощальный ужин. Я пришел, как обычно, после полуночи, закончив трудный рабочий день.

Олег улетал в Севастополь, Миша в родную Белоруссию. Боевое братство сближает. Все и обо всем было многократно обсуждено. И будущие места службы, и привычки жен и детей, характеры начальников, достоинства женщин: местных и на Родине...

Выпили и закусили опротивевшей «красной рыбой» — сайрой в томатном соусе. Лениво постреливали невдалеке часовые, отвечая на одиночные выстрелы из ближайшего кишлака. Помолчали.

Тоскливо-протяжно завывала сигнальная мина. Видимо, местный зверек-шакал неосторожно зацепил незаметную в темноте проволочку. Взлетело пять разноцветных ракет, обозначая место его пребывания, негромко хлопнул звук разрыва подпрыгнувшей мины. Как на поминках, в наступившей тишине дружно и жалостно заголосили тонкими голосами его собратья.

«Третий тост», — сказал Миша, и по традиции выпили молча, стоя и до дна за погибших товарищей. «Провожать не смогу», — сказал я и, обняв ребят на прощанье, вышел из «модуля».

Раздался резкий, пронзающий, как копьё, свист, сверкнула яркая вспышка, и страшный удар потряс «модуль». С ободранной щекой, весь в пыли, я вбежал в коридор. При свете фонариков вытащили Олега и Мишу, на санитарной машине отправили обоих в санчасть. Ракета ударила в потолочную балку комнаты и взорвалась над их головами. Взрыв разметал крышу, но вниз попали только мелкие осколки, которые изрешетили мебель и стены. Несколькими ранило Олега и Мишу, но не тяжело.

Войдя в свою комнату, я одеялом занавесил разбитое окно, заменил пробитые осколками наволочку и простыни. Крест-накрест жирно перечеркнул 342-й еще не проснувшийся день пребывания в Афганистане на разграфленном на два года самодельном календаре.

Вглядевшись в прикрепленную на стене фотокарточку жены и сыновей, обнаружил, что она пробита осколком. Тревога и невысказанный вопрос были в глазах жены. Как олененок, младший сын смотрел на мир спокойно и доверчиво. Удар пришелся по левой руке старшего — юноши, которого только что призвали в армию. Бережно погладил его раненую руку. «Больно, сынок?» — хотел спросить, но в горле пересохло. Заколело сердце, горечь сжала его тугим комком. «Ранили сына», — неотвязно терзала мысль, долго не дававшая забыться тревожным и чутким сном...



ЛИХИЕ ТРАВЫ

Вех ядовитый



Цикута

Как только сойдет снег в низких местах, по берегам озер и прудов появляются зеленые побеги вехи, напоминающие листья петрушки. Да и по запаху они похожи. Только в отличие от петрушки вех опасен, особенно для животных, которые после длинной зимы набрасываются на любую зелень. В литературе описано немало случаев, когда погибали целые стада, отравившиеся вехом.

Цикуту распознать легко, если выкопать корневище и внимательно рассмотреть: внутри оно разделено поперечными перегородками на отдельные секции. Летом издали видны высокие стебли, достигающие полутора метров. На их верхушках в июле—августе появляются мелкие белые цветки, собранные в зонтик.

Яд вехи действует быстро (в течение часа), вызывая головокружение, судороги, жажду, жжение в животе. Ядовитость не исчезает даже при высушивании, поэтому следует быть бдительным при заготовке сена на низких местах и следить, чтобы вех не остался среди скошенной травы.

Окончание. Начало в № 8, 9

ЯДОВИТЫЕ ПОПУТЧИКИ ЗЛАКОВ

СПОРЫНЯ — это гриб, паразитирующий на ржи и дикорастущих злаках. Когда споры гриба попадают на завязь злаковых растений, они начинают развиваться, переплетаясь между собой, и на месте зерновок образуются продолговатые тела — рожки темно-фиолетового цвета, которые заметно торчат из колоса.

Рожки содержат страшный яд. Потребление хлеба из муки, зараженной спорыней, порождало галлюцинации, болезни, которые народ называл злой корчей, антоновым огнем.

Лишь в XVIII веке было раскрыто коварство гриба. Но он же, между тем, является источником для получения нескольких ценных лекарств. И поскольку спорыня теперь удалена с полей, а потребность в ее препаратах осталась, то она разводится в специализированных совхозах на посевах ржи.

КУКОЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ — это очень жизнестойкий сорняк, семена которого могут прорасти даже через десять лет. Среди злаковых культур он выделяется красивым темно-розовым или ярко-лиловым цветком, производя большое количество ядовитых семян. Скармливание животным отрубей, мельничных отходов, в которые попали семена куколя, приводило к частым случаям падежа скота и птицы.

Сейчас на вооружении сельского хозяйства есть зерноочистительные машины и агрегаты, с помощью которых зерно избавляется от семян различных сорняков, в том числе и куколя.

ПЛЕВЕЛ ОПЬЯНЯЮЩИЙ так замаскировался под колосок полезного злака, что породил известное изречение: «Научиться отличать колос от плевела». Действительно, распознать его можно только при внимательном рассмотрении. У него узкие и длинные колосья, одни плодородные, другие пустые.

Яды содержатся в зерновке плевела. Случайная примесь их к муке

давала раньше «пьяный хлеб», употребление которого приводило к головокружению, судорогам, потере зрения, к бреду. Растение в медицине совершенно не употреблялось и всеми способами выводилось с полей. За его вредность и названия ему давали соответствующие — головол, плевел одуряющий.



Омежник Водяной

В низких, сырых местах, стоячих водоемах летом издали виден еще один высокий стебель с зонтиком белых мелких цветков. Растение похоже и на веху, и на болиголов — пойдй разберись.

Но разобраться надо. Это омежник, который в народе называют омегом, вехом малым, водяным морковником.

У омежника стебель более ветвистый, но главное отличие в корне: он веретеновидный или похожий на репу.

Все части омежника токсичны, а более всего ядов содержится в корнях, они опасны как для человека, так и для животных.

Раньше растение считалось пригодным в медицине. Из его семян, которые содержат приятное балламическое вещество, готовили лекарства для лечения пневмонии, бронхита, туберкулеза легких, бронхиальной астмы, а также некоторых заболеваний желудка. В народе называли растение водяным укропом, так как использовали плоды, похожие на известный нам укроп.



Эдгар БЕРРОУЗ

*Рис. Елены Пьянковой
и Николая Мооса*

Д'Арно передал Тарзану оба письма, оставленные на его имя.

Тарзан прочел первое с выражением печали на лице. Второе он долго переворачивал, не зная, как его открыть. Тарзан никогда не видел до этого заклеенного письма.

Д'Арно наблюдал за ним и понял: его привел в замешательство конверт. Казалось странным, что для взрослого белого человека конверт был загадкой! Д'Арно вскрыл его и передал письмо Тарзану.

Усевшись на походный стул, обезьяна-человек разложил перед собой исписанные листы и прочел:

«Тарзану, из племени обезьян. Прежде чем я уеду, позвольте мне присоединить мою благодарность к благодарности мистера Клейтона за данное вами любезное разрешение пользоваться вашей хижиной.

Мы очень сожалеем, что вы так и не пришли познакомиться с нами. Мы были бы так рады повидать и поблагодарить нашего хозяина!

Продолжение. Начало в № 4—10

Есть еще другой, которого я тоже хотела бы поблагодарить, но он не вернулся, хотя я не могу поверить, что он умер.

Его имени я не знаю. Он — большой белый гигант, носивший бриллиантовый медальон на груди. Если вы знаете его и можете говорить на его языке, передайте ему мою благодарность и скажите, что я семь дней ждала его возвращения. Скажите ему также, что я живу в Америке, в городе Балтимора. Там он всегда будет для меня желанным гостем, если пожелает навестить меня.

Я нашла записку, которую вы мне написали. Она лежала между листьями под деревом около хижины. Не знаю, как вы, никогда не говоривший со мною, сумели полюбить меня? И я очень огорчена, если это правда, потому что я свое сердце отдала другому.

Но знайте, что я всегда останусь вашим другом.

Джен Портер».

Тарзан почти целый час сидел, потупившись. Из писем ему стало понятно: они не знали, что он и Тарзан — один и тот же человек: «Я отдала мое сердце другому», — повторял он снова и снова про себя.

Значит, она не любит его! Как могла она притворяться, что любит, и вознести его на такую высоту надежды только для того, чтобы потом сбросить в бездну отчаяния? Быть может, ее поцелуи были только знаком дружбы? Что может знать он о человеческих обычаях?

Неожиданно Тарзан встал и, пожелав д'Арно доброй ночи, как тот научил его, бросился на постель из папоротников, на которой прежде спала Джен Портер.

Д'Арно потушил лампу и тоже лег.

Целую неделю они только и делали, что отдыхали, и д'Арно учил Тарзана французскому языку. К концу недели они уже могли кое-как объясняться.

Однажды поздно вечером, когда они сидели в хижине, собираясь ложиться спать, Тарзан обратился к д'Арно.

— Где Америка? — спросил он.

Д'Арно показал на северо-запад.

— На многие тысячи миль за океаном. Для чего вам это?

— Я собираюсь туда.

Д'Арно покачал головой.

— Это невозможно, друг мой, — сказал он.

Тарзан встал и, подойдя к одному из шкафов, вернулся с основательно зачитанной географией в руках. Раскрыв карту мира, он сказал:

— Я никогда не мог хорошенько понять всего этого, объясните, пожалуйста.

Д'Арно исполнил его просьбу, сказав, что синяя краска означает воду на земле, а пятна других цветов — континенты и острова. Тарзан попросил указать место, где они теперь находятся.

Д'Арно это сделал.

— Теперь укажите, где Америка, — сказал Тарзан.

И когда д'Арно дотронулся пальцем до Северной Америки, Тарзан улыбнулся и, положив на страницу ладонь, измерил ею Атлантический океан, лежащий между материками.

— Как видите, это недалеко, моя рука шире! Д'Арно рассмеялся. Как же заставить понять этого человека?

Он взял карандаш и сделал крошечную точку на берегу Африки.

— Этот маленький знак на карте, — сказал он, — во много раз больше, чем ваша хижина на земле. Видите вы теперь, как это далеко?

Тарзан задумался.

— Живут ли белые люди в Африке? — спросил он.

— Живут.

— Где живут самые близкие?

Д'Арно указал на карте точку к северу от них.

— Так близко? — с удивлением спросил Тарзан.

— Да, — ответил д'Арно, — но это совсем не близко.

— А у них есть большие суда для переезда через океан?

— Есть.

— Мы пойдем туда завтра, — заявил Тарзан.

Д'Арно улыбнулся и покачал головой.

— Это слишком далеко! Мы умрем много раньше, чем доберемся туда.

— Вы хотите остаться здесь навсегда? — спросил Тарзан.

— О, нет, — ответил д'Арно.

— Ну, тогда мы завтра двинемся с места. Здесь мне больше не нравится. Я готов скорее умереть, чем оставаться здесь.

— Хорошо, — ответил д'Арно, пожав плечами. — Не знаю, друг мой, но и я тоже скажу, что предпочел бы умереть, чем жить здесь. Если вы уйдете, и я уйду с вами.

— Значит, решено, — сказал Тарзан. — Завтра я отправляюсь в Америку.

— Как же вы поедете в Америку без денег? — спросил д'Арно.

— Что такое деньги? — удивился Тарзан.

Потребовалось немало времени, чтобы он хоть смутно понял.

— Как люди добывают деньги? — спросил он.

— Они их зарабатывают.

— Отлично. Я заработаю.

— Нет, друг мой, — возразил д'Арно. — О деньгах вы не должны беспокоиться и вам не нужно будет зарабатывать. У меня их достаточно для двоих, даже для двадцати, — денег у меня гораздо больше, чем это нужно для одного человека. И вы будете иметь все, что пожелаете, если мы когда-нибудь доберемся до цивилизации.

Утром они двинулись в путь вдоль берега. Каждый нес ружье и патроны, а также постель и немного провизии и кухонных принадлежностей. Последние показали Тарзану совершенно бесполезными бременем, и он выбросил свои.

— Но вы должны научиться есть вареную пищу, мой друг, — усовещал его д'Арно. — Ни один цивилизованный человек не ест мясо сырым.

— Хватит у меня времени научиться, когда я доберусь до цивилизации. Мне эти вещи не нравятся, они только портят вкус хорошего мяса.

Целый месяц шли они к северу, иногда находя себе пищу в изобилии, а иногда голодая по нескольку дней.

Они не встречали и признаков туземцев, а ди-

кие звери их не беспокоили. В общем, их путешествие было необыкновенно удачно.

Тарзан забрасывал товарища вопросами, и его познания быстро увеличивались. Д'Арно учил его тонкостям цивилизации, умению пользоваться ножом и вилкой. Но иногда Тарзан с отвращением бросал их и, схватив пищу сильными загорелыми руками, рвал ее крепкими зубами, как дикий зверь.

Тогда д'Арно сердился и говорил:

— Вы не должны есть, как скот, Тарзан. Я так стараюсь сделать из вас джентльмена. Джентльмены не делают так — это просто ужасно!

Тарзан улыбался смущенно и снова брался за вилку и нож, но в душе он их ненавидел.

По дороге он рассказал д'Арно историю о большом сундуке, о том, как матросы зарыли его, как он его отрыл, перенес на сборное место обезьян и там зарыл снова.

— Должно быть, это сундук с кладом профессора Портера, — сообразил д'Арно. — Это очень, очень нехорошо, но, конечно, вы не знали!

Тарзан тут только вспомнил и понял письмо, написанное Джен Портер ее приятельнице, украденное им у нее в первый же день устройства пришельцев в его хижине. Теперь он знал, что было в сундуке и что он значил для Джен Портер.

— Завтра же вернемся назад за сундуком, — объявил он, обращаясь к д'Арно.

— Назад?! — воскликнул д'Арно. — Но, дорогой мой, мы уже три недели в пути, нам придется употребить еще три недели для обратного путешествия за кладом. И затем, при огромном весе сундука, для переноски которого потребовались четыре матроса, пройдут месяцы, пока мы опять дойдем до этого места.

— Но это нужно, друг мой, — настаивал Тарзан. — Идите дальше к цивилизации, а я вернусь за кладом. Один я смогу идти куда скорее.

— У меня есть план получше, Тарзан! — воскликнул д'Арно. — Мы вместе дойдем до ближайшего поселения. Там мы найдем гребное судно и вернемся за сокровищем морем вдоль берега, таким образом доставка его будет гораздо легче. Это и быстрее, и безопаснее, и не заставит нас разлучаться. Что вы думаете о моем плане, Тарзан?

— Идет! — сказал Тарзан. — Сокровище окажется на месте, когда бы мы не явились за ним, и хотя я мог бы сходить туда теперь и нагнать вас через месяц или два, но буду спокоен за вас, пока мы вместе. Когда я вижу, до чего вы беспомощны, д'Арно, я просто удивляюсь, как человеческий род мог избежать уничтожения за долгие века, о которых вы мне говорили. Одна Сабор могла бы истребить тысячи таких, как вы.

Д'Арно засмеялся:

— Вы будете более высокого мнения о своем роде, когда увидите его армии и флоты, огромные города и могучие механические приспособления. Тогда вы поймете, что ум, а не мускулы, ставит человеческое существо выше могучих зверей ваших джунглей. Одинокий и безоружный человек, конечно, не равен по силе крупному зверю, но если десять человек соберутся, они соединят свой ум и свои мускулы против диких врагов, в то время как звери, не способные рассуждать, никогда не

задумаются о союзе против людей. Если бы было иначе, Тарзан, сколько прожили бы вы в диком лесу?

— Вы правы, д'Арно,— ответил Тарзан.— Если бы Керчак пришел на помощь Тублату в ночь Дум-Дума, мне был бы конец. Но Керчак не сумел воспользоваться таким подходящим для него случаем. Даже Кала, моя мать, не могла строить планов вперед. Она просто ела, сколько ей было нужно и когда она хотела есть. Находя много пищи в такие времена, когда мы голодали, она и не думала запастись ее впрок. Помню, она считала большой глупостью с моей стороны обременять себя излишней ношей во время переходов, хотя была очень рада есть вместе со мной, когда мы ничего не находили.

— Значит, вы знали свою мать, Тарзан? — спросил с удивлением д'Арно.

— Знал. Это была красивая обезьяна, больше меня ростом и тяжелее меня в два раза.

— А ваш отец? — спросил д'Арно.

— Его я не знал. Кала говорила, что он был белой обезьяной и безволосым, как я. Теперь знаю, что, должно быть, он был белым человеком.

Д'Арно долго и пристально рассматривал своего спутника.

— Тарзан,— сказал он наконец,— невозможно, чтобы обезьяна Кала была вашей матерью. Если это так, вы унаследовали бы хоть какие-нибудь особенности обезьяны. А у вас их совсем нет. Вы — чистокровный человек и, вероятно, сын высококультурных родителей. Неужели у вас нет хотя бы слабых указаний на ваше прошлое?

— Нет никаких,— ответил Тарзан.

— Никаких записок в хижине, которые могли бы пролить какой-нибудь свет на жизнь ее прежних обитателей?

— Я прочел все, что было в хижине, за исключением одной книжки, которая, как я знаю теперь, была написана не по-английски, а на каком-то другом языке. Может быть, вы сумеете прочесть ее.

Тарзан вытащил со дна своего колчана маленькую черную книжку и подал ее своему спутнику.

Д'Арно взглянул на заглавный лист.

— Это дневник Джона Клейтона, лорда Грэйстока, английского дворянина, и он написан по-французски,— сказал он и тут же принялся читать написанный более двадцати лет назад дневник, в котором передавались подробности истории, уже нам известной,— истории приключений, лишений и горестей Джона Клейтона и его жены Элис со дня их отъезда из Англии. Оканчивался дневник за час до того, как Клейтон был сражен насмерть Керчаком.

Д'Арно читал громко. По временам его голос срывался, и он был вынужден останавливаться. Какая страшная безнадежность сквозила между строками!

По временам он оглядывался на Тарзана. Но обезьяна-человек сидел на корточках неподвижный, как каменный идол.

Только когда начались упоминания о малютке, тон в дневнике изменился, исчезла нота отчаяния, вкрашаясь в дневник после первых двух месяцев пребывания на берегу. Теперь он был окрашен



каким-то тихим счастьем, производившем еще более грустное впечатление, чем все остальное.

Одна из записей звучала почти бодро:

«Сегодня моему мальчику исполнилось шесть месяцев. Он сидит на коленях Элис у стола, за которым пишу я, это счастливый, здоровый, прекрасный ребенок.

Так или иначе, даже против здравого смысла, мне представляется, что я вижу его взрослым, занявшим в свете положение отца, и этот второй Джон Клейтон покрывает новою славой род Грэйстоков.

И вот, как будто для того, чтобы придать моему пророчеству вес своей подписью, он схватил мое перо в пухленький кулачок и поставил на странице печать своих крошечных пальчиков, перепачканных в чернилах».

И тут же на полях страницы были видны слабые и наполовину замазанные отпечатки четырех крошечных пальчиков и внешняя часть большого пальца.

Когда д'Арно кончил читать, оба человека просидели некоторое время молча.

— Скажите, Тарзан, о чем вы думаете? — спросил д'Арно. — Разве эта маленькая книжечка не раскрыла перед вами тайну вашего происхождения? Да ведь вы же лорд Грэйсток!

Голова Тарзана поникла.

— В книжке все время говорят только об одном ребенке, — ответил он. — Маленький скелетик его лежал в колыбели, где он умер от голода. Он лежал там с первого дня, как я вошел в хижину, и до того дня, когда экспедиция профессора Портера похоронила его рядом с отцом и матерью у стены хижины. Это и был ребенок, упоминаемый в дневнике, и тайна моего происхождения стала еще темнее, чем прежде, потому что последнее время я сам много думал о возможности, что эта хижина была местом моего рождения. Я думаю, Кала говорила правду, — грустно заключил Тарзан.

Д'Арно покачал головой. Он не был убежден, и в уме его зародилось решение доказать правильность своей теории, потому что он нашел ключ, который мог открыть тайну.

Неделю спустя путники неожиданно вышли из джунглей на поляну.

В глубине высилось несколько зданий, обнесенных крепким частоколом. Между ними и оградой расстилось возделанное поле, на котором работало множество негров.

Оба остановились на опушке джунглей. Тарзан уже готов был спустить отравленную стрелу со своего лука, но д'Арно ухватил его за руку.

— Что вы делаете, Тарзан? — крикнул он.

— Они будут пытаться убить нас, если увидят, — ответил Тарзан. — Я предпочитаю сам быть убийцей.

— Но, может быть, они наши друзья, — возразил д'Арно.

— Это черные люди, — было единственным ответом Тарзана. И он снова натянул тетиву.

— Вы не должны этого делать, Тарзан! — крикнул д'Арно. — Белые люди не убивают зря. Господи, сколько вам еще нужно учиться! Я жалею того буяна, который рассердит вас, мой дикий друг, когда я привезу вас в Париж. У меня бу-

дет хлопот полон рот, чтобы уберечь вас от гильотины.

Тарзан улыбнулся и опустил лук.

— Я не понимаю, почему я должен убивать чернокожих в джунглях и не могу убивать их здесь? Ну, а если лев Нума прыгнул бы здесь на нас, я, видимо, должен был сказать ему: «С добрым утром, мосье Нума, как поживает мадам Нума?»

— Подождите, пока чернокожие на нас бросятся, — возразил д'Арно, — тогда стреляйте. Но пока люди не докажут, что они наши враги, не следует предполагать этого.

— Пойдемте, — сказал Тарзан, — пойдемте и представимся им, чтобы они сами убили нас! — И он пошел прямо поперек поля, высоко подняв голову. Тропическое солнце обливало своими лучами его гладкую смуглую кожу.

Позади него шел д'Арно, одетый в платье, брошенное Клейтоном в хижине после того, как французские офицеры с крейсера снабдили его более приличной одеждой.

Но вот один из чернокожих поднял глаза, увидел Тарзана и с криком бросился к частоколу.

В один миг воздух наполнился возгласами ужаса убежавших работников, но прежде, чем они добежали до палисада, белый человек появился из-за ограды с ружьем в руках, желая узнать причину волнения.

То, что он увидел перед собой, заставило его взять ружье на изготовку, и Тарзан вторично попробовал бы свинца, если бы д'Арно не крикнул громко человеку с наведенным ружьем:

— Не стреляйте! Мы друзья!

— Ни с места, в таком случае! — послышался ответ.

— Стойте, Тарзан! — крикнул д'Арно. — Они думают, что мы враги.

Тарзан остановился, а затем он и д'Арно стали медленно подходить к белому человеку у ворот... Последний рассматривал их с изумлением, граничащим с растерянностью.

— Кто вы? — спросил он по-французски.

— Белые люди, — ответил д'Арно. — Мы долго скитались по джунглям.

Тогда человек опустил ружье и подошел к ним с протянутой рукой.

— Я отец Константин из здешней французской миссии, — сказал он, — и рад приветствовать вас.

— Это мосье Тарзан, отец Константин, — ответил д'Арно, указывая на обезьяну-человека, и когда священник протянул руку Тарзану, д'Арно добавил: — А я — Поль д'Арно, офицер французского флота.

Отец Константин пожал руку, которую Тарзан протянул ему в подражание его жесту, и окинул быстрым и пронизательным взглядом его великолепное сложение и прекрасное лицо.

Тарзан, обезьяний приемыш, пришел на передовой пост цивилизации в Африке.

Они пробыли здесь неделю, и обезьяна-человек, до крайности наблюдательный, многому научился. А в это время черные женщины шили для него и для д'Арно белые парусиновые костюмы, чтобы они могли продолжать свое путешествие в более пристойном виде.

На высоте цивилизации

Месяц спустя они добрались до небольшого поселка в устье широкой реки. Здесь Тарзан увидел целую флотилию судов, и снова в присутствии множества людей стал испытывать робость дикого лесного существа. Но мало-помалу он привык к непонятным шумам и странным обычаям цивилизованного поселка, и никто не мог и подумать, что этот красивый француз в безупречном белом костюме, смеявшийся и болтавший с самыми веселыми из них, еще два месяца назад мчался нагишом через листву первобытных деревьев, нападая на неосмотрительную жертву и пожирая ее сырой!

Ножом и вилкой, которые он так презрительно отбросил месяц тому назад, Тарзан управлялся теперь столь же изысканно, как и сам д'Арно.

Он был необычайно способным учеником, и молодой француз упорно работал над быстрым превращением Тарзана, приемыша обезьян, в совершенного джентльмена, шлифуя его манеры и речь.

— Бог создал вас джентльменом в душе, мой друг, — говорил д'Арно, — но нужно, чтобы это проявилось и во внешности вашей.

Как только они добрались до маленького порта, д'Арно известил по телеграфу свое правительство о том, что он невредим, и просил о трехмесячном отпуске, который и был ему дан.

Он протелеграфировал также и своим банкирам о высылке денег. Обоих друзей томило вынужденное бездействие. Целый месяц, ожидая денег, они не имели возможности зафрахтовать судно, чтобы забрать клад.

Во время их пребывания в прибрежном городе личность мосье Тарзана сделалась предметом удивления и белых, и черных из-за нескольких происшествий, казавшихся ему самому вздорными пустяками.

Однажды огромный негр, допившийся до белой горячки, терроризировал весь город, пока не забрел на свое горе на веранду гостиницы, где, небрежно облокотившись, сидел черноволосый французский гигант. Негр поднялся, размахивая ножом, по широким ступеням и набрел на компанию из четырех мужчин, которые, сидя за столиком, прихлебывали неизбежный абсент. Все четверо убежали со всех ног с испуганными криками, и тогда негр заметил Тарзана. Он с ревом набросился на обезьяну-человека, и множество глаз устремилось на Тарзана. Все были уверены, что гигантский негр зарежет бедного француза.

Тарзан встретил нападение с вызывающей улыбкой, словно стальной обруч охватил черную кисть руки с занесенным ножом. Одно мгновенное усилие — и рука повисла с переломанными костями. От боли и изумления чернокожий сразу же отрезвел, и когда Тарзан спокойно опустился в свое кресло, негр с пронзительным воплем кинулся со всех ног к своему родному поселку.

В другой раз Тарзан и д'Арно сидели за обедом с несколькими другими белыми. Речь зашла о львах и об охоте за львами. Насчет храбрости царя зверей мнения разделились. Некоторые утверждали, что лев — отъявленный трус, но все соглашались, что когда ночью около лагеря раз-

дается рев монарха джунглей, то они испытывают чувство безопасности, только держась за скорострельные ружья.

Д'Арно и Тарзан заранее условились, что прошлое Тарзана должно сохраняться в тайне, и, кроме французского офицера, никто не знал о близком знакомстве Тарзана с лесными зверями.

— Мосье Тарзан еще не высказал своего мнения, — промолвил один из собеседников. — Человек с такими данными, как у него, и который провел, как я слышал, некоторое время в Африке, непременно должен был так или иначе столкнуться со львами, не так ли?

— Да, — сухо ответил Тарзан. — Столкнулся настолько, чтобы знать, что каждый из вас прав в своих суждениях о львах, которые вам повстречались, но с таким же успехом можно судить и о чернокожих по тому негру, который взбесился здесь на прошлой неделе, или решить сплеча, что все белые — трусы, встретив одного трусливого европейца. Среди низших пород, джентльмены, столько же индивидуальностей, сколько и среди нас самих. Сегодня вы можете натолкнуться на льва с более чем робким нравом — он убежит от вас. Завтра вы нарветесь на его дядю или даже на его брата-близнеца, и друзья ваши будут удивляться, почему вы не возвращаетесь из джунглей. Лично же я всегда заранее предполагаю, что лев свиреп, и всегда держусь настороже.

— Охота представляла бы немного удовольствия, — возразил первый говоривший, — если бы охотник боялся дичи, за которой охотится!

Д'Арно улыбнулся: Тарзан боится!

— Я не вполне понимаю, что вы хотите сказать словом страх, — заявил Тарзан. — Как и львы, страх тоже различен у различных людей. Но для меня единственное удовольствие охоты заключается в сознании, что дичь моя настолько же опасна для меня, насколько я сам опасен для нее. Если бы я отправился на охоту за львами с двумя скорострельными ружьями, с носильщиком и двадцатью загонщиками, мне думалось бы, что у льва слишком мало шансов, и мое удовольствие в охоте уменьшилось бы пропорционально увеличению моей безопасности.

— В таком случае остается предположить, что мосье Тарзан предпочел бы отправиться на охоту за львами нагишом и вооруженный одним лишь ножом? — рассмеялся говоривший раньше, добродушно, но с легким оттенком сарказма в тоне.

— И с веревкой, — добавил Тарзан.

Как раз в эту минуту глухое рычание льва донеслось из далеких джунглей, словно бросая вызов смельчаку, который решил бы выйти с ним на бой.

— Вот вам удобный случай, мосье Тарзан, — посмеялся француз.

— Я не голоден, — просто ответил Тарзан.

Все рассмеялись, за исключением д'Арно. Он один знал, насколько логична и серьезна эта причина в устах обезьяны-человека.

— Признайтесь, вы боялись бы, как побоялся бы каждый из нас, пойти сейчас в джунгли нагишом, вооруженный только ножом и веревкой, — сказал шутник.

— Нет, — ответил ему Тарзан. — Но глупец тот, кто совершает поступок без всякого основания.

— Пять тысяч франков — вот вам и основание, — сказал другой француз. — Бьюсь об заклад на эту сумму, что вы не сможете принести из джунглей льва при соблюдении упомянутых вами условий: нагишом и вооруженный ножом и веревкой.

Тарзан взглянул на д'Арно и утвердительно кивнул головой.

— Ставьте десять тысяч, — предложил д'Арно.

— Хорошо, — ответил тот.

Тарзан встал.

— Мне придется оставить свою одежду на краю селения, чтобы не идти нагишом по улицам, если я не вернусь до рассвета.

— Неужели вы пойдете сейчас? — воскликнул бывший об заклад. — Ведь темно?

— Почему же нет? — спросил Тарзан. — Нума бродит по ночам, будет легче найти его.

— Нет, — заявил тот. — Я не хочу, чтобы ваша кровь была на моей совести. Достаточно риска, если вы пойдете днем.

— Я пойду сейчас! — возразил Тарзан и отправился в свою комнату за ножом и веревкой.

Все остальные проводили его до опушки джунглей, где он оставил одежду в маленьком амбаре.

Но когда он собрался вступить в темноту низких зарослей, они попытались отговорить его, и тот, кто бился об заклад, больше всех настаивал, чтобы Тарзан отказался от безумной затеи.

— Я буду считать, что вы выиграли, — сказал он, — и десять тысяч франков ваши, если вы откажетесь от этого сумасшедшего предприятия, оно обязательно кончится вашей гибелью.

Тарзан только засмеялся, и через мгновение джунгли поглотили его.

Сопровождавшие постояли молча несколько минут и затем медленно пошли назад, на веранду отеля.

Не успел Тарзан войти в джунгли, как взобрался на деревья и с чувством ликующей свободы помчался по лесным ветвям.

Вот это — жизнь! Ах, как он ее любит! Цивилизация не имеет ничего подобного в своем узком и ограниченном кругу, сдавленном со всех сторон всевозможными условностями и границами. Даже одежда была помехой и неудобством. Наконец он свободен! Он не понимал до этого, каким пленником был целый месяц! Как хорошо было бы вернуться назад к берегу и двинуться на юг к своим джунглям, к хижине у бухты!

Он издали почуял запах Нумы, потому что шел против ветра. Его острый слух уловил знакомый звук мягких лап и трение огромного, покрытого мехом тела о низкий кустарник.

Тарзан спокойно перепрыгнул по веткам над ничем не подозревающим зверем и выслеживал его, пока не добрался до небольшой поляны, освещенной лунным светом. Когда быстрая петля обвила и сдавила бурое горло, как в былые времена, Тарзан затянул конец веревки за крепкий сук, и пока зверь боролся за свободу и рвал когтями воздух, Тарзан прыгнул на землю позади него. Вскочив на его большую спину, он вонзил раз десять длинное узкое лезвие в свирепое сердце льва. Поставив ногу на труп Нумы, он громко издал ужасный победный клич своего дикого племени.

С минуту Тарзан стоял в нерешительности под напльвом противоречивых чувств: верность к д'Арно боролась в нем с порывом к свободе родных джунглей. Но воспоминание о прекрасном лице и горячих губах, крепко прижатых к его губам, победило обворожительную картину прошлого, которую он нарисовал себе. Обезьяна-человек забросил на плечи еще теплую тушу и опять прыгнул на деревья.

Люди на веранде сидели молча уже целый час. Они безуспешно пытались говорить на разные темы, но неотвязная мысль, которая мучила каждого из них, заставляла уклоняться от разговора.

— Боже мой! — произнес бывший об заклад. — Я больше не могу терпеть. Пойду в джунгли с моим скорострельным ружьем и приведу назад этого сумасброда.

— Я тоже пойду с вами, — сказал один.

— И я, и я, и я, — вразнобой воскликнули остальные.

Эти слова как будто нарушили чары какого-то злого ночного кошмара. Все бодро поспешили по своим комнатам и затем, основательно вооруженные, направились в джунгли.

— Господи! Что это такое? — внезапно крикнул один англичанин, когда дикий вызов Тарзана еле слышно долетел до их слуха.

— Я слышал однажды нечто подобное, — сказал бельгиец, — когда был в стране горилл. Мои носильщики сказали, что это крик большого самца-обезьяны, убившего в бою противника.

Д'Арно вспомнил слова Клейтона об ужасном реве, которым Тарзан возвещал о своей победе, и украдкой улыбнулся, несмотря на свой ужас, при мысли, что этот раздирающий душу крик вырвался из человеческого горла, — из уст его друга!

В то время, когда все общество остановилось на краю джунглей и стало обсуждать, как лучше распределить свои силы, все вдруг вздрогнули, услышав рядом негромкий смех, и, обернувшись, увидели возникшую из зарослей гигантскую фигуру с львиной тушей за плечами.

Даже д'Арно был как громом поражен, ему казалось невозможным, чтобы с тем жалким оружием, которое взял Тарзан, он мог так быстро покончить со львом, мало того, в одиночку пронести огромную тушу сквозь непроходимые джунгли.

Все окружили Тарзана, засыпая вопросами, но он только пренебрежительно усмехался, когда ему говорили о его подвиге. Он так часто убивал ради пищи или при самозащите, что этот поступок насколько не казался ему замечательным. Но в глазах людей, привыкших охотиться за крупной дичью, он был настоящим героем, кроме того, он неожиданно приобрел десять тысяч франков, ибо д'Арно настоял на том, чтобы долг был принят.

Это было очень существенно для Тарзана, он уже начал понимать, какая сила кроется в маленьких кружочках металла или бумажках, постоянно переходящих из рук в руки, когда человеческие существа ездят, едят, спят, одеваются, пьют, работают, играют или снимают приют для защиты от холода, дождя и солнца. Для Тарзана стало очевидным, что без денег среди людей прожить нельзя. Д'Арно говорил ему, чтобы он не беспокоился, так как у него денег больше, чем нужно.

для обоих. Но обезьяна-человек многому научился и, между прочим, тому, что люди смотрят сверху вниз на человека, который берет деньги от других, не давая ничего равноценного.

Вскоре после случая с охотой за львом д'Арно удалось зафрахтовать старый парусник для каботажного рейса в бухту Тарзана. Они были счастливы, когда маленькое судно подняло парус и вышло в море.

Плавание вдоль берегов прошло благополучно, и на утро после того, как они бросили якорь перед хижиной, Тарзан, прихватив лопату, отправился в амфитеатр обезьян, где был зарыт клад. На следующий день к вечеру он вернулся, неся на плечах большой сундук. При восходе солнца маленькое судно вышло из бухты и пустилось в обратный путь на север.

Три недели спустя Тарзан и д'Арно уже были пассажирами на борту французского парохода, шедшего в Лион. А через несколько дней д'Арно повез Тарзана в Париж.

Приемыш обезьян страстно стремился скорей попасть в Америку, но д'Арно настоял, чтобы он сперва съездил с ним в Париж, хотя отказался объяснить, на какой безотлагательной надобности основана его просьба.

Одним из первых дел д'Арно в Париже стал визит старому приятелю, крупному чиновнику департамента полиции, куда он взял с собой и Тарзана.

Д'Арно ловко переводил разговор с одного вопроса на другой, пока чиновник не объяснил заинтересовавшемуся Тарзану многие из современных методов для захвата и опознавания преступников.

Тарзана особенно поразило изучение отпечатков пальцев, применяемое этой интересной наукой.

— Но какую же ценность могут иметь эти отпечатки, — спросил Тарзан, — если через несколько лет линии на пальцах будут совершенно изменены отмиранием старой ткани и нарастанием новой?

— Линии не меняются никогда, — ответил чиновник. — С детства и до старости отпечатки пальцев каждого индивида меняются только в величине, ну разве что порезы изменяют петли и изгибы. Но если были сняты отпечатки большого пальца и всех четырех пальцев обеих рук, индивид должен потерять их все, чтобы избегнуть опознания.

— Изумительно! — воскликнул д'Арно. — Хотел бы я знать, на что похожи линии на моих пальцах?

— Это мы можем сейчас увидеть, — объявил полицейский чиновник, и на его звонок явился помощник, которому он отдал несколько распоряжений. Чиновник вышел из комнаты, но тотчас вернулся с деревянной шкатулкой, которую он и поставил на пюпитр своего начальника.

— Теперь, — сказал чиновник, — вы получите отпечаток ваших пальцев в одну секунду.

Он вынул из шкатулки квадратную стеклянную пластинку, тонкую трубочку густых чернил, резиновый валик и несколько белоснежных карточек. Выжав каплю чернил на стекло, он раскатывал ее резиновым валиком до тех пор, пока вся по-



верхность стекла не покрылась очень тонким и равномерным слоем чернил.

— Положите четыре пальца вашей правой руки на стекло, вот так,— сказал чиновник д'Арно.— Теперь большой палец... Хорошо. А теперь в таком же положении опустите их на эту карточку, сюда, нет, немножко правее. Мы должны оставить место для большого пальца и для четырех пальцев левой руки. Так!

— Теперь ваша очередь, Тарзан! — сказал д'Арно.— Посмотрим, на что похожи ваши пегли.

Тарзан тотчас же согласился, и во время операции забросал чиновника вопросами:

— Можно ли отличить отпечатки обезьяны от отпечатков человека?

— Вероятно, да, потому что отпечатки обезьяны куда проще отпечатков более высокого организма.

— Но помесь обезьяны с человеком может ли выказать отличительные признаки каждого из двух родителей?

— Думаю, что да,— ответил чиновник,— но наука эта еще не достаточно разработана, чтобы дать точный ответ на подобные вопросы. Лично я не могу довериться ее открытиям дальше распознавания между отдельными индивидами. Тут она абсолютна. Вероятно, во всем мире не найдется двух людей с тождественными линиями на всех пальцах. Весьма сомнительно, чтобы хоть один отпечаток конкретного человеческого пальца мог сойтись с отпечатком другого человека.

— Требуется ли сравнение много времени и труда? — спросил д'Арно.

— Обыкновенно лишь несколько минут, если отпечатки отчетливы.

Д'Арно достал из своего кармана маленькую черную книжку и стал перелистывать страницы.

Тарзан с удивлением взглянул на книжечку. Каким образом она оказалась у д'Арно?

Д'Арно остановился на странице, на которой было пять крошечных пятнышек.

Он передал открытую книжку полицейскому чиновнику.

— Похожи ли эти отпечатки на мои или мосье Тарзана? Не тождественны ли они с отпечатками одного из нас?

Чиновник вынул из конторки очень сильную лупу и стал внимательно рассматривать все три образца отпечатков, делая в то же время отметки на листочке бумаги.

Тарзан, наконец, понял смысл посещения ими полицейского чиновника. В этих крошечных пятнах лежала разгадка его жизни. Он сидел, напряженно наклонившись вперед, но внезапно откинулся, печально улыбаясь, на спинку стула.

Д'Арно взглянул на него с удивлением.

— Вы забываете,— сказал Тарзан с горечью,— что тело ребенка, сделавшего эти отпечатки пальцев, лежало мертвым в хижине его отца и что всю мою жизнь я видел его лежащим там.

Полицейский чиновник взглянул на них с недоумением.

— Продолжайте, продолжайте, мосье, мы расскажем вам всю эту историю потом, если только мосье Тарзан согласится.

Тарзан утвердительно кивнул головой и продолжал настаивать.

— Вы сошли с ума, дорогой мой д'Арно! Эти маленькие пальцы давно похоронены на западном берегу Африки.

— Я этого не знаю, Тарзан,— возразил д'Арно.— Возможно, что так. Но если вы не сын Джо-на Клейтона, тогда скажите мне именем неба, как вы попали в эти богом забытые джунгли, куда не ступала нога ни одного белого, исключая его?

— Вы забываете Калу,— сказал Тарзан.

— Я ее совсем не принимаю в соображение! — возразил д'Арно.

Разговаривая, друзья отошли к широкому окну, выходящему на бульвар. Некоторое время они простояли здесь, вглядываясь в кишашую толпу, каждый из них был погружен в свои мысли.

Однако сравнение отпечатков пальцев требует времени,— подумал д'Арно и обернулся, чтобы посмотреть на полицейского чиновника.

К своему изумлению он увидел, что тот откинулся на спинку стула и тщательно исследует содержание маленького черного дневника. Д'Арно кашлянул. Полицейский взглянул и, встретив его взгляд, поднял палец.

— Очевидно, от точности этого сравнения зависит многое. Поэтому прошу вас оставить все дело в моих руках, пока не вернется мосье Дескер, наш эксперт. Это займет несколько дней.

— Я надеялся узнать немедленно,— сказал д'Арно.— Мосье Тарзан уезжает завтра в Америку.

— Обещаю вам, что вы сможете протелеграфировать ему отчет не позже, чем через две недели,— заявил чиновник.— Но сказать, какой будет результат, я сейчас не решусь. Сходство есть несомненно, но пока лучше оставить решение на усмотрение мосье Дескера.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ



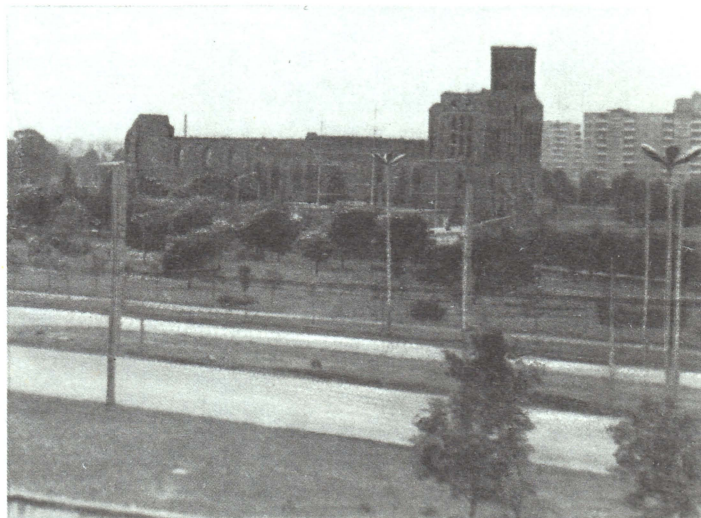
ЭСТАФЕТА ИДЕИ

Иммануил Кант

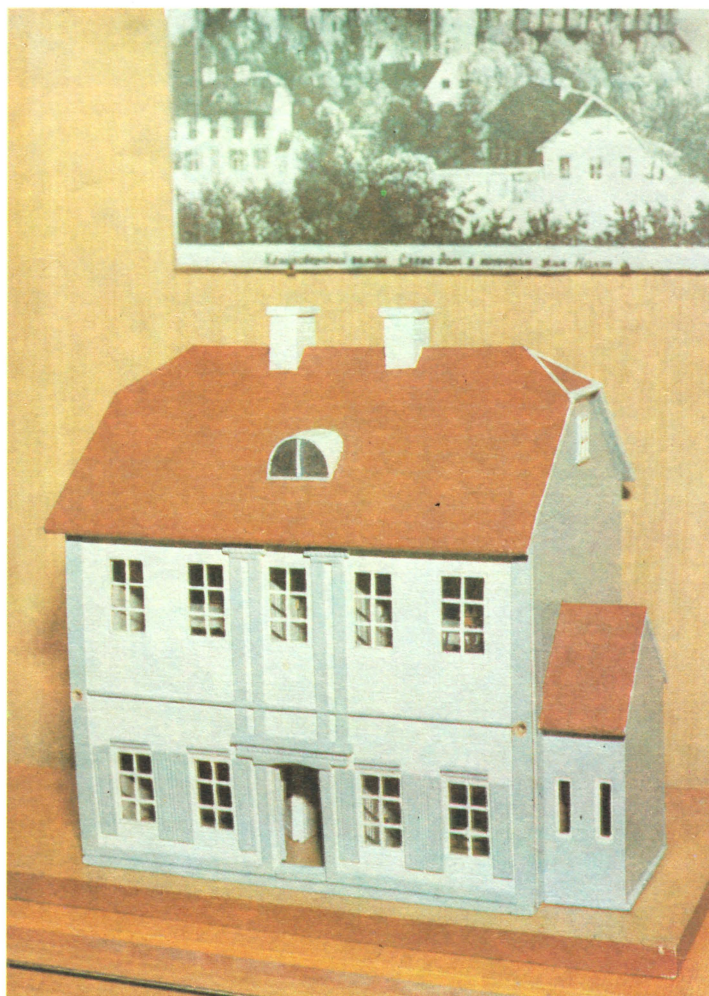
Татьяна БУРУКОВСКАЯ

Фото Николая Маркова

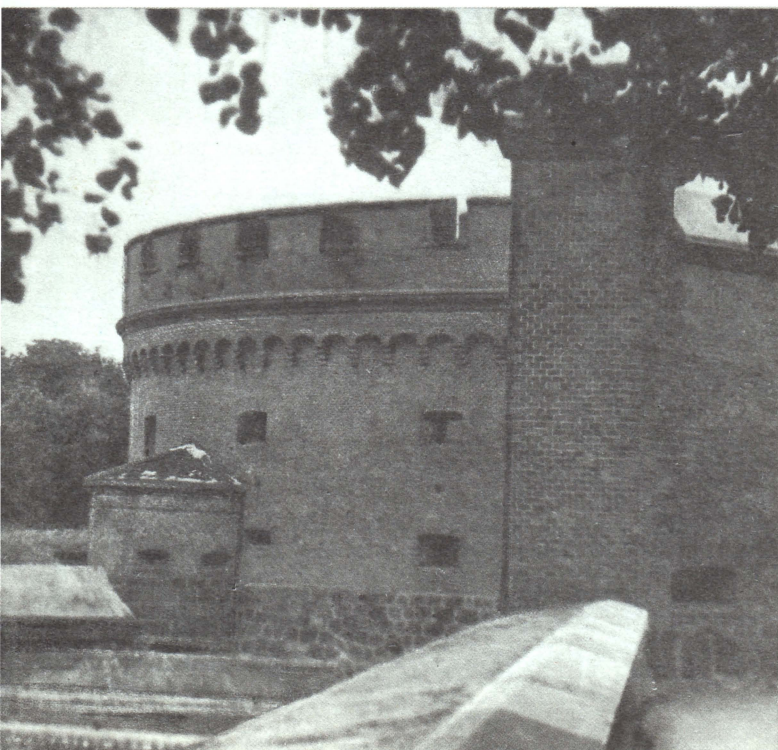
Здесь покоится Иммануил Кант



Макет дома, в котором жил И. Кант



Форт «Дер Данна»





Зал этого музея не только хранилище экспонатов, но и рабочий кабинет, в котором традиционно собираются ученые, студенты, краеведы, интересующиеся творчеством И. Канта, на дальнем плане — Ольга Феодосьевна Крупина — душа музея великого философа.

«Галерея великих умов» — на переднем плане скульптурный портрет И. Канта.

Кафедральный собор, у стен которого похоронен И. Кант.



Странным казался этот низкорослый человек в поношенной одежде. Он никогда не изменял своей привычке изо дня в день совершать неспешные прогулки по раз и навсегда избранному маршруту.

Тот путь назван был философской тропой.

Много позднее мир поймет, что мысль шедшего по ней на целое столетие опередила свое время.

А тогда — на перевале и на исходе XVIII века — всегда в одно и то же время на «философской тропе» появлялся тщедушный педантичный человек, и горожане, завидев его, сверяли свои часы. Но лишь немногие сверяли по нему, по его мыслям, свои открытия, идеи, времена.

То был Иммануил Кант. Он никогда не покидал свой город. Здесь Кант и ныне: на острове, у Кафедрального собора, покоится его прах. Неизменный путь прогулок Иммануила Канта — философская тропа — словно хранит его следы. А в здании Калининградского университета создан единственный в мире музей — кабинет великого философа: ведь Кант многие годы преподавал в университете Кенигсберга (ныне Калининград).

Всякий раз, когда бываю здесь, в университетском музее Иммануила Канта, появляется необъяснимое чувство, будто нет власти времени, и жив человек, на рабочем столе которого по ему лишь удобной системе разместились объемистые фолианты с закладками к нужным страницам, бумага с незаконченной, ждущей еще продолжения записью на верхнем листе... И вокруг — книги, книги: Кант, о Канте, до Канта, памяти Канта... А еще есть дары музею: картины, старинные предметы быта, цветы...

Все — гармония, даже тихий голос хранительницы этого живого огня Ольги Феодосьевны Крупиной. Ее подвижность достойно отдельного рассказа, но говорить о музее-кабинете Канта в отрыве от Ольги Феодосьевны невозможно: ведь все здесь собрано, поставлено, ухожено не ее руками даже, а сердцем. И каждый, хотя и самый малый, дар музею — несказанная радость для его хранительницы.

Быть может, еще и потому, для радости, я тоже нашла, чем пополнить экспозицию: памятью об интересе Канта к геологии, а посему недоумевая из-за отсутствия в музее горных пород и минералов, я вынула из своей коллекции несколько достойных образцов и принесла их в музей.

Ольга Феодосьевна была в восторге, всячески изливала мне свои благодарности, а потом деликатно заметила, что на рабочем столе философа образцы будут мешать, поскольку там лежат материалы по другой теме (опять — «эффект присутствия» Канта!), а в какую витрину поставить минералы — тоже неясно, потому что везде — книги.

Действительно, в стеклянных витринах справа от окна разместились издания трудов Канта, в левой витрине — книги о Канте. И вдруг среди имен их авторов я увидела: В. И. Вернадский.

Кант, геология, Вернадский...

Идеи, преемственность, развитие...

Прежние мои беглые мысли об эстафете геологических идей Канта выстраивались в систему. Я кратко излагала ее Ольге Феодосьевне, попутно расставляя образцы на подоконнике «между Кантом и Вернадским».

— Миленья, если вы действительно хотите сделать дар музею, не теряйте времени. Отложите все дела и пишите! К октябрю, к нашим «Кантовским чтениям!» Миленья, прошу вас!

Меня не надо было просить, но мне нужно было решиться: писать о великих людях и великих идеях — честь высока, ответственность огромна. Но, изведав суть порой наивных, противоречивых, а чаще — провидческих, до гениального простых и ясных кантовских геологических идей, находя то подтверждение, то спор, и постоянно — углубле-

ние, развитие их у В. И. Вернадского, я попала под обаяние диалога мудрецов.

Столетие, казалось, их не разделяло. Но время в их диалоге все же отмечено: первое слово всегда принадлежало Канту.

Земля, как частица Вселенной и как объект изучения, интересовала Канта особо. Философ считал, что лишь тогда будут лучше осмыслены закономерности земной природы, когда станут известны закономерности развития Земли, ее планетарной истории.

В 1755 году появился основной труд докритического периода «Всеобщая естественная история и теория неба», где Кант предпринял попытку объяснить с единых позиций и само происхождение Солнечной системы, и законы движения в ней, и ее строение. Такая попытка была необходимой на фоне достигнутого к середине XVIII века весьма высокого уровня естественнонаучных знаний — с одной стороны, и отсутствия достаточно аргументированной этими знаниями космогонической теории — с другой.

Действительно, декартова «теория вихрей», основанная на принципе механической эволюции, пала под натиском механики Ньютона и новых открытий в астрономии.

Передовая по тем временам, так называемая «катастрофическая», гипотеза Жоржа Бюффона хотя и признавала естественное происхождение планет, не создавала общей картины их эволюции.

«Найти то, что связывает между собой и в систему великие звенья Вселенной во всей ее бесконечности; показать, как из первоначального состояния природы на основе механических законов образовались небесные тела и каков источник их движений...» и взялся философ Иммануил Кант. В фундамент своей космогонии он кладет галилеевы законы падения тел, небесную механику Иоганна Кеплера, законы всемирного тяготения Исаака Ньютона и вселучшие черты космогонических учений своих предшественников.

Кантовский принцип самодвижения материи, составляющий основу всего рассуждения и основой имеющий взаимодействие притяжения и отталкивания, приводит философа к мысли о «непрерывности жизни природы», о ее развитии во времени и пространстве. Кант показал, что мир может быть понят как система, развивающаяся по собственным объективным законам.

Таким образом, исходя из теории развития и опираясь на весьма ограниченный естественнонаучный материал, Кант поднялся до обобщений, значительно опередивших свое время.

Космогонические идеи трех великих современников — Бюффона, Ломоносова и Канта дали толчок возникновению и развитию самых разных отраслей естествознания и, в первую очередь, геологических наук.

Рассматривая различные физические причины старения Земли, Кант стремится согласовать и дею развития фактам и современного ему естествознания.

Философ рассматривает планету как систему тесно взаимосвязанных природных комплексов. Этот системный подход позволяет ему подняться от пояснения частного случая (водной эрозии) до обобщений в геологическом, геоморфологическом и экологическом планах. В результате Кант приходит к выводу о том, что «хотя старение Земли едва заметно даже на протяжении длительного времени, оно тем не менее представляет собой основательный и достойный изучения предмет философского рассмотрения, в котором малое перестает быть малым и недостойным внимания, поскольку малое, непрерывно накапливаясь, постепенно приводит к значительной перемене, где полная гибель есть лишь вопрос времени».

Итак, считал Кант, Земля, как и каждое «естественное» тело, имеет начало и конец.

Бурные и длительные дискуссии в кругах геологов, а позднее геофизиков, вызвала гипотеза Канта о Земле, как о планете, затвердевающей снаружи.

А почему она твердеет: сохнет или остывает? Наличие океана и материковых вод вроде бы подтверждало первое предположение. Огненная лава, изливающаяся из

недр Земли, горячие источники и грязевые вулканы убеждали в правоте второго — остывает. Значит, под земной корой — океан магмы... Страсти накалялись более двух веков. Наконец, в середине нашего столетия появились доказательства того, что никакого океана магмы нет, есть лишь ее очаги, наличие которых обусловлено динамическими причинами. С ними, в свою очередь, связаны многие процессы формирования рельефа Земли. И вот тут мы снова обратимся к Иммануилу Канту, который писал, что «внутренность» земного шара «непрерывно посылала... упругие массы воздуха вверх под затвердевшую кору и создавала под ней обширные пустоты, что привело к образованию обширных впадин, неровностей на земной поверхности материков, горных хребтов, обширных морей...»

Объяснение по нынешним временам наивное, но идея о взаимосвязи рельефа земли с происходящими в ее недрах процессами — налицо. Та самая идея, которая через века получила развитие и подтверждение, как, впрочем, и мысль Канта о том, что «природа нашего земного шара в ходе своего развития не достигла во всех своих частях одинакового возраста. Некоторые части ее юны и свежи, между тем, как в других она, по-видимому, истощается и стареет».

Из обобщенного понятия «возраст природы нашего земного шара» нас в данном случае интересует лишь возраст геологических объектов. Ничем не аргументированное утверждение философа, будто возвышенности старше низменностей потому и умозрительно, что естествознание XVIII века не располагало еще ни критериями, ни методиками определения относительного возраста пород. Здесь Кант лишь обозначает необходимость применения в этих целях сравнительного метода.

Поскольку ближе к решению этой проблемы философ подошел в своем четырехтомном учебнике «Физическая география», изданном в 1801—1804 годах и ставшем итогом многолетней преподавательской деятельности Канта, читавшего в Кенигсбергском университете этот курс, он не зря был предметом особой гордости Канта, который ввел преподавание физической географии как самостоятельной дисциплины. Не было тогда и специального учебника. Создав его, философ изложил основы современной физической географии как науки естественной исторической.

Подобно Плинию, объединившему в свое время сведения более чем тридцати авторов при создании «Естественной истории», Кант, по его словам, «черпал из всех источников, отыскал множество всевозможных сведений, ...просмотрел наиболее основательные описания отдельных стран... и все относящееся к данной теме... привел в некоторую систему».

Действительно, Кант представил физическую географию и как систему географических наук, и как систему причинно-следственных связей. Немалое место в этой системе отведено комплексу геологических сведений.

Их источником служили не личные наблюдения и исследования автора, а, в основном, «Естественная история» Бюффона. Из нее Кант заимствовал сведения о сталактитах и пещерах, представляющих собой «углубления в известняковых горах», о минералах и их происхождении. Однако и в этом труде Кант верен себе: он не только добросовестно цитирует, принимая эстафету идей от Бюффона, но и пытается объяснить явления природы, «естественные тела» и «натуральные процессы», исходя из теории развития.

Так, происхождение всех минералов Кант связывает с планетарной эволюцией Земли: «Наша Земля прежде была жидкой... Все камни были сначала жидкими... Но каждое жидкое тело становится на поверхности Земли сразу твердым». Здесь нас смущает слово «сразу» как недостоверная временная характеристика процесса, а в понятии «становится на поверхности земли твердым» не конкретизирована суть происходящего: кристаллизуется ли, остывает ли. Это еще гипотеза, информация к размышлению. Однако именно на благодатной почве кантовской гипотезы «жидких недр» и бюфоновской «Естественной истории минералов» вы-

росла современная генетическая минералогия. Правда, общий генетический подход, как методологическая основа минералогии, предполагает множественность концепций. Кантовская гипотеза «жидких недр» — лишь одна из них. Другая — об осаднении минералов из морской воды — появилась в докантовский период и была хорошо известна Канту, который писал: «...пласты соли произошли из моря, которое было до того там и позднее исчезло, а соль осталась». Кстати, «море, которое было до того там», оставило не только соль, но и многие другие минералы, которые слагают слои морских осадков. Это обстоятельство, наряду с упоминанием об органических остатках в таких слоях, Кант приводит как подтверждение того, что «прежде море покрывало всю Землю». Философ отмечает чередование таких слоев, периодичность и многократность трансгрессий и регрессий моря, рассказывает о слоях с окаменевшими морскими организмами, которые находят высоко в горах. Иными словами, Кант, вслед за Бюффоном, вплотную подошел к возможности создания метода определения относительного геологического возраста. Недоставало самой малости: для каждого слоя морских отложений найти «руководящую» группу наиболее характерных организмов и методом сравнения составить таблицу последовательности геологических отложений. Но это уже занятие не столько для философа, сколько для натуралиста, исследующего природные объекты.

Философ Кант остался верен себе и, будучи у истоков палеонтологии и исторической геологии, передал грядущим поколениям не фактический материал, а идею о возможности определения относительного геологического возраста, исходя из свойства слоев Земли и из того, что (разрядка моя — Т. Б.) они в себе содержат».

Еще одна геологическая идея высказана Кантом как бы вскользь в дискуссии о залежах серного колчедана (пирита), где философ справедливо замечает: «Но серный колчедан встречается только в некоторых пластах Земли». Действительно, ныне известен определенный круг минералов и пород, с которыми обычно соседствует, имеет общее происхождение, т. е. по современной терминологии, находится в парагенезисе, пирит.

Термин «парагенезис минералов» сравнительно молод и появился в процессе комплексного изучения минерального состава месторождений. «Законы» рудных и пегматитовых жил, давно угаданные рудокопами и горщиками, стали теорией много позднее. Нередко идеи не подхватывали, теории забывали, стирались временем имена великих Первых. Кант многое напомнил. И в этом — еще одна его заслуга.

Учебник физической географии был последним из опубликованных при жизни философа его трудов. «Физическую географию» писал старец, но как по-молодому эмоциональна и поэтична каждая ее страница! Прекрасный популяризатор, мыслитель, он обладал богатой фантазией и даром слова. Человек широчайшей эрудиции, философ, энциклопедист, Кант, поднявшийся в своих трудах до самых вершин обобщений, восприимчивая и развивая идеи предшественников, сам был генератором идей. Он передал их в будущее, и они живут в новом качестве.

В свое время Кант предпослал одному из своих конкурсных трактатов строки Лукреция, которыми мне хотелось бы завершить краткий экскурс в мир кантовских геологических идей.

Но и следов, что я здесь слегка лишь намечил, довольно,

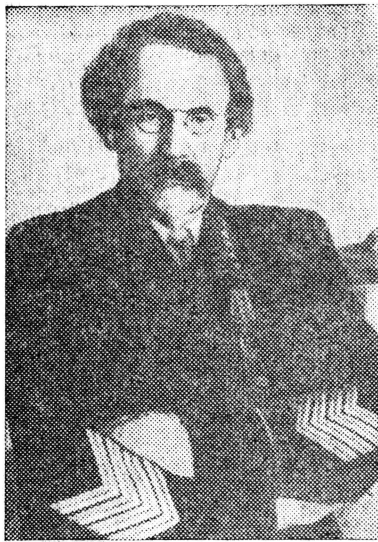
Дабы ты чутким умом доследовал все остальное.

...Итак, записан мой рассказ. Но не даром, а долгом видится мне эта работа.

Долгом делу, которому я служу.

Долгом читателю, которого серьезно интересует геология.

Долгом Ольге Феодосьевне Крупиной, хранящей не музей-реликварий, а рабочий кабинет, который не покидает благословенный дух творчества, освященного именем Иммануила Канта.



«...Через покой и неподвижность
каменя издалека идут потоки
его многообразной жизни».

Изречение на дверях кабинета
профессора К. К. Матвеева

Утром управление Гумбейского округа опустело. Увлеченные приглашением профессора «присутствовать при историческом событии», все — горняки, геологи и маркшейдеры — двинулись к вершине холма, к приметным развалам белых, изъеденных горьким степным ветром кварцевых глыб.

«3 августа 1895 года при осмотре окрестностей прииска Балканского, на котором находится управление Гумбейским золотым округом, мною был открыт в местности, излюбленной местными жителями для гуляния, выход кварцевой жилы, содержащей в большом количестве шелит».

Так, значительно позже, уже подводя итоги в своих «воспоминаниях прошлого и предсказаниях будущего», писал о замечательном открытии вольфрамового месторождения на Южном Урале профессор Уральского горного института, основоположник советской школы уральских минералогов и геохимиков, организатор кафедры минералогии и геологического музея, ученик академиков В. И. Вернадского и А. Е. Ферсмана Константин Константинович Матвеев.

Затаенная гордость звучит в его словах: шелит «открыт в местности, излюбленной для гуляния». И не только местные жители хорошо знали этот «видный издалека камень»: сам А. Н. Заварицкий (впоследствии академик) производил геологические изыскания на этой площади, а шелит пропустил!

К. К. Матвееву хочется подчеркнуть, что открытие совершилось в доступном и хорошо известном районе: «на камне пребывали тысячи людей», «на нем прохожие часто сажались отдохнуть», «жители прииска по праздничным дням приезжали на гулянки»...

Это — законная гордость первооткрывателя: все видели и не понимали, а он, один, увидел, понял, открыл, он, Константин Матвеев, сын сельской учительницы, сжигаемый чистым честолюбием и любовью к науке, пробился из бед-

ности, из невежества своим трудом и мукой в Петербургский университет.

Ему на роду было написано — с трудом выучиться и повторить судьбу отца, чиновника XIV разряда, коллежского регистратора. Казалось, судьба завершена: он — учитель, обременен семьей. Но так хочется исправить судьбу, переписать ее набело, выбиться из колен! Кончается век, в следующем столетии, совсем новом, все будет другое, и его судьба тоже. И Константин Матвеев начинает другую жизнь: берется за греческий и латинский языки, совершенствует немецкий, 25-ти лет от роду сдает экзамены на свидетельство зрелости в Пермской гимназии и — в столицу, в университет!

«...Но по причине политической неблагонадежности туда принят не был и год учился в Киевском университете...» Вспомнили, видимо, его реферат по книге марксиста Бельтова о «монистическом взгляде на историю». Этот реферат в Перми произвел впечатление не только на молодежь, передававшую его из рук в руки, но и на жандармов!

Но в 1901 году Константин Матвеев уже добился перевода в Петербургский университет, он студент, и опять на казенный счет — стипендия Пермского губернского земства. Но на это с семьей не проживешь: приходится подрабатывать уроками.

Что геология — это судьба, стало ясно в поселке Верейно, на берегу Чусовой, когда студент третьего курса Константин Матвеев увидел эти серые камни. У самой воды в ложке осыпь темных, тускло поблескивающих от росы камней. Вернее, все случилось чуть позже, когда он разглядел эти знаки.

Знаки на камне. Древний язык камня. «Издалека идут потоки его многообразной жизни...» На свежем сколе появилась темная волокнистая текстура. Горшки говорят: натура камня. Для описания этих знаков так и не найдут ученые разных стран подходящего термина — это и биф-структуры (что может значить «мясо земли?»), и фунтиковая структура — потому что в камне выделяются конусы, вставленные друг в друга, как маленькие кулечки-фунтики, а немцы называют его нагель штейн — гвоздевой камень, это потому, что выпавшие конусы иногда похожи на каменные сапожные гвозди. Матвеев их в дальнейшем называл кон-ин-кон- и биф-структуры и считал, что это «настоящая природная ткань», ткань, из которой сотканы земные недра.

...Чусовая тихо светилась у его ног, неподвижная в своем настойчивом потоке. «Через покой и неподвижность...» Со стороны казалось, что студент, близорукую вглядываясь в камни, разбирает какие-то древние письмена на них, шевелит губами, как бы говорит с камнем. Однообразный и невзрачный для всех камень вдруг открыл ему, Константину Матвееву, свою таинственную натуру. И вот он охвачен предчувствием новой судьбы, нового поиска, который займет всю его жизнь.

Матвеев уже никогда не оставит в покое камни с непонятными знаками. Он их покажет Е. С. Федорову и В. И. Вернадскому, будет спорить о них с А. Е. Ферсманом. Профессор А. А. Иностранцев затребует из Англии образцы для своего аспиранта. А в 1930 году К. К. Матвеев, уже профессор, займется исследованием кон-ин-кон-структур из Верейно в Гейдельберге, в кристаллографическом институте самого В. М. Гольдшмидта, норвежского кристаллографа и геохимика с мировым именем. И в Париже, в минералогической лаборатории Национального музея естественной истории — опять Матвеев демонстрирует образцы с реки Чусовой, уже шестоватые celestines.

Это удивление перед бесконечностью непознанного, которое светится в каждом кристалле, в каждой шепотке земли, осталось у Матвеева с того памятного дня на Чусовой навсегда. И в европейских университетских городах, и в своих минералогических исканиях в Забайкалье и на Урале, и на кафедре в Екатеринбурге, в разоренном гражданской войной Горном институте, — нигде Матвеева не покидала эта страсть к поиску, эта ответственность знающего знаки на камне, это сознание значительности своей судьбы естествоиспытателя.



Михаил
ЯБЛОКОВ,
педагог

За уроками к Тюменцу Афромееву

На рубеже прошлого и нынешнего веков любители музыки со всей Руси слали в Тюмень запросы на самоучитель игры на гитаре. В ответ за определенную сумму они получали «Заочные уроки музыки и игры на гитаре А. М. Афромеева», отпечатанные в его собственной литографии. Целый комплекс из ста уроков! Посылка неизменно сопровождалась письмом автора с изысканным обращением, независимо от ранга прссителя: «Милостивый государь! На Ваше почтенное письмо о высылке...

Съ совершенным почтением, спасибо за широкое доверие, имею честь быть, Афромеев».

Тысячи самоучителей были высланы в разные уголки страны. Один из них выписал, находясь в Шушенской ссылке, Владимир Ильич Ленин.

Кто же такой Алексей Максимович Афромеев? Он — коренной тюменец. Родился в 1868 году и был сыном калужского мещанина.

В шестнадцать лет Алеше довелось услышать великолепную игру гитаристки А. А. Глазуновой, раскрывшей перед ним неисчерпаемую возможность этого компактного инструмента. Впечатление было так сильно, что Афромеев со всею юношеской страстью увлекся классической гитарой, самостоятельно проштудировал все имеющиеся в провинциальном городке учебники музыки. Провинциального репертуара ему уже не хватало, и он сам дерзнул перекладывать классические пьесы на гитару. Журнал «Родина» в 1890 году напечатал первые опыты молодого тюменского аранжировщика Афромеева.

А вскоре к большой радости Алексея Максимовича в Тюмень на жительство переезжает известный гитарист и педагог Сергей Акимович Сырцов. Между ними возникает дружба и творческий союз, вместе пишут пьесы для гитары. Вскоре эти популярные пьесы для гитары соло и для фортепиано соло выходят в свет в издательстве, принадлежавшем жене Афромеева Серафиме Михайловне.

С приездом Сырцова Афромеев занялся педагогической деятельностью. Желая приобщить к музыке

как можно больше людей, он, без дружеской помощи Сырцова, разработал комплекс из ста уроков для любителей гитары. На это ушло пять лет.

В 1898 году Афромеев стал издателем. Начался массовый выпуск комплекса уроков. Он пользовался спросом, так как был чуть ли не единственным в то время массовым учебным пособием. За 19 лет комплекс уроков Афромеева выдержал более 20 изданий.

Кроме этого, Афромеев издал цикл «Избранная библиотека гитариста», включивший не одну сотню пьес самых разнообразных жанров — от духовных песнопений до отрывков из популярных оперетт. Затем следуют «Спутник гитариста» — сборник пьес от простейших для исполнения до виртуозных фантазий на русские песни. «Выбор лучших пьес для семиструнной гитары» — сборник, состоящий из 30 тетрадей.

Как библиографическую редкость можно упомянуть цикл «Экономическая библиотека гитариста» из 52 выпусков. Четверть из них содержат переложения для гитары (аранжировщик Сырцов) революционных песен.

Кроме того, тюменское издательство Афромеева выпустило в свет один из лучших самоучителей для гитары В. А. Русанова, московского гитариста, коллеги и товарища Афромеева.

Русанов на средства одного состоятельного любителя гитары в 1904 году основал в Москве журнал-ежемесячник. Первый печатный орган русских гитаристов вышел в свет в роскошном оформлении тиражом более 300 экземпляров. Но из-за недостатка средств уже на следующий год уменьшил свой объем, а затем и вовсе попал под угрозу закрытия. Журнал спас А. М. Афромеев, взяв на себя издание. Ежемесячник выходил вплоть до первой империалистической войны, меняя время от времени свои названия. «Аккорд», «Музыка гитариста».

Общее число оригинальных пьес и переложений для гитары, увидевших свет в тюменских нотоиздательствах с 1893 по 1918 годы, состави-



ло более тысячи наименований. Это — четвертая часть всего изданного в России для популярного инструмента.

Долгое время музыкальная деятельность не была основным занятием Афромеева. Он работал бухгалтером в городской управе и одновременно готовил к изданию огромную массу музыкального материала. А с 1911 года А. М. Афромеев начал издавать ежедневную газету «Сибирский торговый посредник». На следующий год она стала называться «Ермак».

Это еженедельная беспартийная литературная газета объемом 20—30 страниц современного формата, с литературным приложением. Лозунг газеты, напечатанный в первом номере, — «Вскрывать гнойники общества и бороться с могуществом капитала» — был по тому времени довольно смел.

В газете печатались известия о культурной жизни Тюмени, дебаты в городской думе по поводу членибитной тюменских купцов Григорий Распутину, «схватки» с местным толстосумом Текутьевым и многое другое. «Ермак» — это целая кладовая для краеведов.

Наверное, местным богатым лозунг газеты и ее содержание пришлось не по вкусу. Не это ли послужило поводом для ареста Афромеева тобольским прокурором 21 марта 1917 года? Правда, через 10 дней его освободили из-под стражи, но с апреля «Ермак» уже не издавался. Газету делали другие издатели и под другим названием.

Вскоре прекратилось и нотоизда-

тельское дело Афромеева. В 1919 году он выехал из Тюмени.

По свидетельству советского историка гитары В. П. Машкевича, весь афромеевский архив, оставшийся в его доме по ул. Казанской, 22 в Тюмени, в период «бумажного голода» был отправлен в макулатуру. А в нем наряду с редкими печатными трудами были неизданные произведения русских композиторов-гитаристов А. Сихры, Н. Александрова, В. Моркова, произведения А. Алябьева.

А. М. Афромеев умер в 1920 году в местечке близ Томска. А славная музыкальная традиция Афромеева и Сырцова в Тюмени продолжается. В училище искусств и нескольких музыкальных школах города есть отделения классической гитары. На

общественных началах создается музей гитары. Собран интересный рукописный и издательский материал. Один из ценнейших экспонатов — одиннадцатиструнная гитара Афромеева. Кленовый инструмент тонкой заграничной работы хорошо сохранился. Он обладает редким тембром, приятным звучанием.

Продолжается афромеевская музыкальная традиция и в Свердловске. Сын музыканта и издателя Алексей Афромеев в 20-х годах организовал общество любителей гитары. Один из активных участников этого коллектива Данила Дмитриевич Кочнев впоследствии стал первым педагогом Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского по классу гитары.

г. Тюмень

стве с известным уральским археологом А. Е. Теплоуховым они открыли в Добрянке музей. В 1892 году в «Трудах Пермской губернской ученой архивной комиссии» напечатана статья Сюзева о происхождении названия и истории Добрянского завода, а в «Пермских губернских ведомостях» начала печататься работа, посвященная вопросам колонизации Урала. Заинтересовавшись причиной образования сильной накипи в заводских паровых машинах, он обнаружил множество железистых ключей и значительные запасы мергального сланца в окрестностях Добрянки. Об этом был сделан доклад в Уральском обществе любителей естествознания (УОЛЕ), а затем последовала публикация в «Трудах» этого общества.

Общероссийское значение имела разработка Сюзевым вопросов пожарной безопасности. Его книги «Безопасные от пожаров сельские постройки из материалов малоценных» и «Памятная записка о том, как тушить сельские пожары», изданные в Перми, стали редкими для того времени руководствами, и первая из них рекомендована Ученым комитетом Министерства народного просвещения для «употребления во всех народных училищах России».

В местном любительском театре 80-х годов занималось 26 человек, главным образом заводские служащие. Управляющий выступал в роли гримера и декоратора. Вообще любовь к искусству, к рисованию он пронес через всю свою жизнь. В одном из писем А. Е. Теплоухову Сюзев писал: «Я рисую не для платы, не из каких-либо видов корыстных, а просто ради искусства, которое любил когда-то до страсти. И теперь, когда давно все поэтические настроения миновали, когда с тех пор много утекло воды, мы живем с искусством дружно. Там где труд по любви, по дружбе, о тяжести не может быть и речи. Я вознаграждаюсь тем удовольствием, которое чувствую, вспоминая старые привычки».

К сожалению, работ Павла Ивановича почти не сохранилось. В Добрянском краеведческом музее хранятся лишь несколько образцов художественного литья, созданных по рисункам Сюзева, а также его небольшой пейзаж. Вероятно, вершиной его художественного творчества стала литая часовня, установленная на центральной площади Добрянки. Но сам автор ее уже не увидел. Он скоропостижно скончался в феврале 1893 года в Перми. Не сохранилась и сама часовня, которую в начале 30-х годов разобрали и отправили на переплавку под лозунгом борьбы с религией. Сохранились только фотографии замечательного памятника уральского художественного литья.

г. Добрянка Пермской обл.

Часовня Павла Сюзева

Михаил КАЛИНИН,
учитель

В 1893 году «Пермские губернские ведомости» рассказали о «красивейшей и редкой по оригинальности и отделке» металлической часовне, которая была установлена в поселке Добрянского железоделательного завода Пермской губернии. Как отмечалось, сооружена она была по замыслу управляющего заводом П. И. Сюзева, обладавшего «большим вкусом и опытностью в строительном искусстве».

Но только ли этим был известен Сюзев? Какой след оставил он в истории Урала? Ответить на эти вопросы помогают архивные материалы, а также работы самого Павла Ивановича Сюзева (1837—1893). Его перу принадлежат статьи и книги по металлургии, минералогии, пожарному делу, истории, социально-экономическим вопросам. Он содействовал развитию театра в Прикамье, занимался краеведением, вел широкую общественную деятельность, был известен в крае как «знарок металлургии чугуна и железа».

П. И. Сюзев — выходец из семьи крепостного учителя пермского нераздельного имения Строгановых. Родился он в Добрянке и сумел получить неплохое образование в Московской земледельческой школе.

Заводскую службу Павел Иванович начал в должности «практиканта выделки железа и углежжения». Быстро продвинулся по служебной лестнице и уже в 1872 году

назначен управляющим Кыновским заводом Строгановых, а затем стал управлять Добрянским железоделательным. Именно здесь, в родной Добрянке, его энтузиазм, энергия и масса идей вылились в реальные дела.

Он ввел на заводе много новых машин и механизмов, улучшил структуру производства, попытка облегчить труд, введя 8-часовую смену вместо 12-часовой. Он сделал попытку выплавлять впервые в России железо непосредственно из руды по методу шведского инженера Хусгавеля, построил в 1886 году одну из первых на Урале мартеновскую печь, ввел в 1882 году на заводе телефонное сообщение.

Добрянский завод выдвинулся на передовые технические позиции. Созданные Сюзевым новые листокапельные валы и приборы для их отливки высоко оценили специалисты Всероссийской промышленно-художественной выставки. Они отметили, что изобретения представляют практическое значение «и едва ли не единственный прогресс в деле отливки валков за последние 25 лет». В том же году вышла книга Сюзева, и таким образом его «закаленные валки» распространились на всем горнозаводском Урале.

Будучи членом Пермского губернского земства, Сюзев немало времени посвящал научным изысканиям и краеведению. В сотрудничестве



Виктор
ХОХЛАЧЕВ

Храмами муз называли музеи древние римляне и греки. Это были места, посвященные изучению наук и искусств, своего рода приюты для ученых. Таким был, например, Александрийский музей, основанный в III веке до нашей эры. А его предшественниками были: хранилище Кносского дворца на Крите (XVI век до н. э.), Дворец ванов и Архив ионских оракулов в Китае (XIII—XII вв. до н. э.), библиотека Ниневийского дворца в Ассирии (VII в. до н. э.), античные галереи Варреса, Суллы, коллекции Сервилия, Красса, Лукулла, Помпея, Цезаря...

Всему миру известны города-музеи Ватикан и Дрезден, парижский Лувр, мадридский Прадо, Британский музей в Лондоне.

От первого русского публичного музея — Кунсткамеры — началась история отечественных храмов муз: Оружейной палаты, Эрмитажа, Русского и Политехнического музеев, Третьяковской галереи.

Мы назовем лишь 25 музеев мира, они не столь знамениты, как выше перечисленные, но, тем не менее, весьма любопытны.

Итак, музеи...

И виноградная косточка, и лунный

...АВТОМОБИЛЯ. Открыт около «Шоссе солнца», опоясывающего французскую Ривьеру. На территории 5200 квадратных метров представлено свыше 70 машин, олицетворяющих различные периоды автомобилестроения. Отличительная особенность этого музея в том, что его экспонаты можно трогать руками, более того, любой желающий может проехаться на любом автомобиле вокруг музея.

...АККУМУЛЯТОРОВ. Музей действует в городе Хаген (ФРГ). Основой для него послужила коллекция, собранная в 1892 году местным инженером Зеллигером.

...АЛЬПИНИЗМА. Музей альпинизма создан по инициативе общества альпинистов в Непале. Из всех стран мира сюда присланы книги, фотографии, материалы по истории покорения высочайших горных вершин. Несколько отделов музея знакомят с животным и растительным миром Гималаев, обычаями местных жителей, альпинистским снаряжением.

...ВИНОГРАДА. Открыт вблизи Преслава, в Шуменском округе НРБ, где издавна бытуют традиции выращивания солнечных ягод и изготовления из них искристого вина. История виноградарства и виноделия, достижения местных умельцев и составляют экспозицию болгарского музея.

...ГЛОБУСОВ. В основу этого музея при Национальной библиотеке в Вене (Австрия) положена коллекция из 240 глобусов; по величине она уступает лишь английской коллекции в Гринвиче. Самый старейший экспонат, датированный 1535 годом, интересен тем, что на нем нанесен пролив между Азией и Америкой, существование которого впер-

вые точно установили русские землепроходцы в 1648 году.

Любопытен лунный глобус, изготовленный более ста лет назад: оборотная, невидимая сторона ночного светила оставлена гладкой, и на ней размещены лишь таблицы с астрономическими характеристиками естественного земного спутника.

...ДОЛГОЛЕТИЯ. Этот музей открылся в поселке Моква, неподалеку от города Сухуми. Абхазия принадлежит своеобразный мировой геронтологический рекорд: более трех тысяч здешних жителей имеют возраст 90 лет и более. Одна из задач музея — наглядно показать образ жизни долгожителей. Кроме традиционных музейных экспонатов — фотографий, документов, картин, галереи с портретами абхазских стариков, — демонстрируется специально посаженный фруктовый сад, с особо целебными местными сортами яблок и груш. Посетители могут попробовать на вкус местный сыр и коржи, послушать выступление хорового ансамбля долгожителей. А в сельском доме можно как бы прикоснуться к истокам абхазского феномена — к традиционной колыбели, дно которой устлано сухими листьями самшита, дерева, которое живет до двух тысяч лет. Считается, что младенец, выросший в самшитовой колыбели, живет особенно долго. Еще один секрет Моквы, удерживающей в Абхазии первенство по числу долгожителей, — дрова из местного дуба и граба: они не просто горят в печи, их дым, в отличие от всякого другого, который глаза ест, напротив — улучшает зоркость и поддерживает ее до глубокой старости. Главный же секрет «вечной молодости», который раскрывает перед посетителями этот музей, заклю-

чен в активном образе жизни. Это — ежедневный труд, дающий ощущение полноты бытия, и веселое настроение, то есть умение работать с душой и от всего сердца веселиться.

...КАМНЯ. Музей образовался сам собой под открытым небом вблизи небольшого города Скуодас в Литве. На его сравнительно небольшой площади природа собрала целую коллекцию — свыше 5000 валунов ледникового периода.

...КОНЕВОДСТВА. Находится в старинном замке недалеко от города Хрудима (Чехословакия). Он знакомит с историей и эволюцией лошади, с той службой, которую вот уже на протяжении трех с половиной тысяч лет это животное несет, помогая человеку. Среди экспонатов — произведения искусства, материалы по истории конного спорта, старинное снаряжение всадников, экипажи, упряжь.

...КОРОН. Такой музей создал у себя дома часовой мастер Р. Абелер (ФРГ). Среди 118 корон бывших монархов — диадема, которую носила Клеопатра, корона бывшего шаха Ирана... Само собой разумеется, все экспонаты — лишь точные копии оригиналов.

...КРУЖЕВ. В городе Вамберке (Чехословакия), где кружевное производство стало народным промыслом около трех веков назад, создан этот музей. Гордость экспозиции — самая большая в мире портьера, сделанная здешними мастерицами для Всемирной выставки в Брюсселе 1958 года; ее размеры — 350 на 130 сантиметров, выполнена она вручную, на коклюшках.

...ЛЮБВИ. Есть и такой музей! Он открыт в 1964 году в Тобосо (Испания). Здесь, в провинции Ламанча, некогда жила легендарная

Дульсинья, прекрасная дама Дон Кихота. Среди экспонатов есть рецепты любовных напитков и образцы трав, из которых они приготовлялись для средневековых влюбленных.

...МАКАРОНОВ. Ну, конечно же, этот музей находится в Италии, он — единственная достопримечательность небольшого города Монтадасио. Рассказывает он об истории макаронной промышленности с 1602 года. Посетителям предлагаются рецепты нескольких тысяч блюд из макарон, в том числе и многочисленные варианты спагетти. Винченцо Аньези, основавший этот музей в 1956 году, раздобыл документ, свидетельствующий о том, что у национального

Глобус...

блюда очень древняя история: первые макароны вошли в рацион итальянцев в 1363 году.

...МИРА. Его основал в Чикаго американский художник-монументалист Марк Рогоувин, преподаватель Чикагского института искусств. В залах музея нет постоянной экспозиции, полтора-два месяца выставки сменяют одна другую. Акварели и масло, фотомонтажи, скульптуры из металла и гипса, резьба по камню и дереву, вышивка, кинофильмы — все проникнуто одной мыслью — о необходимости предотвращения ядерной катастрофы.

...МОДЫ. Как-то кинокомпания Голливуда обратилась к своим старым служащим с просьбой пересмотреть «старые ящики на чердаках» и разыскать одежду 20—30 годов, в частности, те платья, в которых выступали популярные актеры тех лет. Владельцы костюмов явились на специальный вечер в ретронарядах. Из той коллекции и родился музей.

Другой музей моды действует в одном из флигелей дворца Питти во Флоренции. 50 образов женской и мужской верхней одежды наглядно отражают динамику развития костюма за 200 лет (с 1720 по 1920 годы). Наряду с одеждой показаны образцы модных в свое время аксессуаров.

...МОЗАИКИ. Построен в центре города Девня (НРБ) на частично уцелевшем античном фундаменте римского жилища конца III — начала IV вв., входившего в черту древнего Марцианополя. В цокольном этаже, где найдены были мозаики с изображениями Зевса, Антионы, Ганимеды, Медузы Горгоны, экспонируются и материалы других раскопок — керамика, часть стенописи, фрагменты быта, фрагменты мозаик.

...НЕФТИ. Открыт в 1961 году

в Бурке (Польша). Здесь, на юго-востоке страны, более 130 лет назад впервые в Польше стал добывать «скальное масло» Игнаций Лукаевич. На площади в 20 гектаров теперь размещены вышка для ручного бурения скважин, промысловая кузница с горнами, раздуваемыми пожарными мехами, и другие образцы старой техники. Музей польской нефтяной промышленности ежегодно посещают около 30000 туристов, бывает и много иностранных специалистов.

...ОБУВИ. Музей действует в городе Роман (Франция). Экспозиция насчитывает 4000 пар туфель, ботинок, сапог. Самая древняя пара, сплетенная шесть тысяч лет назад из папируса, извлечена из египетского захоронения. Коллекция убедительно доказывает, что правую и левую ноги при пошиве обуви стали различать только в середине прошлого века — до того ботинок «обтапывали», пригоняли к ноге. Помимо изделий сапожного искусства, здесь представлены и всевозможные инструменты обувщиков всех эпох. Специальный отдел посвящен народному искусству. Музей служит неиссякаемым источником идей для современных модельеров обуви.

...ОРНИТОЛОГИИ. Находится в Каракасе (Венесуэла). Наибольший интерес в нем представляет коллекция рогаток и пращей, начало которой положил поэт, инициатор различных акций в защиту пернатых Хорхе Скмиидке. «Ходите на охоту не с ружьями и рогатками, а с фотоаппаратами!» — по этому его призыву многие местные мальчишки лишились (кто добровольно, а кто по принуждению) своих любимых рогаток. Теперь они находятся в столичном музее.

...ПИВА. Действует в Пльзене (Чехословакия). Гордостью его коллекции является бочка 1400 года. Посещающие этот музей могут узнать все об истории и современном производстве этого напитка — кроме... секретов технологии.

Аналогичный музей создан в городе Бельско-Бяла (Польша), где представлены сотни сортов пива со всего мира, а также кружки, бокалы, чаши — стеклянные и хрустальные, деревянные и фарфоровые, оловянные и бронзовые, старинные и современные.

...ПОЧВ. Создан в Днепропетровском сельскохозяйственном институте на Украине. Он расположен на двух уровнях. В нижней части, под стеклом представлены 27 основных почвенных типов — от зоны тундры до зоны пустынь. Верхний ярус занимает диорама, которая воссоздает растительный мир, соответствующий той или иной почвенной зоне.

...ПУСТЫНИ. Он находится близ города Тоттори в Японии. Совместная деятельность ветра, моря и реки Сэндай образовала на острове Хонсю «страну дюн», высота песчаных холмов которой достигает 70 метров. В этом царстве песка создан детский парк науки и техники — с аттракционами, выставками, планетарием. В одном из уголков парка и организован музей пустыни. На установленном здесь большом глобусе отмечены все пустыни планеты, а у его основания выставлены стеклянные банки с разноцветными песками из разных пустынных районов мира. Небольшая аэродинамическая труба, вентилятор которой может включить каждый посетитель, создает ветер над ящиками с песком и наглядно демонстрирует процесс образования дюн.

...РАБСТВА. Открыт в крепости XVIII века в Луанде (Ангола). На протяжении почти двух столетий в этом здании формировались невольничьи караваны, направлявшиеся из Африки на Сан-Томе и в Северную Америку. Теперь здесь разместились Национальный музей рабства, демонстрирующий предметы быта прошлых времен, культовые и обрядовые экспозиции различных племен, поделки, выполненные рабами, документы и манускрипты, орудия пыток и казни, подтверждающие изуверства португальских колонизаторов и рабовладельцев в Анголе.

...САУНЫ. Музей открыт в Финляндии. Ему выделена территория в десять гектаров, на которой и представлено множество типов финской бани разных времен. Самый старый экспонат относится к 1764 году.

...СПАРЖИ. Один из страстных любителей этого раннего овоща собрал коллекцию из 200 экспонатов за два года и положил начало музею спаржи в городке Шробенхаузен, недалеко от Мюнхена.

...ХЛЕБА. Впервые в мире был открыт в городе Ульм (ФРГ). 8000 выставленных экспонатов рассказывают об истории изготовления хлеба, о труде мельников и пекарей. Наиболее ценные образцы — выполненные из терракоты греческие скульптурки, изображающие пекарей за работой, — относятся к V веку до н. э. Теперь в мире много музеев хлеба.

...ШОКОЛАДА. Самый первый появился тоже в ФРГ — в Кельне. Среди 70000 экспонатов — грампластинки, изготовленные из шоколада, детские игрушки, наполненные шоколадом, рекламные плакаты. Они свидетельствуют об удивительной судьбе семян дерева какао («пищи богов», как называли их ацтеки), которые привез из Нового Света в Европу Христофор Колумб.



Людмила
ЕВГРАФОВА

Эмаль, ставшая искусством

Судьба пермских художников Елены Прокопьевны и Степана Федоровича Калюпановых складывалась сложно. Они не дожили до своей персональной выставки, которая развернулась в четырех огромных помещениях центрального выставочного зала города Перми. Но еще 20 лет назад в пермском доме журналиста им. А. Гайдара зрители впервые увидели «пермскую эмаль» Калюпановых. Затем эмали поехали в Москву, их видели ученые, артисты, художники, писатели... С тех пор эмали Калюпановых хранятся в частных коллекциях Г. Улановой, Е. Евтушенко, Г. Гулиа, Б. Окуджавы, цирковых артистов Б. и Э. Замоткиных... А сколько их еще в разных городах страны (Ленинград, Свердловск) и за рубежом (США, ГДР) радуют глаз и греют душу!

Посмотрите на эмаль «Одуванчик». Это маленькая, хрупкая девочка. Тельце ее — стебелек, руки стали листочками, и шапочка на голове вся из легких, невесомых пушинок. Мгновение подул ветер — и нет одуванчика! Как хрупок мир детства...

Эмали «Иконописец», «Мастер каменных дел», «Никита-летун», «Строитель Кижей» — из цикла «Мастера». Это — композиционные портреты. Один из лучших — «Строитель Кижей» — изображает создателя 22-главого храма Преображения на Кижском погосте Онежского озера. Перед нами северянин в белых, льняных одеждах, синие глаза которого ярки, как озеро, а цвет пшеничных волос перекликается с золотом куполов. Отдыхают его руки, создавшие чудо. Смотришь и забываешь о том, что вещи эти выполнены из промышленной эмали, которая почти столетие использовалась только в утилитарных целях: для предохранения металлических изделий от ржавчины и коррозии...

Первые свои опыты Калюпановы делали на Лысьвенском металлургическом заводе, один из цехов которого выпускает художественно оформленную посуду, известную в нашей стране и за рубежом. Позднее

у себя в пермской мастерской они построили печь, температуру в которой можно доводить до 1000°. Из нее стали выходить диковинные, красочные пластины, блюда, панно. Основа их — листовое железо холодного проката, по нему — грунтовка, а затем — многослойное наложение порошка эмали. У каждого слоя своя температура и время обжига. Эмаль — это сплав стекла с окислами металлов. В состоянии порошка она тусклая, матовая. А после обжига краски преобразуются. Но сколько было проб, экспериментов, поисков. Ведь тогда, 20 лет назад, Калюпановы были в этой технике первопроходцами!

Первые эмали были графичными, жесткими, иногда излишне яркими по цвету. Постепенно живописная гамма усложнялась за счет многократного наложения слоев и многократного обжига. Трехцветная пластина — три обжига, восемь цветов — восемь обжигов. Но время, опыт, мастерство дали такой всплеск, что появились работы, сделанные как бы на одном дыхании, т. е. при многократном наложении слоев порошка — всего один обжиг. А до обжига — «колдовство», понятное только самим мастерам, подвластное их интуиции. Слои эмали местами процарапывались, местами смешивались, протирались кистями для достижения объемных форм на плоскости. Приемы рождались самые непредсказуемые, а диктовались они желанием извлечь из эмали все возможное.

С момента приезда в Пермь в 1960 году вся жизнь художников связана с Уралом. Его природа, сказки и предания вдохновляли их искусство.

Есть на территории Пермской области Коми-Пермяцкий автономный округ со столней городом Кудымкар. Здесь живет маленький талантливый народ — коми, коренное население Прикамья. Они создали самобытную культуру, могучий эпос.

Чудины — народное название тех, кто является предками нынешних коми-пермяков. Люди эти были

охотниками, жили в таежных лесах, их судьба тесно переплеталась с природой. Они поклонялись идолам, сделанным из дерева или бронзы. Многие художники обращались к скульптуре коми-пермяков как к источнику вдохновения. И для Калюпановых коми-пермяцкий фольклор и образы «звериного стиля» стали любимыми, неоднократно повторяющимися: «Золотая баба», «Души наших предков», «Охотничьи маски», «Сватовство Кудым-Оша»...

Не перестает удивлять фантазия мастеров в передаче сложных образов древнего коми-пермяцкого фольклора. Яркая поэтическая метафора звучит в эмали «Ярило». Поклонение солнцу. Люди просят у солнца защиты, помощи, хорошего урожая. Но ведь солнце само, без всяких просьб дарит тепло и защиту, согревает всех, ничего не оставляя для себя. Скрытый подтекст эмали: доброта, щедрость, самопожертвование во имя людей.

Выставка Калюпановых была не академична, вызвала споры и раздумья. Они коснулись глубинных вопросов творчества, таких, как современность, художественность, реализм.

Собранные вместе работы дают возможность проследить, какой путь прошли Калюпановы. Сначала оба работали в скульптуре. Он — также в живописи и керамике. Пермяки знают выполненные ими для города стену-рельеф у сада им. А. М. Горького — в память митинга мотовилихинских рабочих 1905 года, мемориал у Дворца культуры им. Ф. Э. Дзержинского — в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Калюпановы приняли участие в оформлении станции Московского метрополитена «Колхозная площадь». В эмали творчество мастеров стало полностью общим. Здесь они объединили объем, цвет, линию и фактуру. С 1967 года они подписывают свои работы монограммой СКЕК: Степан Калюпанов, Елена Калюпанова.

В 1981 году ушла из жизни Елена Прокопьевна, но она была «жива» и «участвовала» в творчестве Степана Федоровича. Была на выставке небольшая эмаль «Портрет Лю» (Е. П. Калюпановой), исполненная в 1975 году, при ее жизни. Многослойное наложение эмали теплых, золотистых тонов помогло создать свечение красок. Они как бы мерцают изнутри. Создавая этот портрет, Степан Федорович хотел помочь жене выдержать суровое жизненное испытание, которое выпало на ее долю. Более 10 лет, будучи тяжелобольной, она боролась за право трудиться. Каждый день, преодолевая боль в ногах, шла в мастерскую, лепила в глине, хотя болели руки, и врачи запрещали работать с сырыми материалами.

Елена Прокопьевна была натурой глубокой, склонной к философским рассуждениям, ясной логике. Она окончила Харьковский художественный институт по классу скульптуры. Несколько лет преподавала в нем. Затем переехала в Благовещенск-на-Амуре, и там судьба свела ее со Степаном Федоровичем. Совместная работа обогатила обоих художников. Ведь Степан Федорович не получил профессионального образования. Девиз их жизни: «Не менее 10 композиций в день!».

«АВТОПОРТРЕТ» Степана Федоровича сделан в пастели — должен был быть переведен в эмаль и остался незаконченным. Он создавался после смерти Елены Прокопьевны, когда пришлось работать одному, но за двоих, понимая свою ответственность за будущую выставку. Автопортрет — исповедь души художника, с его тревогой, болью, памятью о Лю... Справа от фигуры художника изображены три Мойры — античные богини судьбы, которые ткут полотно жизни художников. Какой она будет? Какой получилась? Все ли сбылось, о чем мечтали, думали, чего хотелось?..

А нас сегодня волнует судьба коллекции работ Калюпановых и особенно пермская эмаль. Конечно, музеи области — Соликамск, Березники, Кудымкар, Чайковский, Кунгур и другие — с радостью взяли бы их в свои экспозиции. Но тогда коллекция окажется разобщенной. А ее сила в целостности! Может быть, областному центру стоит подумать о музее пермской эмали? Сюда вошли бы не только произведения Калюпановых, но и лучшие образцы эмали Пермского ювелирного завода.

И еще вопрос. Не хотелось бы, чтобы были забыты технические секреты пермской эмали — материала вечно: не выгорающего, не темнеющего, не осылающегося, не подверженного влиянию стихий. В 1982 году огромная эмаль «НАУКА» (110 м²) украсила торцовый фасад здания НИИ-УМСа в Перми (440 листов обжигались отдельно, а потом крепились на



«Нейтрон»
С. Ф. Калюпанов в мастерской у печи
«Дочери полоза»
«Лесной концерт»
«Души предков»
«Лес»



одну основу). Это первая и пока единственная в мире эмаль таких огромных размеров, вынесенная на стену общественного здания.

Эмали Калюпановых украшают интерьеры в профилактории завода им. В. И. Ленина в Перми, школу олимпийского резерва «Огонек» в городе Чусовом. Но в замыслах и проектах осталось больше и, пожалуй, более зрелое.

Есть руки, которые приняли традицию, — довольно сложное искусство монументальной эмали. В последние годы рядом со Степаном Федоровичем работали его сын Евгений и жена сына Антонина Алексеевна. Они окончили Кунгурское камерное училище, дипломную работу «СОТВОРЕНИЕ МИРА» выполнили в технике монументальной эмали. Во всех последних работах С. Ф. Калюпанова есть и доля их труда. Правда, молодые мастера пока больше исполнители, но ведь Калюпановы оставили много эскизов. Исполнение их в эмали займет годы. И станет лучшим памятником двум талантливым пермским мастерам, так рано ушедшим из жизни.



152

